

21-42

КОМИЛ ИКРАМО



МАХМУД КАНАТОХОДЕЦ



КАМИЛ ИКРАМОВ

МАХМУД- КАНАТОХОДЕЦ

ПОВЕСТИ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ЛКСМ УЗБЕКИСТАНА
«ЕШ ГВАРДИЯ»**

Ташкент — 1978

Икрамов Камил.

Махмуд — канатоходец: Повести.
Предисл. А. Алексина. — Т., «Еш гвардия», 1978—342 с.

Уз2

ДОРОГОЙ ДРУГ! Книга, которую ты сейчас раскрыл, состоит из трех повестей: первая — веселая, вторая — грустная, третья — героическая. Все они написаны одним человеком, писателем Камилем Икрамовым, о котором я хочу сказать тебе только несколько слов.

Камил Икрамов пришел в многонациональную советскую детскую литературу из гущи жизни. Он пришел с верной и чистой любовью к родному Узбекистану, к его истории и его современности.

Искренностью чувств в сочетании с литературным мастерством, знанием жизни и зоркостью взгляда отличаются книги этого писателя. А книг у него много. Первые их читатели уже покупают книги К. Икрамова своим детям. Повести «Караваны уходят...», «Махмуд-канатоходец», «Улица Оружейников», «Круглая печать», «Скворечник, в котором не жили скворцы», «Семенов», книги очерков и рассказов, исторический роман «Пехотный капитан» читают во всех уголках нашей страны и за рубежом, они переведены на многие языки. По произведениям Камилы Икрамова созданы фильмы «Красные пески», «Четверка по пению» и знакомый многим миллионам юных телезрителей четырехсерийный телевизионный приключенческий — «Завещание старого мастера».

Теперь, дорогой друг, ты кое-что знаешь про писателя Камилу Икрамова. Кое-что. Очень мало. Остальное ты найдешь в его книгах.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

84
N-42



**МАХМУД-
КАНАТОХОДЕЦ**

ПОЕДЕМ В ХИВУ

Перо подвластно слову...

Абдурахман Джамии

Если вы когда-нибудь вздумаете побывать в Хиве, не отказывайтесь от своего желания. Правда, сделать это не просто. Так уж получилось, что город, которому ученые насчитывают полторы тысячи лет, оказался в стороне от главных шоссейных дорог и основных железнодорожных магистралей. Без пересадки не доедешь. Удобней всего до Ташкента ехать поездом, а оттуда самолетом.

Когда-то в старину о Хиве сложилась пословица: «Кто туда пешком пойдет, тот ноги сожжет, а кто по небу полетит — крылья сожжет».

Насчет пешего хождения это и сейчас верно. Хива находится в Хорезмской области, что лежит между двух великих пустынь: Кызылкумов — на востоке и Каракумов — на юге и юго-западе. А самолеты туда летают очень даже просто. Сели, например, вы в Ташкенте, познакомились с соседом, поговорили о том, что в Хорезме дыни хороши, взяли в руки журнал «Крокодил», только хотели почитать, а стюардесса уже объявляет: «Идем на посадку. Прошу пристегнуть ремни».

Хорезм. Интересная это земля. Много она видела. Тысячелетия назад здесь уже жили люди, строили города, сажали сады, писали книги, пели песни. Но прошлое известно лишь тому, кто хорошо знает историю, а на первый взгляд Хорезм — обычная сельскохозяйственная область. Над полями несется гул тракторов, у каналов трудятся огромные экскаваторы, по

шоссе мчатся грузовики с кипами хлопка и разноцветные «Москвичи», «Волги», «Победы». Даже кишлячные собаки не кидаются за автомобилями и мотоциклами, а лают только на мотороллеры. Но мотороллеров становится так много, что собаки начали привыкать.

В каждом древнем городе есть дома, улицы и целые районы, сохранившиеся с прежних времен. Есть такие места в Москве, в Новгороде, в Ярославле и Суздале. Есть они в Таллине и Риге, в Самарканде и Бухаре, есть в Грузии и Армении. Есть они и в Хиве. Каждый дом и каждый клочок земли имеют свою историю, и всегда найдутся люди, которые могут эту историю рассказать. Нужно только спросить, а потом внимательно слушать.

Эту вот историю, о которой пойдет речь в книжке, я слышал от очень старого человека. Седой и сгорбленный, с большой лохматой шапкой на голове и посохом в руках, водил он меня по древней Хиве и показывал:

— Вот это дворец, где жили дед и прадед последнего хана... А вот это минарет, откуда в былые времена муэдзин созывал верующих на молитву во славу аллаха. С этого же минарета на острые камни площади палачи сбрасывали тех, кто чем-нибудь не угодил повелителю... Вот здесь, в глубоких подвалах, закованные в тяжелые цепи, томились узники хана.

Сверкают разноцветными — синими, красными и зелеными — изразцами пояски на высоченных минаретах, глухо шаркают подошвы по древним камням, и почти так же глухо звучит старческий голос:

— Вот здесь был гарем, где жили сорок жен хана... Здесь в старину чеканились монеты... Вот, видишь, — старик поднимает посох, — это сторожевая башня, это остатки крепостной стены. А через ворота, что за тем вот красивым дворцом видны, в былые времена караваны верблюдов ходили. Далеко ходили. В Персию. В Хорасан. В Индию...

Мы бродим по Хиве, по городу, где почти каждое здание — музейная редкость, и вдруг старик показывает рукой на мавзолей с высоким куполом, с резными дверями и выложенным цветными изразцами входом.

— Это гробница богатыря Махмуда-Пахлавана, — говорит старик. — Строил ее мастер Абдулла, по прозвищу Джинн. Только он один мог сделать эти вот замечательные изразцы. Таких больше нигде нет: ни в Багдаде, ни в Тегеране, ни в Бухаре.

Немало в Хиве гробниц. Мы проходили мимо них не задерживаясь. А здесь старик почему-то остановился. Залюбовался замечательным творением хивинских зодчих и поклонился, приложив руки к сердцу.

— Святой был человек Махмуд-Пахлаван. Не какой-нибудь мулла или жулик, как другие святые, а действительно святой. Простой был человек. Шубы шил хорошо, стихи писал и богатырь был. В Индию и Персию ездил, и ни один борец не победил его. Молодые теперь говорят слово «чемпион». Он настоящий был чемпион... Святой был человек, — продолжал старик. — В бога не верил — в человека верил. Махмуд-Пахлаван — отец богатырей.

— Расскажите, ата! — попросил я.

— Я расскажу, если ты слушать умеешь. Но ты и других обязательно порасспроси. О нем не только в Хорезме знают, но и в Туркмении, в Каракалпакии и вовсе далеко отсюда. Внимательно слушай. Не пропускай слова. Они дорого стоят. Семьсот лет народ их хранит.

Я выслушал многих стариков, я старался не пропустить ни слова, все важное запомнил, неважное забыл и теперь перескажу вам эту историю своими словами.

Я постараюсь быть точным в своем рассказе, но нельзя забывать то, что сказал знаменитый таджикский поэт Нурэддин Абдуррахман ибн Ахмед Джами:

Перо подвластно слову, но оно
Есть тоже слово, словом рождено.

Только разум нас возвысил: без его даров
Были б лучше человека худшие из львов.

Аль-Мутанабби¹

...Идет на убыль тринадцатый век, тяжелый век в истории народов Средней Азии. Словно черный смерч, пронеслись над древней землей Хорезма орды Чингис-хана, но из праха и пепла встали города, зазеленели поля, и снова шумит базар в Хиве.

Шумит хивинский базар. Съехались сюда степные скотоводы, рыбаки с Амударьи и даже с Аральского моря, приехали ремесленники из городов Кята, Хозараспа и Ургенча, собрались купцы со всего Хорезма.

Скоро вечер; нужно успеть продать то, что добыл, а то до следующей пятницы — базарного дня — долгая неделя. Купцы торопятся продать: как бы цены не упали. Бедняки торопятся: не продашь сегодня плоды своих трудов — завтра семье есть нечего.

Рядами сидят на земле торговцы овощами и фруктами, отгоняют ос от персиков и винограда, подбирают на жестких ладонях звонкие арбузы и нежно поглаживают шероховатую поверхность длинных дынь.

Продавцы пряностей сидят неподвижно. Это все больше старые, почтенные люди. Их товар дорог и на любителя. Красный перец изогнул скрюченные, блестящие, будто лакированные, пальцы; черный молотый перец лежит в маленьких мешочках. Душистые травы лежат рядом с чесноком, а чеснок — рядом со свежими розами с каплями влаги на нетронутых ле-

¹ Аль-Мутанабби — арабский поэт, живший тысячу лет назад.

пестках. Зачем продавцу перца розы? Неужели не знаете? А затем, что только тот, кто ценит аромат розы, понимает толк в перце.

В соседнем ряду торгуют шорники. Они так стараются продать свои седла и уздечки, так высоко поднимают свой товар над толпой, что, того гляди, окажешься оседланным и взнузданным.

— Халаты, халаты! — кричат портные.

— Сапоги и башмаки! — умоляют покупателей в сапожном ряду.

— Платки и жилетки, шелком шитые, золотом расшитые!

Тут же рядом продаются серебряные кольца и колечки, браслеты и браслетики, серьги и сережки.

Медные кувшины, кумганы, подносы чеканные сияют на солнце, глаза слепят, сами в руки просятся.

Продавцы лепешек не сидят на месте. Они ходят в густой базарной сутолоке, несут свой товар на голову и уговаривают покупателей тихо и вкрадчиво.

— Купите, почтенный. Очень вкусные, очень свежие. Сам наместник хвалил, — шепчет один.

А другой лепешечник, откровеннее характером, говорит прямо:

— Купите, добрый человек, хорошая была мука, ловкая пекла рука. Сам бы ел, да дети голодные. Купите, добрый человек.

Каждый торгует тем, что имеет. Богатый — награбленным, бедняк — заработанным, вор — украденным, а нищие калеки — своим уродством.

— Подайте калеке, слепому, безногому! Подайте — и заслужите милость аллаха всемогущего!

Ходят по базару стражники. Смело ходят. Лепешку возьмут — спасибо не скажут. Подойдут к продавцу плова, подхватят на лепешку прозрачного, набухшего жиром риса, мясо грязными пальцами выберут и дальше пойдут. Никто стражнику не возразит, никто заплатить не заставит. Власть!..

Ходят по базару толстые муллы и жиреющие ученики медресе¹. Простачков ищут. Нажрут, словят хозяина и дальше пойдут. Святые!..

Когда солнце перевалило за полдень и шум на ба-

¹ Медресе — духовная школа.

заре стал затихать, из ворот дворца, где жил главный шейх Хивы Сеид-Алаветдин, вышел невысокий скуластый человек с узкими, как щелки, злыми глазами. Это был мулла Мухтар, главный доносчик наместника. Он пошел по базару неторопливо, с чувством собственного достоинства. Он не подходил к продавцам за пловом и лепешками, не старался разжиться на дармовщинку, на мелочь не кидался. Мусульмане расступались перед ним с почтительными поклонами. Мулла Мухтар шел к скорняжному ряду. Скорняки расстилали перед ним шубы бараньи и шубы лисьи, тулупы длинные, шелком крытые, тулупы нагольные, темные, крутили на пальце, словно фокусники, шапки из северных мехов.

Нет, не шубы и не шапки ищет мулла Мухтар — высматривает кого-то. Прошел весь ряд, назад вернулся, к старшине скорняков подошел. Склонился перед ним седой старшина Насыр-ата, ждет вопроса.

— Скажи-ка,— небрежно бросил мулла,— а где Махмуд? Шубу хотел у него купить, да не вижу вашего хваленого мастера.

Старшина — человек опытный, его не проведешь такими вопросами. Что это мулле летом шуба понадобилась?

— Распродался Махмуд. Еще утром все сбыл. Тень короткой не стала, а он ушел.

— А много ли продал? — спросил мулла.

— Да как сказать... У него товару всегда много, только ведь он по дешевке отдает. Молодой он, силы много и уменья. Щедрый. Пастухам приезжим в долг верит. Они с ним потом свежими шкурами расплачиваются. Дома небось уже.

Побоялся мулла, что старшина угадал его мысли, решил запутать следы.

— Мне бы шубу надо хорошую, вот и спрашиваю,— сказал мулла Мухтар и, посмотрев внимательно вокруг, ушел.

Не успел мулла скрыться в толпе, как старшина щелкнул пальцами и позвал:

— Юсуп!

Из тени камышового навеса выскочил мальчишка лет десяти.

— Найди Махмуда,— приказал старшина,— ска-

жи, что его тут мулла Мухтар высматривал. Пусть побережется. Верно, донес кто-нибудь на него.

Мальчишка кинулся было бежать, но старшина окликнул его:

— Куда бежишь, пустая голова! Он не дома. Он в это время у книжников бывает. В ветошный ряд беги.

Так уж повелось в Хиве, что скудная торговля рукописными книгами шла в ветошном ряду, там, где торговали всякой всячиной: поношенными вещами, разбитыми котлами, ржавыми сковородками, ножами без черенков, черенками без ножей, сломанными гробешками и прочей рухлядью.

Махмуд сидел на корточках возле груды книг, которые продавал безграмотный оборванец. Он ничего не понимал в своем товаре, а следил за выражением глаз покупателя. Если тому книга нравилась, он начинал расхваливать ее, цокал языком, щелкал пальцами, закатывал глаза и просил аллаха в свидетели, что книге этой вообще и цены-то нет.

Махмуд с безразличным лицом листал захваченные страницы старинных книг. Он не притворялся, хотя давно разгадал хитрость торговца книгами. Махмуд вообще не умел притворяться. А сейчас он не видел ничего интересного. Все это были разрозненные листы всевозможных религиозных книг, большей частью корана. Махмуд уже пересмотрел почти всю бумажную грудку, и продавец, внимательно за ним следивший, приуныл. И вдруг — это было неожиданностью для обоих — Махмуд увидел пожелтевшую от времени страницу с изображенным на ней шаром. Вокруг шара были надписи и какие-то орбиты. Надписей было много, но одна из них сразу бросилась в глаза: «Бируни». Да, это была книга великого хорезмийца Абу-Рейхана аль-Бируни.

Махмуд сел прямо в пыль и принялся листать страницы. Многие из них истлели, края были оборваны, буквы расплылись, книге наверняка уже лет двести, но Махмуд понял сразу — это было то, что он давно искал.

— Хорошая книга, — неуверенно забормотал продавец, еще не веря, что ему удастся сбыть случайно доставшийся товар. — Замечательная книга, — сказал

он громче, видя, что глаза Махмуда горят.— Мне она за большие деньги досталась.

— Угу,— промычал Махмуд, не имея сил прервать чтение.

Оборванец испугался, что Махмуд сразу прочитает всю книгу, а потом не купит. Он положил на книгу свои давно не мытые руки:

— Нет, любезнейший, ты не читай! Хочешь читать — купи.— И он запросил такую цену, что Махмуд от изумления крикнул.

Оборванец, видно, решил сразу разбогатеть. Он запросил пятьсот золотых — столько, сколько Махмуд не зарабатывал за целый год. Но и покупатель был не новичок в базарных порядках. Начался ожесточенный торг.

Юсуп давно уже пытался привлечь к себе внимание молодого шубника. Он дергал Махмуда за рукав, но тот ничего не замечал.

— Тридцать,— говорил он оборванцу.

— Четыреста!— восклицал тот.— Сам за триста купил.

— Подумай,— объяснял Махмуд.— Могу дать пятьдесят золотых. Это целый верблюд и пять баранов.

— Не могу. Себе дороже.

— Семьдесят, и ни гроша больше,— уверенно говорил Махмуд.

— Триста пятьдесят,— уступал оборванец.

Мальчишка из скорняжного ряда перестал дергать Махмуда за рукав. Он стоял в стороне и, открыв от удивления рот, слушал непонятный торг. Юсуп, в отличие от большинства хивинских ребят, умел читать и знал, что такое книга, но чтобы за книгу давать цену верблюда и пяти баранов?..

А цена росла. Когда покупатель назвал стоимость кровного жеребца и продавец не согласился, Махмуд тяжело вздохнул и, укоризненно глянув на оборванца, пошел прочь.

Юсуп хотел побежать следом, но оборванец, сообщив, что покупатель не вернется, закричал истошно и отчаянно:

— Ладно, грабы! Отдаю за полтора ста.

Махмуд вернулся, взял книгу, высыпал из кошель-

ка все деньги в подставленные пригоршни, написал расписку на остальные и пошел домой.

Юсуп побежал за ним. Догнав шубника, он передал, что было велено, и, не поспевая за широким шагом Махмуда, продолжал семенить рядом.

— Дядя Махмуд, можно вас спросить, зачем вам такая дорогая книга? Я видел куда красивее, в коже и золоте, — за сорок отдавали, а вы за эти рваные листки заплатили сто пятьдесят.

— А ты читать умеешь? — спросил Махмуд.

— Могу немного.

— Эту книгу написал великий ученый Хорезма Абу-Рейхан аль-Бируни. Вот приходи ко мне, дам почитать.

— Некогда, — сказал Юсуп, запыхавшись от быстрой ходьбы. — Я торговать учусь.

— Нашел чему учиться! Ты бы лучше научился шубу шить. Мне ученик нужен. У меня и книг много.

— Это как же?.. — спросил мальчик, переходя на бег. — А работать когда?

— Одно другому не мешает, — добродушно ответил Махмуд и зашагал быстрее. — Прощай. Время будет, заходи.

«Интересно, — думал Юсуп, возвращаясь на базар, — зачем шубнику книги? Станный этот Махмуд. Среди шубников он лучшим считается, за силу его Пахлаваном зовут. Когда ремесленники между собой борьбу устраивают, Махмуд всегда победителем выходит, живет тоже неплохо, — на что ему эти книги сдались? Странно. Очень много странного на свете».

* * *

Дом у Махмуда небольшой. Двор чисто выметен. Под развесистым карагачем — супа¹, на которой летом можно и обедать, и чай пить, и работать удобно в тени на ветерке. Рядом с супой лежит огромный мельничный жернов. Он всегда лежит на одном месте. Однажды во время праздника, когда Махмуду было пятнадцать лет, к ним съехались гости; один из гостей споткнулся о жернов и ушиб ногу. В ярости кинулся он на каменную глыбу и хотел перетащить

¹ Супа — прямоугольное глиняное возвышение

ее подальше, в угол двора. Гость попался не очень сильный и поднять жернов не смог, тогда он попытался поставить его на ребро и покатить. Не тут-то было! Попросил другого гостя. Вдвоем они кое-как подняли жернов и стали его катить к сараю, но не докатили и на полдороге бросили.

Махмуд в это время помогал матери по хозяйству, а когда вышел во двор, увидел жернов не на месте. Взял он его левой рукой за железную скобу, постоял в раздумье, куда бы деть, и отбросил в сторону шагов на двадцать.

Увидела это мать и огорчилась: «Бедный мой сыночек! Что это ты? Уж не заболел ли? Вчера за сорок шагов этот жернов кидал, а сегодня и за тридцать не забросил».

В тот вечер, когда Махмуд принес дорогую книгу Бируни, мать была очень расстроена. Поужинал он наскоро, зажег фитилек жировой лампы и пошел в свою комнату читать. Обычно он по вечерам с жерновом занимался: подкидывал одной рукой, а другой ловил или, если ему это надоедало, натягивал во дворе канат между деревом и сараем и ходил по нему, как на праздниках канатоходцы ходят.

— Не читай, сынок,— попросила мать,— глаза испортишь. Будто завтра при дневном свете не читаешься. Что тебе эта книга? Лучше бы в мечеть зашел или даже по канату походил, а то просто бы погулял.

— Я немного, мама,— попросил Махмуд.— Ты спать ложись.

А матери не спится. Села она под дерево и задумалась: «Что за наказание такого сына иметь! Все дети как дети: растут, работают, деньги накопят, а потом женятся. А этот никуда не годится. Если бы меньше книги читал, а больше о торговле думал, давно бы разбогател. Вчера мулла Мухтар тайком у соседей о сыне выпрашивал. Зачем выпрашивал?» Сидит мать под деревом и грустит. Луна уже выкатилась. Над одним минаретом стояла, к другому перешла; в городе спят все, а у сына свет горит. Не выдержало материнское сердце, попросила еще раз:

— Ложись спать, сынок.

Махмуд вздохнул, свет загасил и стал стелить себе постель во дворе. Лег он поверх одеяла, подложил руки под голову, но не спит, в небо смотрит.

— Спи, сынок,— робко попросила мать.— Уж не от книги ли ты сон потерял?

— От книги, мама. Там написано, что все на свете не так, как қоран говорит. Вот, например, все думают, что Солнце вертится вокруг Земли, а Беруни говорит, что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца крутится.

— Ах,— вздохнула женщина,— не все ли тебе равно, что вокруг чего вертится! Вертится, ну и пусть вертится. Тебе-то что... Спи, сынок.

— Хорошо, мама. Земля вертится, а я буду спать. И ты ложись.

Один Телец¹ висит высоко в небесах.
Другой своим хребтом поддерживает прах.
А меж обоими тельцами — поглядите! —
Какое множество ослов пасет аллах!

Омар Хайям²

«Всякий смертный виноват перед аллахом» — так гласит мудрость священных книг. Это очень удобно служителям мечетей, разным имамам, шейхам и прочим обманщикам.

Всякий смертный виноват перед аллахом, ибо ему он обязан жизнью и хлебом, воздухом и солнцем. Всякий смертный виновен. А в чем виновен, нетрудно придумать.

Один виноват, что мало молится, — плати за искупление грехов. Другой виноват, что мало мулле платит налога, — опять штраф. Третий провинился перед властью, богом поставленной, — тоже откупаться надо.

Аллах для того и придуман, чтобы богатый мог получше обирать бедного.

Очень просто получается.

Живет человек, трудится, а муллы его грехи считают. Человек и не подозревает, что на его счету грехи, но приходит день, и зовут его на суд...

Всякий человек виноват перед аллахом, а Махмуд и вправду был виноват, хотя этого не знал: «Как же можно быть виноватым перед тем, кого нет?»

Между тем над головой Махмуда собирались тучи. Еще год назад главный шейх Хивы Сеид-Алавет-

¹ По мусульманской легенде, на небе аллах поставил созвездие Тельца, а Землю заставил поддерживать другого тельца.

² Омар Хайям — знаменитый персидский поэт, жил в XI в.

дин приказал доносчикам строго и неустанно следить за молодым скорняком и передавать мулле Мухтару все, что говорит веселый острослов, сообщать, ходит ли он в мечеть, платит ли он налоги, не богохульствует ли.

Все это произошло потому, что на молодого шубника пало страшное подозрение. Это он помещал свершиться «чуду», которое замыслили муллы.

Шейх Сеид-Алаветдин заключил в минарет двух безбожников, отказавшихся платить налог на мечеть. Народу было объяснено так:

— Безбожники не верят, что только аллах дает людям пищу. Пусть они посидят двадцать дней в башне и убедятся, что никто, кроме аллаха, им помочь не может. А аллах им не захочет помочь,— убежденно говорили муллы.

Двадцать дней сидели безбожники в башне, а когда пришли к ним стражники, то увидели, что узники живы, здоровы и веселы. Есть у них и лепешки, и плов, и сыр, и вода в кувшине.

Никто не мог попасть в минарет, потому что охраняли его днем и ночью. Кто же принес туда пищу и воду?

— Чудо! Свершилось чудо!— закричали стражники.

— Да,— удивился шейх Сеид-Алаветдин.— Наверное, им помог аллах.. Вам аллах помог?— недоверчиво спросил он.

— Нет,— ответили узники.— Нам помог человек.

Как ни бились муллы, как ни усердствовали палачи, пытая несчастных людей, они не добавили больше ни слова.

— Нам помог человек!— твердили они.— Нам помог человек!

Лучшие сыщики искали следы подкопа, стражников допрашивал сам мулла Мухтар, но выяснить, кто этот человек, никак не удавалось. Узников тайком вывезли за город и под страхом смерти взяли с них обет совершить паломничество к святым местам и никогда не возвращаться в Хиву. Однако, когда мулла Мухтар еще раз осматривал минарет, то нашел там толстую шерстяную веревку, точно такую, по какой ходят базарные канатоходцы. Вербка была

длинная, она доставала от минарета до тополя, что рос по другую сторону улицы.

Тогда-то и пало подозрение на Махмуда. Никто из хивинцев, кроме него, не умел ходить по канату. Однако подозрение — не доказательство. Шейх и муллы решили никому об этом не говорить, но на молодого Пахлавана затаили злость.

Не зря мулла Мухтар высматривал Махмуда на базаре, не зря интересовался, как идет его торговля, каковы доходы. Лучше, чем кто-либо другой, Мухтар знал: готовится суд, на котором Махмуда объявят врагом веры. Нет ничего страшнее такого приговора. Это лучший способ избавиться от любого неугодного человека. Никто не решится выступить в защиту хулиателя веры, и нет ничего страшнее такого приговора. Враг веры — обреченный человек. Его будут сторониться люди, ему никто не продаст еды, не дадут воды для полива. На улице такому человеку не пройти, на базаре не появиться. Но главное — и это особенно интересовало муллу Мухтара, — на человека, объявленного врагом веры, наложат огромный выкуп. Обычно выкуп назначался такой, что в его уплату уходили все вещи и деньги, а часто дом и земля.

Бывали случаи, когда и семья грешника продавалась в рабство. Мулла Мухтар очень любил такие приговоры. Он давно зарился на дом Махмуда, на его сад и надеялся все это заграбастать. Он выяснил все, что ему было нужно, и доложил главному шейху Сеиду-Алаветдину:

— Махмуд дешево продает свой товар, денег не копит, долговых расписок не берет. Мы объявим его врагом веры, наложим большой выкуп за грехи, заберем его товар, отнимем дом, а старуху мать продадим в служанки. О случае с канатом лучше не упоминать. У него грехов и так хватает.

И Махмуда вызвали на суд.

В этот день на площади бил барабан, проповедники в мечетях говорили слова о каком-то грешнике, осквернившем религию, глашатаи с минаретов призывали хивинцев присутствовать на суде божьей справедливости. Но никто не знал, кого будут судить.

Мать Махмуда с утра усердно молилась. Она верила мулле и в молитвах проклинала грешника.

Ровно в полдень в мастерскую Махмуда ввалились два стражника.

— Собирайся на суд,— сказал один.

Мать не поняла, в чем дело, засуетилась.

— Мы придем, почтенные,— сказала старушка.— Но почему вы нас отдельно зовете? Разве мы не слышали сегодня призывов? Разве без нас нельзя начинать?

— Суд без преступника не начнется,— добавил второй.— Ты, старуха, можешь не ходить, а сына твоего мы обязаны доставить.

— Это ошибка,— сама себя успокоила мать.— Сегодня будут судить какого-то грешника, а мой сын ни в чем не виноват.

— Нет. Мы обязаны доставить на суд твоего сына-шубника, по имени Махмуд, по прозвищу Пахлаван,— возразили стражники.

Махмуд в это время втачивал рукав овчинного тулупа.

— Вот что,— сказал он стражникам.— Вы мне не мешайте, а мать мою не страшайте. Второй рукав пришью и пойду, если надо. Очень хороший тулуп получается. Вы своими глупыми речами можете работу испортить... А ты, мама, не волнуйся. Ты же знаешь, что я не грешник.

Стражники возмутились, стали еще громче кричать, пытались Махмуда силой увести. Махмуд отложил шитье в сторону, взял стражников за воротники халатов: первого — правой рукой, второго — левой, затолкал их в чулан, запер дверь и посоветовал:

— Сидите смирно, не шумите. На ваши крики могут соседи сбежаться, увидят, что вы в чулане сидите, подумают, что воры. Могут отлупить. Я сейчас рукав втачаю — вместе пойдем. Я быстро.

На площади перед мечетью стояла густая толпа. На высоком помосте, покрытом коврами и украшенном зелеными флагами, восседал главный шейх Хорезма Сеид-Алаветдин. Он редко показывался людям, и сейчас хивинцы с любопытством рассматривали этого хилого человечка с рябым лицом, редкой, в три волосинки, бородкой и усами, растущими не как у всех, над верхней губой, а только по краям рта.

Рядом с шейхом расположились мулла Мухтар, начальник стражи и богатые купцы.

На площади уже знали, что судить будут Махмуда, и удивлялись. Умные помалкивали, а глупые высказывали всевозможные догадки.

— Говорят, он украл ишака,— убеждал торговец скотом.

— Не выдумывайте,— презрительно заметил чайханщик.— Он убил и ограбил богатого путешественника.

— Ничего вы все не знаете,— спорила торговка медными серьгами и браслетами.— Он поедает маленьких детей. Неужели вы думаете, что из-за какого-то ишака будут собирать всю Хиву и сам главный шейх покажет свое лицо?

А Махмуд в сопровождении стражников уже пробирался сквозь толпу к помосту. Он весело переговаривался с ремесленниками, и те, кто волновался за него, увидев его спокойным и беззаботным, тоже успокаивались.

— Пропустите нас, пропустите нас, пожалуйста,— просил Махмуд с улыбкой.— Пропустите. Мне кажется, без нас они никак не смогут начать.

До помоста было совсем недалеко, когда Махмуда окликнул староста скорняжного ряда, седой Насыр-ата.

— Махмуд,— сказал ему умудренный нелегкой жизнью старик,— будь осторожен. Тебя задумали погубить. Я не знаю, в чем тебя обвиняют, но сегодня все муллы бормочут про вероотступника и хулителя религии. Берегись.

Старик оказался прав. Начало суда не предвещало ничего хорошего. Мулла Мухтар зачитал длинный список преступлений, которые совершил Махмуд. Чем дальше он читал, тем больше недоумевали «самые догадливые» и тем больше хмурились многочисленные друзья Махмуда.

Не много можно было понять из речи и самого шейха. Сеид-Алаветдин говорил медленно и важно, как индюк. Смысла в его словах не было, но значительность чувствовалась. Наконец после общих слов о грехах и прегрешениях шейх перешел к допросу.

— Ты оскорбил моего брата, святого лекаря. Ты обозвал его мясником. Признаешься ли в этом?

— Нет,— ответил Махмуд,— я этого не говорил и сказать не мог. Между мясником и вашим братом, лекарем, большая разница.

— Не лги, нечестивец!— пригрозил шейх.— Нам донесли, что именно так ты обозвал моего брата.

— У вас очень глупые доносчики,— сказал Махмуд.— Я говорил именно о разнице, а не о сходстве. Ведь мясник сначала убивает жертву, а потом сдирает шкуру, а ваш брат делает наоборот. Он сначала шкуру сдерет, а потом уже уморит... Посудите сами,— обратился Махмуд к народу,— разве правильно донесли на меня?

— Неправильно!— смеясь, закричали ремесленники и земледельцы, но стражники с дубинками кинулись в толпу, и смех быстро утих.

— Ты отказался шить шубу, когда я прислал к тебе своего слугу.

— Нет,— возразил Махмуд,— я не отказывался. Я только сказал, что у меня на очереди сорок шуб, а ваша будет сорок первая. Я сказал, чтобы ваш слуга поставил на стене, где записываются заказчики, свое имя и зашел бы через месяц справиться. Но ваш посланный пригрозил, что, если я не сошью шубу, вы попросите аллаха и тот обрушит стены моего дома, обратит в пепел мои шкуры, сломает мои иглы и спутает мои нитки. Я и тогда, после этих невежливых слов, не отказал вашему посланному. Я только спросил: если у вас, о мудрый шейх, такие хорошие отношения с аллахом и если тот в самом деле готов так много сделать для вас, то почему бы вам не попросить, чтобы аллах спил вам шубу?— Махмуд говорил все это серьезно и смиренно. С таким же точно видом он обернулся к толпе и спросил:— Разве я не мог задать такого вопроса?

— Мог! Конечно, мог!— закричали ремесленники, и в толпе опять заработали дубинки стражников.

Постепенно тучи над Махмудом все сгущались и сгущались. Затихла толпа, удивляясь непонятной смелости Махмуда. Все знали, что он остер на язык, но оказывалось, что его с виду безобидные издевки задевают самых сильных и богатых людей. Надо ска-

зять, что и сам Махмуд удивлялся тому, сколько он нажил себе врагов.

Друзья Махмуда, люди бедные и власти не имеющие, беспокоились о нем, досадовали, что их любимый Пахлаван так легко признается в своих словах: «Ведь слово, когда оно ходит из уст в уста, не имеет хозяина. Почему же Махмуд сознается?»

Они не знали того, что было известно Махмуду.

Слово — самая большая сила на свете, а отказываться от своей силы веселый шубник не хотел. И правильно делал.

— ...Ты же веришь в то, что на том свете по дороге в рай есть мост Сират. Не веришь в то, что мост этот тоньше женского волоса и острее лезвия дамаского меча,— продолжал свою речь шейх Сеид-Алаветдин.— Это видно из того, что ты сам не приносишь достойных жертв аллаху и других отговариваешь.

— Может быть, я верю,— с улыбкой ответил Махмуд.— Но вы же сами говорили, что возле этого слабого моста верующих будут ждать принесенные ими жертвы. Кто подарил мулле барана, того будет ждать баран; кто пожертвовал быка, будет ждать бык. На этих животных верующий и поедет по тонкому мосту. Вот я и подумал: если мост действительно таков, как вы говорите, то чем меньше будет груз, тем лучше по нему переходить.

Большинство верующих в Хиве приносили жертвы, чтобы на том свете переехать через мост Сират, и никто не задумался над смыслом этих приношений. Послушали люди Махмуда и удивились: правильно получается.

Хоть и много было стражников в толпе, хоть и напуганы были жители Хивы жестокой властью шейха Сеида-Алаветдина, но по глухому одобрителному гулу судьбы поняли: мало у них доказательств для обвинения Махмуда врагом веры.

Тогда поднялся с места мулла Мухтар. Он не очень-то верил в силу своих слов и попросил начальника стражи окружить толпу всадниками с саблями наголо.

— Всем известно,— закатив глаза к небу, возопил Мухтар,— всем правоверным мусульманам известно, что шейх — это тень аллаха, что наш шейх,

когда был простым муллой, совершил паломничество в Мекку и поклонился храму Кааба! Известно ли это людям?— спросил мулла, подражая обращению Махмуда.

— Известно!— закричали в толпе.

— Ну вот,— торжествующе провозгласил Мухтар.— А этот нечестивец Махмуд распускает слухи, будто шейх до посещения Мекки был змеей, а после возвращения стал драконом. Признаешь ли ты теперь свой неискупимый грех?

— Нет,— ответил Махмуд.— Во-первых, я не распускал слухов. Я написал рубаи. Рубаи — стихи, а стихи — не слухи. Во-вторых,— продолжал Махмуд,— в стихах нужно понимать смысл. Если бы стихи касались одного человека, их не стоило бы писать. Я тоже писал не про одного шейха, а вообще. В-третьих,— сказал Махмуд,— в этих стихах нет имени шейха. Вот они:

Пускай не говорят, что в Мекку путь святой —
Муллу драконом стал, а раньше был змеей.
Уж если ты пошел аллаху помолиться,
Старайся не вставать поблизости с муллой.

Хорошие стихи?— спросил Пахлаван, обращаясь к народу.

Стихи понравились хивинцам, но никто не посмел сказать об этом вслух. Слишком явно говорилось в них о шейхе. Слишком много было стражников вокруг.

Во время суда на площади не было никого, кто видел и слышал все происходящее лучше, чем мальчик из скорняжного ряда — сирота Юсуп. Он забрался под помост и смотрел на Пахлавана в щель между двумя свисающими коврами. Сначала Юсуп, как и многие, не понимал, почему Махмуд на все вопросы отвечает словом «нет», а затем рассказывает подробно, как было на самом деле. И, наверное, Юсуп был первым, кто понял, что Махмуд хитрит. Догадаться об этом Юсупу было легче. Он видел лукавую усмешку храброго шубника и слышал, как после его объяснений раздраженно крикают почтенные судьи на помосте. Один раз, когда ремесленники в толпе засмеялись особенно весело, Юсупу показалось, будто

Махмуд даже подмигнул ему. Впрочем, Юсуп готов поклясться, что это ему не показалось, а действительно так и было.

Постепенно суд подходил к концу. Видя, что народ не изменил своего отношения к шубнику, шейх приказал скорее кончать. Махмуда приговорили к штрафу в десять тысяч золотых, пожизненному изгнанию и объявили врагом веры.

* * *

Горевали простые хивинские труженики, жалели Махмуда, но не знали, как помочь ему.

Семь дней сроку положили судьи для уплаты штрафа. Если не рассчитается Махмуд, то вместе с матерью будет продан в рабство, а если соберет деньги, то будет только изгнан из родной Хивы.

Впервые за двадцать лет жизни Махмуд почувствовал себя несчастным. Впервые за двадцать лет Махмуд не знал, как ему быть. Пойти к друзьям посоветоваться он тоже не мог. Шейх объявил: тот, кто поможет Махмуду, будет объявлен врагом веры. В тяжелых раздумьях прошел остаток дня после суда. Ночью мать не спала. Она собирала вещи, чтобы продать их на базаре, и считала:

— За шесть одеял — два золотых. За девичьи украшения — еще пять. За посуду — один золотой. За дом — сто золотых. Получается сто восемь золотых. Остается еще девять тысяч восемьсот девяносто два.

Не спала она в эту ночь. Не спал и Махмуд.

Тихо в Хиве. Ветерок пронесся над городом, далеко-далеко залаяла собака и притихла. Тихо в Хиве. Но это только кажется, что город спит. Где-то неслышно отворялись двери, какие-то люди ходили в мягких ичигах по еще теплой глубокой пыли городских улочек и проулков. Чаше других в эту ночь открывалась калитка небольшого домика на окраине, где жил старшина скорняжного ряда Насыр-ата.

Старик ждал гостей. Калитку еще с вечера смазал салом, чтобы не скрипела; в комнатухе на низеньком столике был развернут достархан¹. Но никто не

¹ Достархан — скатерть с расставленными на ней угощениями.

притронулся к чаю, к прозрачному сахару-новату, к миндалю и фисташкам.

Гости о чем-то шептались с хозяином и уходили. На женской половине дома тоже кто-то не спал. Это была золотоглазая и черноволосая Таджихон — дочь Насыра. По обычаям тех времен, ни один мужчина не мог видеть девушку. Женщины ходили в длинных одеяниях и закрывали лицо волосной сеткой — чачваном. Сквозь чачван даже самый солнечный день кажется пасмурными сумерками, но Таджихон часто видела ясное лицо Махмуда, и тогда день казался светлее, а вечер казался днем. «Жаль, — думала дочь старого скорняка, — что Махмуд не видит моего лица. Может быть, я бы ему понравилась».

Напрасно она так думала. Таджихон нравилась Махмуду с детства, да и теперь, часто бывая в доме Насыра-ата, Махмуд, будто нечаянно, заглядывался на стройную девушку, а иногда ему удавалось сквозь щель неплотно прикрытой двери перехватить взгляд ее золотистых глаз.

«Что-то будет? Что-то будет с Махмудом?» — думала Таджихон.

— Не спишь, дочка? — Отец тронул ее за плечо. — Вот и хорошо. Пойди разбуди Юсупа. Он мне нужен.

* * *

Лучи утреннего солнца еще не коснулись самого высокого минарета, когда в дом Махмуда проскользнул подросток. Он передал шубнику коротенькую записку. Знакомым почерком Насыра там было написано всего несколько слов: «В пятницу выходи на базар со всеми своими вещами. Продавай их только по отдельности. Все будет хорошо».

* * *

Никогда на хивинском базаре не было такого стечения бедного люда, и все стремились в скорняжный ряд, где Махмуд распродал свое имущество. Никто из хивинцев ни до, ни после этого не видел такого необычайного торга.

— Продаю иголку, — говорил Махмуд.

— Даю двадцать золотых! — кричали в толпе.

— Даю двадцать пять!

— Я беру за сорок.

Всем было известно, что на один золотой можно купить сто иголок, но покупатели продолжали повышать цену. Они кидались на старую посуду, будто это были драгоценности, отдаваемые даром.

— Продается моток ниток, — объявлял Махмуд, и цены сразу становились невероятно высокими.

Десять ткачей торговались за этот моток с десятью пастухами. Это был последний моток ниток, и никто не хотел уступать. Тогда в спор вмешался Юсуп.

— Чего вы спорите? — сказал он. — Разделите нитки на двадцать частей и отдайте за каждую часть все, что у вас есть.

Станный совет дал базарный мальчишка. В другой раз почтенные люди прогнали бы такого советчика, а тут почему-то послушались.

За обычную нитку ткачи вываливали на прилавок все серебро и всю медь, которую наскребли со дна сундуков. Пастухи отдавали самых жирных баранов.

Станный был в этот день базар. Никто ничего не покупал: ни лепешек, ни плова, ни перца. Купцы с заморскими товарами сидели, как сироты, и с тревогой поглядывали на толпу возле лавки Махмуда.

— Что хивинцы — сбесились?

Сыщики и доносчики рыскали по базару и выспрашивали у людей, что происходит.

Никто не говорил им правды. Кузнец, купивший половину глиняной тарелки, ответил так:

— Очень нужна мне эта посуда. Если бы было денег побольше, я бы и вторую половину купил.

Непонятный это был торг, хотя многие простые люди знали секрет. Помогать деньгами врагу веры строго запрещено, но покупать у него имущество никто запретить не может. Вот потому-то так дорого стоили старые вещи веселого шубника.

Вечером Махмуд сосчитал выручку.

В большом кожаном мешке медными, серебряными и золотыми деньгами набралось больше десяти тысяч. Штраф можно было выплатить. Можно было оставить матери на пропитание, чтобы со спокойной душой отправиться в дальнейшее изгнание.

— Вот видишь,— сказал Махмуд матери,— ты говоришь, что у меня много врагов. Но у меня еще больше друзей, потому что друзья моих друзей — мои друзья, а враги моих врагов — тоже мои друзья.

Дом Махмуда почти пуст. Все продано. Один котелок, одна тарелка, один помятый медный чайник. На супе лежат кошма и тоненькое одеяло. Это все для матери. Для нее же в небольшом кошельке деньги. Если экономить, то на год хватит.

Сидят на супе двое — мать и сын. Сын думает о матери, а она — о нем.

— Хотя и знаю, сынок, что чист ты душой, но, если шейх говорит, будто грешен, не верить не могу. Сходи ты в Мекку, поклонись святым камням, может, и получишь прощение от аллаха.

Долог путь до Мекки, но не о нем задумался Махмуд. «Как же матери без меня жить? Конечно, с голоду не умрет, добрые люди помогут, да тяжело ей будет».

— Сходи, сынок, в Мекку,— просит мать.— Поклонись святым камням.

Как матери откажешь! Всю жизнь с верой в аллаха прожила. Не разубедить ее.

— Схожу, мама,— обещает Махмуд, а сам думает, что и после возвращения из святых мест не будет ему жизни в Хиве: очень уж рассвирепели шейхи и муллы.

Вечереет. Завтра наступит седьмой день, надо будет уходить. За все эти темные дни никто, кроме Юсупа, не решился навестить шубника. И обижаться нельзя. Тяжелую кару понесет нарушитель закона. Один Юсуп не боится навещать шубника. Первый раз он зашел через дверь, как все люди ходят, а потом приметил отверстие в нижней части дувала, где арык во двор проходит, стал через арык проползать со стороны бахчей. Нужно только сторожа бояться, как бы не подумал, что Юсуп дыни и арбузы ворует. Ну да ничего, сторож стар и подслеповат. Чуть сумерки, он в шалашик камышовый заберется и оттуда покрикивает.

Так было и в этот вечер. Юсуп подождал, когда старик в шалаш уйдет, проскользнул, словно уж, между грядок, прыгнул в арык и пошел по колено в

теплой вечерней воде. Потом он пролез в глиняную трубу, вмазанную под дувалом, и, стоя прямо в воде, вежливо поздоровался.

— Здравствуйте,— сказал и приложил руку к животу, как старшие делают.

Улыбнулся Махмуд, и даже мать улыбнулась. Очень смешно, когда человек через арык пролез, а здоровается как ни в чем не бывало.

— Дядя Махмуд, я вам сегодня два письма принес,— с гордостью сказал мальчик и полез за пазуху.

Первое письмо содержало напутствие друзей Махмуда. Простые люди желали ему счастливого пути и скорого возвращения: «Мы не знаем, куда ты пойдешь, но знаем, что ты вернешься. Мы не знаем, что тебе готовит будущее, но уверены в твоей силе».

Внизу стояло тридцать подписей, а еще ниже приписка: «Если ты повстречаешь хорезмийцев, мастеров из Хивы, Ургенча и других городов нашей родины, тех, что Чингис-хан продал в далекие южные страны, то приведи их домой. Это будет твоим главным подвигом».

Второе письмо было совсем коротеньким. Махмуд прочитал его с особым волнением, и не знал, радоваться ему или горевать.

«Пусть люди, узнав о моем поступке, смеются надо мной. Пусть меня проклянут муллы, как проклинали Вас, но я хочу сказать, что, где бы Вы ни были, я всегда буду помнить Вас и буду ждать Вашего возвращения. Мне ничего не нужно в ответ, но если Вы хотите вернуться, то оставьте мне что-нибудь на память. Таджикион».

Думая об изгнании, Махмуд все шесть дней не хотел признаваться себе, что не только разлука с матерью, друзьями и родными печалит его...

И теперь, когда он узнал, что дочь скорняка тоже страдает, ему стало еще тяжелее.

— Я вернусь, мама,— сказал он.— Я сильный и не боюсь будущего. Я обязательно вернусь.

— Дядя Махмуд,— спросил Юсуп,— а вы кем будете в изгнании? Шубником или борцом? А может, учителем? Я видел много ученых людей. Они все слабые, как трава осенью. Я видел много силачей-пахлаванов. Они совсем неграмотны. Вы такой сильный, а

все время книги читаете, учитесь. Вы такой ученый, стихи писать можете, и к тому же самый лучший боец в Хиве, и по канату ходите, словно вы не шубник, а китайский канатоходец. Почему это?

Юсуп всегда задавал столько вопросов кряду, что Махмуд уже привык отвечать только на последний.

— Я был совсем-совсем маленький, — ответил Махмуд, — когда умирал мой отец. Он сказал мне тогда такие слова: «Сила без знания подобна падишаху, лишенному справедливости, а знание без силы подобно справедливому падишаху без войска. Когда же знание и сила равны между собой, дела идут по желанию».

— Дядя Махмуд, — опять спросил Юсуп, — а книги вы продали?

— Нет, — ответил Махмуд, — книги ты отнесешь Насыру-ата и попросишь, чтобы он их получше спрятал.

— А что передать Таджихон? — спросил мальчик.

— Я сам отнесу ей мое письмо. Ты не сумеешь этого сделать.

...На рассвете седьмого дня Махмуда уже не было в Хиве. Плакала старая мать, отбивая поклоны первой молитвы. На востоке за красными песками Кызылкумов вставало желтое солнце, а во дворе Насыра-ата возле комнаты Таджихон лежал огромный мельничный жернов. На сером пористом камне было высечено: «В моем доме не осталось ничего, что я мог бы подарить тебе. Пусть этот камень, который никто в Хиве не сможет больше поднять, напоминает тебе о силе моей любви. Я вернусь».

Из всех, кто ушел, не оставив следа,
Вернется ли кто для рассказа сюда?

Омар Хайям

Попробуйте найти в пустыне Каракум горсть песчинок, рассыпанных сорок лет назад. Гоняет ветер сухие волны барханов, вольно гуляют они по бескрайним просторам, черные смерчи поднимают огромные массы песка и уносят их далеко. За моря. За горы. За тридевять земель.

Попробуйте найти в великом коловращении народов, вызванном нашествием монголов, ту тысячу лучших хорезмийских мастеров с семьями, что по приказу Чингис-хана были обращены в рабство и проданы какому-то восточному царю. Насилия диких захватчиков гоняют по странам сотни тысяч людей. С места на место движутся целые народы. Попробуйте найти тысячу хорезмийских мастеров, угнанных сорок лет назад.

Но люди не песчинки.

И Махмуд решил: «Буду искать».

Он расспрашивал всех, кого встречал в пути, и люди удивлялись. «Зачем этому молодому парню знать то, что было сорок лет назад, зачем вообще вспоминать о таких бедах? Что было, то прошло», — думали эти люди.

— Может, их убили по дороге за непослушание, — говорили одни. — Ведь хорезмийцы — бунтовщики.

— Может быть, они погибли в пустыне во время смерча. Это часто бывает, — высказывались другие.

— Это было давно, — отмахивались третьи. — Кто знает, куда завели их пути аллаха.

Махмуд проходил по тому основному пути, что вел из Хивы на юг. Он миновал Хозарасп, Тахирию. Джегирбент и пришел в город Дарган. На весь восток славился Дарган своими виноградниками. Круглый год ездили сюда купцы за сладким черным и золотым кишмишом.

Именно здесь, в Даргане, слава Махмуда вышла за пределы Хорезма. Именно тогда Махмуд-Пахлаван получил свое второе имя, имя-титул. Его стали звать Палван-ата — отец богатырей.

Махмуд и раньше славился как борец-любитель, но это была слава среди друзей, потому что на Востоке, кроме любителей, издавна существовали борцы-профессионалы. Это, как правило, были огромные, грузные люди, самоуверенные и равнодушные, продававшие свою силу за деньги. Среди них существовали свои обычаи и свои приемы. Их схватки часто были не настоящей борьбой, а вроде бы театральным представлением, когда борцам заранее известно, кто кого победит, кто какой применит прием и как будут разделены деньги, уплаченные зрителями. Но профессиональная борьба сделала их на три головы выше борцов-любителей. Они знали больше приемов, были более выносливы и ловки.

Пять таких странствующих борцов и заехали в Дарган, где давали представление на базарной площади.

Ныне известно много способов борьбы. В старину их было не меньше. В Узбекистане популярна борьба кураш, в Азербайджане — гюлеш, в Армении — кох, в Туркмении — гореш, грузины любят борьбу чидоба.

По-разному разные народы называют свой любимый вид борьбы, по-разному борются борцы, разные существуют правила и приемы. И все-таки если сравнить старинную борьбу с современной, то окажется, что все эти способы очень похожи на тот вид интереснейших спортивных соревнований, который теперь называется вольной борьбой.

В тот далекий день, почти семьсот лет назад, когда Махмуд оказался в Даргане, странствующие пахлаваны боролись на утоптанной площади возле караван-сарая. Огромная толпа стояла вокруг. Ловко

работая плечом, Махмуд пробирался вперед. Стоящие сзади напирали, и круг зрителей заметно сужался. Борьба была очень интересной. Странствующие пахлаваны применяли самые разнообразные приемы. Они боролись в высокой стойке, атаковали неожиданно и красиво.

Зрители охали и ахали. Но Махмуд был знатоком и постепенно стал улавливать то, что было скрыто от глаз непосвященных. Ему нравились приемы, особенно тот, когда борцы, сойдясь грудь с грудью, плотно захватывают руку и туловище, а нога обвивает ногу противника изнутри.

«Если это хорошо получится,— думал Махмуд,— то противника можно легко поднять и бросить через себя».

Но борцы не тропились с бросками. Позволив удобно захватить себя, они пыхтели, кряхтели, ругались, возносили молитвы и... расходились с удрученным видом.

Так повторялось несколько раз, пока зрители не уставали удивляться, а в самый неожиданный момент борьба заканчивалась не очень хитрым, но красивым броском.

После схватки глашатай собирал деньги, и опять начиналась борьба. Вторая пара борцов работала на своих приемах. Махмуд узнавал в них знакомые ухватки виденных ранее заезжих пахлаванов, старинные бухарские подсечки и зацепы, но не переставал удивляться, что борцы слишком много трудятся, когда успех был бы, кажется, простым.

После второй пары сделали небольшой перерыв, и глашатай объявил:

— Теперь настала пора показать свою силу здешним борцам. Кто желает?

На круг никто не выходил.

— Кто хочет сразиться?— опять выкрикнул глашатай.— Пахлаваны дарят победителю халат.

Махмуд насторожился. Путь от Хивы до Даргана он прошел пешком. Ему хотелось выиграть хотя бы столько, чтобы заплатить за место в караване или купить себе ишака.

— А как выиграть ишака?— деловито спросил он.

В толпе засмеялись, а глашатай сказал:

— Чтобы выиграть ишака, нужно победить любого из приезжих пахлаванов.

Махмуд шагнул на середину круга. Если разобратся, то не только из-за ишака решил он бороться. Махмуду хотелось попробовать силу, а когда он решился, то подумал: «Терять мне нечего. Проиграть таким хорошим борцам не стыдно. Но уж рисковать так рисковать! Ишак хорош для ближних дорог. В пустыне нужнее верблюд».

— А что нужно, чтобы выиграть верблюда?

Тут усмехнулся и глашатай:

— Чтобы выиграть верблюда, нужно победить главного пахлавана.

Люди в толпе откровенно смеялись и подталкивали друг друга локтями.

Поражение не пугало Махмуда: он не столько думал о победе, сколько о приемах борьбы.

Его противник, наоборот, думал только о победе. Вернее, не думал, а был уверен. Это был рослый и красивый человек с умными, всегда прищуренными глазами. В короткой, ладно подстриженной бороде еле заметно пробивалась седина. Звали его Асам-пахлаван. Борцы сошлись. Противник применил тот самый понравившийся Махмуду захват с обвивом ноги и стал валить его навзничь.

«Как глупо,— подумал Махмуд.— Ему надо кинуть меня вверх, а он валит». Махмуд упал, но не лопатками, как ожидал противник, а боком. В одно мгновение Махмуд вновь оказался на ногах и захватил противника тем же самым приемом. Но Махмуд не стал его валить, а подкинул вверх, бросил через плечо назад и уложил на лопатки.

Когда утихли приветствия, поверженный богатырь ринулся на Махмуда.

— Давай еще раз!

— Нет,— сказал Махмуд.— Мне только верблюд был нужен.

— Не верю,— упрямо возразил пахлаван.— За верблюда так не борются. Ты решил опозорить меня. Ставлю четырех верблюдов, что ты не кинешь меня еще раз.

— Но у меня только один верблюд,— сказал Махмуд,— и я не хочу его проиграть. Ты очень искусен.

— Не надо мне твоего верблюда, — дрожа от обиды, сказал богатырь. — Я ставлю четырех, чтобы доказать свою силу.

Махмуд заколебался. Он не был азартным, как большинство борцов. Для него все это было лишь развлечением.

— Ладно, — согласился он. — Я покажу тебе один хивинский прием.

Они опять сошлись.

На этот раз схватка была еще короче. Махмуд захватил правую руку и правую ногу противника, рывком затянул его себе на плечи, продолжая тянуть за руку, протащил вниз и кинул спиной на землю.

* * *

В тот день из города вышло в разных направлениях три каравана, и всюду, где они проходили, где продавали сладкий кишмиш, становилось известно об удивительной борьбе в Даргане.

Но ни с одним из караванов не выехал Махмуд.

Он находился в домике, где остановились странствующие борцы. Асам-пахлаван привел его сюда, чтобы расплатиться за проигрыш.

Во дворе стояли широколапые тощие верблюды. Их было пять.

— Все твои, — сказал Асам-пахлаван и отвернулся.

Другие борцы тоже старались не смотреть на верблюдов и не хотели встречаться взглядами с Махмудом.

— Все твои, — повторил Асам-пахлаван не оборачиваясь, и Махмуд заметил, что коротко остриженный затылок сплошь серебрится. — Все твои. Забирай.

— Успеется, — почему-то сказал Махмуд. — Куда торопиться.

Вообще-то говоря, Махмуд не хотел задерживаться. Ему не терпелось ехать дальше. Но это было минутой назад, а теперь что-то изменилось.

— А у вас других верблюдов нет? — спросил он.

— Какие есть, таких даем, — резко ответил Асам-пахлаван. — Забирай и уходи.

— Нехорошо так, — возразил Махмуд. — Ведь мы

даже не познакомились. Может, нам в одну сторону ехать, а вы меня гоните.

Махмуд огляделся. Там, на площади, заезжие борцы казались ему воплощением силы, ловкости и самоуверенности. Здесь он увидел другое. Это были бедные люди. Они сразу сняли свои красивые одежды и облачились в потрепанные халаты. В казане, под которым еще тлели угли, он увидел гороховый плов с редкими кусочками нежирной говядины.

— Я не возьму верблюдов,— неожиданно для себя и для окружающих сказал Махмуд.— Я не люблю возиться со скотом. Вот если вы едете в сторону Бухары или Самарканда, я попрошу вас взять меня с собой.

...Закат сначала был оранжевым, как абрикос, потом посветлел и стал нежно-золотой, словно ломоть дыни. Махмуд сидел на корточках перед скудным достарханом хозяев и рассказывал им свою историю.

Асам-пахлаван, как старший за ужином, изредка кивал и вставлял одни и те же слова:

— Мы понимаем тебя, Махмуд. Мы бедные люди, как и ты.

Потом борцы, начиная с младшего по возрасту, поведали каждый свою историю.

Все они были из разных мест. Все по разным причинам лишились родного крова и, случайно повстречавшись, сдружились и ездят вместе, показывают свое искусство людям и живут на то, что удастся собрать во время представлений.

— Поедем с нами,— предложили они Махмуду.— Ты силен и ловок. Будешь бороться с нами. Мы научим тебя, ты научишь нас. До Бухары нам с тобой по пути, а дальше видно будет.

И Махмуд стал странствующим борцом.

Он шел по тому пути, которым когда-то прогнали хорезмийцев. Десятки самых крупных городов Средней Азии с интересом встречали знаменитого Махмуда-Пахлавана.

Борцы — его случайные товарищи — теперь только начинали схватки, разжигали страсти своей красивой, но несерьезной борьбой, а поединки с местными знаменитостями всегда проводил сам Махмуд.

Постоянные упражнения с товарищами сделали его еще более сильным и гибким. Он узнал все способы борьбы, освоил самые совершенные приемы. В его атаках была такая стремительность, такое бешеное чередование выпадов, подсечек, бросков, что зрители часто не понимали, почему тот или иной борец, считавшийся непобедимым, внезапно оказывался на лопатках.

Хорошо было ездить с Махмудом его товарищам. После каждой победы прибавлялось запасов в переметных выюках, звенели золотые в общем кожаном мешке.

Одного не понимали борцы: почему Махмуд тратит деньги на книги, почему так долго беседует с местными стариками?

А Махмуд записывал все, что слышал интересного о прошлом стран и государств, записывал сказки и легенды, способы лечения болезней, делал описания городов, рек, гор, через которые лежал его путь. Но больше всего Махмуда интересовала судьба его земляков.

Самарканд — город двадцати трех веков.
Он пережил много великих исторических событий
и потрясений.

Из книги «Самарканд».

Одногорбые верблюды Асама-пахлавана не знали усталости. Их сильные длинные ноги одинаково уверенно ступали и по сыпучему песку пустынь, и по шелковистой пыли равнинных дорог, и по горам, и по обкатанной, гладкой речной гальке, которой так много на дне ущелий.

Много городов, селений и скотоводческих кочевий любовались мастерством странствующих борцов. Им давали деньги; когда не было денег, их кормили пловом, поили кислым овечьим молоком — айраном, угощали фруктами, дарили косички сушеных дынь, а иногда просто благодарили.

Много дорог прошли одногорбые верблюды Асама-пахлавана, прежде чем странствующие борцы увидели Самарканд. Был вечер, когда борцы сделали привал на небольшой горе, что вздымается к северу от этого древнего и славного города.

Историки считают, что Самарканду две тысячи триста лет, ибо впервые о нем упоминается в описании походов Александра Македонского в 329 году до нашей эры. Но ведь уже в то время, когда Александр Македонский подошел к Самарканду (древние писатели называли его «Мараканда»), это был большой и красивый город, и сколько лет он существовал до того дня, никто не знает.

В Самарканде было много садов и арыков, много караван-сараев, мостов, бассейнов, дворцов и даже водопровод Арзис, подававший воду в часть города, стоящую на возвышенности. В тот вечер, когда борцы

сделали привал на горе, им показалось, что город так же красив, как о нем рассказывалось в старых сказаниях и песнях. В сумерках не было видно развалин дворцов и разрушенных мостов. Было видно только, что город этот велик и весь утопает в зелени. Вдали за городом тянулись фиолетовые гряды гор, а на равнине сверкали в лучах заходящего солнца воды реки Зарафшан; запутанные рукава реки долго оставались светлыми в сгущающихся сумерках.

Борцы молча уселись на каменистом склоне, развязали свои дорожные мешки — хурджуны, вынули ячменные лепешки и немного сушеных персиков.

— Красивый город,— сказал кто-то из борцов.

— Был красивый,— поправил его Асам-пахлаван.— Говорят, был красивый. Я его красивым не видел уже. Я вижу его третий раз. Это несчастный город. Сорок лет назад был красивый, до нашествия Чингис-хана.

Махмуд молчал. Все, что рассказывал Асам-пахлаван, Махмуд уже знал. Он не ждал увидеть здесь ничего радостного и ничего нового, так же как и везде, где правили монголы. В Самарканде его интересовал один человек, наместник, правитель. Этот повелитель, оставленный монголами для поддержания порядка, ревностно исполнял свои обязанности, и его жестокость и своеволие даже в те страшные времена вызывали удивление и трепет.

Темнота все сгущалась и сгущалась. Над городом зажглись звезды. Теплый воздух поднимался снизу, с равнины, а сверху повеяло ночной прохладой. Пахло полынью и пылью дорог. Иногда в тишине слышались какие-то шорохи, мерно дышали спавшие верблюды.

— Знаешь,— сказал Асам-пахлаван, укладываясь спать,— знаешь, Махмуд, не попробовать ли тебе завтра с утра натянуть канат и показать свое искусство? В былые времена здесь любили канатоходцев.

— Нет,— ответил Махмуд.— Ты же знаешь, зачем я пришел в Самарканд.

Асам-пахлаван не стал возражать. Он знал, что нужно Махмуду в Самарканде. Нынешний правитель города много лет назад был среди тех, кто захватил Хиву и Ургенч. Говорили, что он был среди тех, кто

угонял хорезмийских мастеров в рабство. Махмуд твердо решил расспросить повелителя Самарканда о судьбе своих земляков.

— Ну, как знаешь,— неуверенно пробормотал Асам-пахлаван.— Я за тебя думать не обязан.

— В том-то и дело, что каждый сам за себя должен думать,— вздохнул Махмуд.

* * *

Солнце только еще всходило, когда борцы, наскоро позавтракав, направились к городу. Стены и ворота Самарканда были давно разрушены, и жителям запретили их восстанавливать. Поэтому войти можно было через любую улочку. Впрочем, улочки были тоже разрушены, остались тропинки среди травы и кустарника.

Борцы шли пешком, верблюдов вели за собой. Садиться верхом опасно: какой-нибудь воин мог забавы ради выпустить по всаднику стрелу. Из-за кустарников и деревьев виднелись дома-мазанки, откуда робко выглядывали какие-то люди. Выглянут и спрячутся.

— Надо найти какого-нибудь старика,— сказал Асам-пахлаван.— Старики теперь храбрее молодых. У него остановимся, у него и узнаем, что и как теперь в Самарканде.

Не успел он это сказать, как на тропинке появился седобородый человек в рваном халате.

— Салам алейкум,— сказал он, низко поклонившись.— Трудной ли была дорога, не хотят ли путники найти крышу над головой?

— Спасибо,— тоже поклонившись, приложив руку к сердцу, ответил староста борцов.— Нам нужна крыша, но еще нужнее добрый человек, который даст мудрые советы в этом большом городе.

Через несколько минут они сидели под деревом возле арыка и старик рассказывал им:

— Борцам нечего делать в этом городе. Раньше мы очень любили борьбу и щедро благодарили тех, кто показывал свое умение. Но лет пять назад какой-то заезжий богатырь повалил монгольского борца, и с тех пор борьба у нас запрещена. Это ведь напоминает, что победителя можно победить.

Многие борцы видали, о многом слышали, но такого никто и предположить не мог.

— Теперь вся надежда на тебя! — Асам-пахлаван в упор посмотрел на Махмуда. — Может, твое искусство нас выручит.

— Сначала я пойду к повелителю, — уверенно возразил тот.

— А что вы еще умеете делать? — спросил старик. — Канатоходцам у нас тоже запрещено выступать. Никто не может взбираться выше победителя. А как же натянуть канат, чтобы он был ниже земли? То есть запрета нет, но канат нужно натягивать ниже земли. У нас много запретов. Мне не подобает огорчать гостей, но за любое ослушание в Самарканде рубят голову.

Все молчали, Асам-пахлаван чертил что-то веточкой на земле, молодые борцы смотрели на то, что чертит их староста, а староста и сам не знал, что он чертит.

— Ну что ж... Значит, я сейчас пойду к повелителю, а вечером мы уйдем из этого несчастного города, — нарушил молчание Махмуд.

— Ты пойдешь к наместнику? — удивился старик. — Зачем?

— Я хочу спросить у него... — начал было Махмуд, но старик замахал руками:

— Монголов нельзя ни о чем спрашивать. Они боятся, что не сумеют ответить, и потому запрещают задавать вопросы.

— У меня нет другого выхода, — сказал Махмуд.

* * *

Махмуд стоял перед огромным дворцом повелителя, ждал, пока выйдет кто-нибудь из начальства, и удивлялся тому, что видел. Дворец этот был единственным сохранившимся в Самарканде, но выглядел он очень странно. Стены дворца были когда-то выложены узорными изразцами, а теперь кто-то старательно разбил изразцы, а наверху, где не мог достать, закидал глиной. Резные украшения на фасаде были тоже разрушены.

Перед дворцом стояли с саблями, с луками и колчанами, полными стрел, воины внешней охраны. Махмуд не спрашивал у них, почему так изуродован этот дворец. Ведь если уж задавать вопросы, то самые важные.

Наконец заскрипела большая резная дверь, на которой древние узоры были изрублены ножами, и вышел кто-то, по всему своему виду похожий на начальника. Лицо у него было оплывшее и недовольное. Это был начальник внешней охраны.

Махмуд шагнул к нему, поклонился и сказал, что хочет видеть повелителя.

— Уйди,— сквозь зубы бросил ему начальник.

— Я хочу видеть повелителя,— невозмутимо повторил Махмуд.

Начальник с любопытством посмотрел на упрямого незнакомца и, скривившись, спросил:

— Зачем?

— Каждый старый человек любит вспоминать молодость. Я хочу напомнить повелителю его молодые годы. Не лишайте повелителя радости.

Тысячи раз выслушивал начальник внешней охраны разные просьбы, но не такие.

Начальник внешней охраны ушел во дворец, долго советовался с начальником внутренней охраны, потом Махмуда впустили во дворец, обыскали, связали ему руки и вывели в сад.

Махмуд не переставал удивляться окружающему. Внутри, как и снаружи, дворец был нарочно изуродован, а в самых лучших парадных залах стояли лошади. В саду на разрушенном фонтане висели лошадиные потники, скрюченные сыромятные уздечки и сопревшая кошма.

Повелитель жил в юрте, стоявшей прямо на солнцепеке. Он, родившийся в походе и выросший в седле, презирал удобство и роскошь. Он считал, что только трудности и лишения достойны мужчины, только суровость к себе будет залогом его жестокости к другим. А жесткость повелитель почитал самым главным человеческим достоинством.

Страж, стоявший у входа в юрту, распахнул полы, Махмуд шагнул в полутьму и увидел старика, лежа-

щего на полу. Начальник внутренней охраны прошипел в ухо:

— Пади ниц!

Махмуд послушно распростерся перед стариком. Повелитель Самарканда лежал на кошме, под головой седло, в руке он держал плетку.

— Говори!— невозмогая одышку, сказал старик. В последнее время он сильно болел. Голова у него гудела, затылок и шея были как чугунные, сердце билось часто.

— Я пришел, чтобы напомнить о твоей молодости. Я ни о чем не спрашиваю. Ты помнишь, как вместе с Чингис-ханом ты прошел по Хорезму, через Хиву и Ургенч, сколько крови пролили вы в тех родных мне краях, как угоняли вы в рабство лучших наших мастеров: медников, кузнецов, чеканщиков и ткачей...

— Я помню,— прервал Махмуда повелитель.— Я все хорошо помню. Я разрушил стены многих городов, я топтал возделанные поля, я убивал, я угонял в рабство. Вот и здесь, в Самарканде, я так наказал непокорных, что даже лучшие ваши грамотеи не могут сосчитать убитых. Я уничтожил водопровод. Я разрушил много мостов, дорог, домов и дворцов. Я много сделал, но многого не успел.

— О повелитель!— Махмуд улыбнулся своим мыслям и скромно возразил:— Человек, проживший такую жизнь, как ты, должен сожалеть не о том, чего он не успел сделать, а о том, что он успел.

— Ты возражаешь мне?— удивился повелитель Самарканда.— А известно ли тебе, что все это я делал людям на пользу? Я разрушил водопровод, чтобы люди на себе носили воду для питья и полива,— ведь от этого плечи становятся крепче и шире. Помню, в одном селении люди плакали о преждевременной смерти красивой девушки. Они так сильно плакали, что я приказал убить всех плачущих, чтобы прекратить их горе. Или другой случай: я видел, как люди очень сильно смеялись, хватались за животы, разевали рты и некоторые валялись на землю в изнеможении от смеха. Чтобы такое веселье не повредило их здоровью, я приказал убить смеющихся, а того, кто веселил их — рассказчика смешных исто-

рий,— велел посадить на кол. Все я делал на пользу людям! Неужели ты и теперь будешь возражать мне?

— Нет, повелитель, я не буду тебе возражать. Я даже не спрошу, слышал ли ты о том, что добро не нужно делать насильно. Я не спрошу, неужели ты не знаешь, что, прежде чем приступать к делу, нужно твердо знать, что есть зло и что есть добро.

— Ты не спрашиваешь меня, но я отвечу тебе,— зло прищурился повелитель.— Что бы я ни сделал, люди будут помнить обо мне. Я жил правильно, как люди моей крови, как мои предки и мои начальники. Теперь я умираю. Я и умру правильно, как мои предки. Я умру в степи, среди высохшей травы и сухой земли, чтобы никто не видел, как я не хочу умирать. И люди будут помнить обо мне.

— Нет,— опять с грустной улыбкой возразил Махмуд.— В мире слишком много злодейства, и потому люди помнят только тех умерших злодеев, с которыми можно сравнивать еще живущих. Ты умрешь, и никто не будет помнить, как тебя звали.

— Стоит ли спорить о том, чего мы с тобой не сможем проверить,— зло сказал повелитель Самарканда.— Я умру скоро, но ты умрешь раньше меня. Ты умрешь сегодня.

— Не торопись убивать меня сегодня,— хладнокровно посоветовал повелителю Махмуд.— Если ты казнишь меня сегодня, то завтра уже не сумеешь меня казнить. Разве это не страшно, что завтра ты не сможешь сделать того, что сегодня еще мог сделать?

Повелитель задумался.

— Я не понял твоих слов,— сказал он немного погодя.— Но ты меня убедил. Пусть будет по-твоему. Только не думай, что ты останешься жить. Даже если я умру сегодня, завтра ты будешь казнен моими верными слугами.

Махмуд перевел дыхание. Он так и не выяснил, куда же угнали хорезмийцев, а уже приговорен к казни. Правда, удалось получить отсрочку на один день, но спастись от жестокого повелителя Самарканда вряд ли возможно.

— Ты приговорил меня к смерти,— сказал Махмуд повелителю,— а я не знаю за что. Но я не спрашиваю тебя, ибо знаю запрет. Я даже не спросил те-

бя о том, что интересуется меня больше всего: куда ты угнал хорезмийских мастеров, куда их продали в рабство, где их искать.

— Ты не спрашиваешь меня, но я отвечу тебе, — прищурился и без того узкие глаза, сказал повелитель. — Хорезмийцев я пригнал в Бухару, которую ты уже не увидишь. И что было дальше, ты не узнаешь. Казню же я тебя за то, что ты улыбался в разговоре со мной, а это запрещено. Ты умрешь завтра.

Начальник внутренней охраны и стражники повели Махмуда к выходу из дворца, там ему связали ноги (руки ведь у него уже были связаны), и начальник внешней охраны приказал воинам тащить его в тюрьму.

* * *

Разговор с чужеземцем утомил повелителя Самарканда. За время своей власти над людьми он почти разучился думать сам и понимать чужие мысли.

«Проклятый чужеземец, — думал он. — Проклятый чужеземец!» Впрочем, ему только казалось, что он думал. Ведь в словах «проклятый чужеземец» никакой мысли не было.

Солнце перевалило за полдень, жара стояла нещадная, и в юрте было очень душно. Повелитель Самарканда сел на кошме. Голова кружилась, и болело сердце. Тогда он встал. Это было очень трудно, но он встал и сразу почувствовал, что голова у него закружилась сильнее.

«Проклятый чужеземец, — стучало у него в висках и в затылке. — Я все делал правильно! Меня не забудут люди. И сейчас я делаю правильно. Я должен умереть, как умирают люди моей крови. Я умру в степи, в чистом поле, среди травы и колючек, под сильным солнцем. Ветер и солнце высушат меня, и душа моя поскачет по степи на лучшем из моих коней, павшем тридцать лет назад. Душа кочевника живет в степи. Она не может жить в городе».

Повелителю Самарканда казалось: стоит только выйти в степь, — силы и молодость вернутся, он опять будет гибким и ловким, сможет сильнее всех натянуть тетиву лука и дальше всех пустить стрелу.

Повелитель вышел из юрты и с трудом, но твердо зашагал по каменным плитам двора. Он миновал разрушенный фонтан с висящими на нем лошадиными потниками, вступил под своды дворца, брезгливо сморщился, когда воины охраны склонились перед ним. В этих поклонах была рабская покорность, но было и какое-то изящество, которое раздражало его.

Через решетчатое окно он заглянул в сад женской половины дворца. Его младший сын играл в шахматы с сыном конюха. В Самарканде в шахматы играли и дети и взрослые. Сын долго просил подарить эти фигурки. Повелитель добыл самые лучшие шахматы — из слоновой кости и янтаря. Пусть забавляется мальчишка. Он и не думал, что сын целыми днями будет просиживать за этой пустой забавой.

Повелитель хотел крикнуть сыну что-то сердитое и презрительное, он топнул ногой, и боль передалась по всему телу в затылок, так что в глазах потемнело. Сын не увидел отца, не повернул к нему головы. Повелитель постоял у окна и, когда боль отпустила его, молча направился к выходу.

Перед дверью он нахлобучил на себя тяжелую лисью шапку, тверже сжал плетку, которую почти никогда не выпускал из рук, и вышел на палящее солнце.

Его затоснило, когда он увидел перед собой ненавистный город.

Начальник внешней охраны шагнул к нему с поклоном.

— Подать лошадь? — спросил он. — Или носилки с рабами?

Правитель хмуро поглядел на начальника охраны, не понимая, что ему говорят.

— Лошадь под седлом или паланкин? — еще ниже склонился тот.

«Я иду умирать. В степь иду умирать», — хотел сказать повелитель, но язык стал деревянным, не слушался. Повелитель ничего не смог сказать, а только замычал и сам испугался своего мычания.

— Бо-до-ма... — промычал повелитель.

Начальник внешней охраны глянул на него со страхом, и тогда повелитель, сам не зная почему, изо

всей силы ударил своего верного слугу плетью по лицу.

Раньше у повелителя был такой удар, что плетью до кости разрубала мясо, а теперь...

Начальник внешней охраны только на секунду зажмурился. На его смуглом жирном лице даже рубца не осталось.

С мраморных ступеней повелитель ступил на пыльную дорогу и, с трудом волоча ноги, пошел вниз по улице. Он пошел вниз по улице, потому что за спиной у него были горы, а там внизу за городом, за базаром была степь. Повелитель шел умирать.

Когда он ступил на базарную площадь, там началась суматоха. И продавцы и покупатели бросились бежать. Некоторые успели собрать свой товар, а многие бросали все и с криком, не оглядываясь, пускались наутек. Площадь опустела мгновенно...

Повелитель хотел усмехнуться, но лицо тоже теперь не слушалось его, оно словно окаменело. Каждый шаг давался все труднее и труднее. Повелитель дошел до середины площади, споткнулся о камень, за который привязывали ишаков, и упал.

Он лежал на базарной площади среди конского и овечьего навоза, тряпья, продавленных корзин, обглоданных костей, среди грязных увядших арбузных и дынных корок. Солнце стояло почти в зените, воздух был неподвижен, пахло гнилью. Площадь была пуста, как степь, но не было в ней ни травы, ни ковыля, не было в ней запахов степи и свежего ветра.

Площадь была пуста. Ни один человек не решался показаться перед глазами умирающего, но повелитель Самарканда знал, что из-за каждой стены, из каждого дома, каждой хибарки на него смотрят глаза врагов. Врагами для него сейчас были все: и жители Самарканда, и воины охраны, даже его ближайшие помощники были теперь его врагами. Все ждали, когда он умрет, все видели, как он не хочет умирать.

Повелитель поднялся на локтях, еще раз оглядел базарную площадь.

«Нет, — думал он, — это не степь. Я умираю неправильно. Неужели я жил неправильно?»

Силы оставили его, и повелитель уткнулся в грязь лицом.

На другой день с утра палачу предстояло много тяжелой работы. В тюрьме, под которую приспособили очень большой сарай, его ждали пятьдесят восемь узников, приговоренных к смерти. Махмуд познакомился со всеми смертниками и уже перестал удивляться тому, за что здесь людей приговаривали к смерти. Трех приговорили к смерти за мелкое воровство, пятерых — за то, что не уступили захватчикам дорогу, двенадцать — что не сразу отдали им свои новые сапоги и халаты, тридцать семь — за плач в присутствии монголов, а Махмуда — за улыбку в присутствии повелителя.

Пятьдесят восемь узников ждали казни, а палач все не приходил. Не появлялся и начальник тюрьмы. Они с утра ушли во дворец. Здесь очень ждали перемен после смерти повелителя, и перемены эти действительно наступили.

Помощник повелителя стал повелителем, начальник внутренней охраны стал помощником повелителя, начальник внешней охраны — начальником внутренней охраны, начальник тюрьмы — начальником внешней охраны, а палач стал начальником тюрьмы.

Палач пришел в тюрьму только в середине дня. Лицо у него было важное и довольное. Он открыл дверь и сказал:

— Убирайтесь на все четыре стороны. Я теперь начальник и не хочу марать руки о вашу кровь. Зачем мне это? Я теперь сам стал начальником, а палача для вас я пока не нашел. Идите! Все равно тюрьма пустая не будет. Найдем палача — найдутся и смертники.

Этой же ночью из Самарканда поодиночке выходили борцы Асама-пахлавана. Они шли осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания. Мало ли что может случиться в таком городе! На одном из верблюдов в мешке везли Махмуда. Асам-пахлаван боялся, что он опять ввяжется в какую-нибудь историю или просто улыбнется. А в тот день Махмуд не переста-

вал улыбаться. Далеко в степи Махмуда выпустили из мешка, и он еще раз подробно рассказал друзьям, что с ним произошло.

С тех пор к имени Махмуда-Пахлавана люди стали добавлять слово «католий», что значит подвергавшийся убийству, побывавший под ножом палача.

Во многих исторических книгах Махмуд упоминается со словом «католий», а вот имени повелителя, который хотел казнить Махмуда, никто не помнит.

Сам по себе любой высокий сан
Величия не придает словам,
И потому всегда внимайте смыслу,
А кто сказал — какое дело вам.

Зайн ал-Абидин Магарай¹

Много караванных дорог пришлось ему пройти, прежде чем попал он в благородную Бухару — Бухару, издавна славившуюся святостью и мудростью своих духовных наставников, своими мечетями и медресе, своими дворцами и садами.

Небольшой караван, с которым ехали борцы, вошел в город после полудня.

Верблюды мерно шагали вдоль низеньких глиняных дувалов предместья. Кругом, насколько хватал глаз, расположились фруктовые сады. Зеленъ листьев и золото плодов тускло просвечивали сквозь густой слой серой пыли.

Путники разместились в небольшом караван-сарае, и Махмуд, наскоро умывшись, отправился в центр города.

Вернулся он затемно, а утром вновь ушел. Так повторялось несколько дней, и каждый вечер Махмуд возвращался мрачнее мрачного.

Странные в Бухаре были ученые — ученые-богословы. Это значило, что почти к каждому слову они прибавляли слово «бог» и других слов не понимали. Они говорили об аллахе и пророке, о семи небесных сводах, о райских прелестях, об ужасах ада, а когда их спрашивали о чем-нибудь простом, они закатывали глаза, набирали полную грудь воздуха, хватались

¹ Зайн ал-Абидин Магарай — известный иранский поэт XIX века.

за бороды и начинали бормотать что-то про мудрого из мудрых, ученого из ученых, святого из святых муллу Серажетдина.

— Скажите, много ли рабов прогоняли монголы через Бухару?— спрашива~~л~~ Махмуд.

— Велик мудрый Серажетдин — гадатель будущего, да продлит аллах дни его, да украсится мудростью его род человеческий, да славится имя его в веках. Алла-бисмилла!

— Ну ладно. Не знаете — не надо. А хорезмийских медников, кузнецов, чеканщиков по серебру и золоту не видели?

— Нет никого, кроме аллаха и пророка, чьи слова имели бы такую красоту и глубину, как слова великого Серажетдина. Слова эти высоки, как вершины, покрытые снегом, и смысл их глубок, словно синее море,— завывали ученые. И опять:— Алла-бисмилла!

Три дня ходил Махмуд по мечетям и медресе, у многих местных мудрецов побывал он, и все отвечали примерно так. Пробыться к мулле Серажетдину в медресе оказалось не просто. Пять его учеников — каждому лет под пятьдесят, если не больше,— с пристрастием расспрашивали, что нужно чужеземцу, потом стражники обыскиали Махмуда и только тогда впустили в зал, где над толстой книгой сидел сухонький старичок с огромной, шире плеч, зеленой чалмой.

— Говори, червь!— приказал старичок.

Махмуд удивился, но решил не обращать внимания на подобную неучтивость.

— Я пришел с севера,— сказал Махмуд.— И хочу узнать о судьбе моих соотечественников. Говорят, что сорок лет назад в Бухару гнали ремесленников из Хорезма. Так ли это? Если это правильно, то куда они девались, на юг пошли, на восток или на запад?

— Ты невежда и семь раз невежда,— ответил богослов.— Разве ты не знаешь, что все четыре стороны света, из которых ты упомянул только три, находятся под сенью мудрого аллаха-повелителя? А если так, то куда бы ни пошли твои ремесленники, это не твое дело.

Махмуд опять пропустил мимо ушей эти слова.

— Я дал обет найти своих старших братьев, от-

цов и дедов моих друзей. Я хочу знать, были ли они здесь сорок лет назад?

— Подлинный ученый, — ответил Серажетдин, — никогда не поинтересуется тем, что было. Только будущее может занимать умы мудрецов. В прошлом были аллах и пророк — этого нам хватит, а будущее написано в книге пророка, и читать эту книгу доверено избранным.

— В прошедшие времена, — возразил Махмуд, — жили наши отцы и деды, жили деды и прадеды наших дедов; как же можно не знать прошлого? Ведь без прошлого не понять настоящего и не угадать будущего.

— Все в книге аллаха! — ответил мулла.

— Ладно, — согласился, чтобы не спорить без толку, Махмуд. — Но нет ли в ваших книгах чего-нибудь о тех людях, которых угнали в рабство воины Чингис-хана?

— В книге, написанной мной, об этом сказано, упрямый человек, что всех рабов монголы водили на восточные горы, загоняли в пещеры и там отдавали дивам, чтобы заслужить их милость.

— На восточные горы, значит! — обрадовался Махмуд, получив хоть какие-то сведения. — На восточные горы — это понятно. Но зачем дивам мои соотечественники? Я с детства слышал о дивах. Это же сказки для глупых или для маленьких.

— Ты навлекаешь на себя гнев дивов, упрямый богохульник, — важно сказал мулла. — Ты не веришь моим словам, словам наставника медресе. Иди!

Как ни бился Махмуд, ему больше ничего не удалось узнать от Серажетдина. Зато все другие мудрецы Бухары с этого момента уверенно начали повторять: «Всех рабов монголы гоняли на восточные горы и кормили ими всемогущих дивов, живущих в пещерах».

Так ничего не добившись, покинул Махмуд дом мудрости аллаха, а когда выходил на улицу, увидел, как пять или шесть великовозрастных учеников медресе загоняли во двор ишака, груженного дровами. Ишак был стар и упрям. Чем больше его били и пинали, тем упорнее он сопротивлялся, загородив вязанкой узкую калитку.

— Не так надо,— сказал Махмуд. Он погладил ишака по голове, вкрадчиво и ласково заговорил с ним:— Почему ты не хочешь идти в этот двор? Неужели ты думаешь, что тебе не место среди здешних мудрецов? Ты ошибаешься, о ишак из ишаков. Ты имеешь полное право зайти в это святилище богословия. Ведь ты близкий родственник мудрого муллы Серажетдина. Я же вижу это. Иди, ишак, не стесняйся.

Упрямое животное вняло ласковому голосу и перестало сопротивляться. Ишак вошел во двор и послушно направился к кухне.

Ученики медресе стояли разинув рты, а самый расторопный кинулся к Махмуду с вопросом:

— Скажи, чужеземец, откуда ты узнал, что этот ишак — родственник мудрого муллы Серажетдина? Скажи, в каком он с ним родстве?

— Я объясню тебе это, если ты, в свою очередь, ответишь на один вопрос.

Ученик согласился.

— По высокомерию,— сказал Махмуд,— и выражению глаз я понял, что он близкий родственник вашего наставника. А по упрямству я угадал, что он его родной брат. Скажи теперь, почему все ваши ученые повторяют любую глупость, какую ни скажет Серажетдин?

— Видишь ли,— ответил ученик,— когда-то все наши богословы говорили и думали по-разному. Из-за этого возникали споры и ссоры. Тогда они вознесли молитвы, кинули жребий, и аллах указал им гадала путей и судеб человеческих, прорицателя истин, мудрого муллу Серажетдина. Они стали повторять только его слова. С тех пор наши мудрецы живут тихо, мирно и очень долго.

Махмуд поблагодарил за толковое разъяснение и направился на площадь, где выступали его товарищи — борцы.

Махмуд был очень зол и, вступив в единоборство с бухарскими пахлаванами, кидал их с таким остервенением и с такой силой, что толпа шарахалась в стороны.

Чемпион Бухары, волосатый тридцатилетний человек, которого Махмуд уложил с первого захвата,

сидел на краю пыльной площади у арыка и ревел навзрыд.

Но Махмуд не радовался победам. Он горевал, что следы хорезмийцев терялись в этом городе, он был зол на мулл и богословов, говорящих о боге и не думающих о человеческих судьбах.

Следующий день Махмуд провел среди простых людей. Он расспрашивал всех, кто был старше сорока лет. Разные Махмуд получал ответы, но все они были более толковыми, чем слова муллы Серажетдина. Не сердился Махмуд, когда одни утверждали, что караван с хорезмийцами ушел на юг, другие указывали на восток, а третьи называли Византию. Поверил же он нищему слепому старику с деревянной миской для сбора милостыни.

— Помнится,— говорил слепой, улыбаясь, хотя улыбка была явно не к месту,— помнится, шел здесь такой караван, и один из стражников говорил другому, что в Зузене Хорасанском очень вкусно готовят шашлык. Это было в тот самый день, когда в Бухаре стало известно о смерти Чингис-хана. Я запомнил этот день, ибо именно тогда один молодой и веселый человек кинул мне серебряную монету и она закатилась в щель между двумя камнями, что лежат возле западных ворот.

«Что же,— подумал Махмуд,— самые правдоподобные сведения дал мне этот слепой. Действительно, о чем могут говорить стражники, как не о еде, даже если в этот день стало известно о смерти их повелителя. Кстати, Чингис-хан умер именно сорок лет назад. Наверное, поэтому и был весел тот молодой человек, что кинул слепому серебряную монету».

— Скажи, отец,— спросил старика Махмуд,— ты достал ту монету, что закатилась в щель между двух камней?

— Нет,— грустно ответил слепой.— Рука не пролезает, а камни тяжелые — не сдвинуть. Я только слышал, как она звенела и катилась.

— Если ты сказал правду, я принесу тебе твою монету,— пообещал Махмуд и заторопился к западным воротам.

Камни оказались на месте. Это были огромные валуны, неведомо как очутившиеся здесь. Махмуд без

труда отшвырнул тот, что был поменьше, и увидел большую серебряную монету, покрытую толстым слоем пыли.

Старый нищий был рад монете, а Махмуд твердо знал: надо ехать в Зузен. Не откладывая отъезд, Махмуд договорился с хозяином каравана, идущего в Хорасан, и стал прощаться с борцами. Их путь лежал в другую сторону, и расставание было неизбежным.

— Почему ты поверил какому-то слепому нищему, а не поверил людям, известным своей мудростью и образованностью? — спросил Махмуда Асам-пахлаван.

— О, Асам-ака, — ответил Махмуд, — важно ведь не то, кто говорит. Важно то, что говорит.

На прощание Асам-пахлаван сказал Махмуду:

— Я видел много богатырей на своем веку, а такого, как ты, не встречал. Ты мог бы всю жизнь бороться на базарах, но ты из тех, кто не может всю жизнь ходить одной и той же дорогой. Тебе всегда нужны новые пути. Иди по этим путям. Если ты и погибнешь, то песни, сложенные о твоей силе, не забудутся никогда.

— Никто не знает, как долго суждено жить песням, — отвечал Махмуд. — Мне нужно вернуть моей родине ее сыновей, мне нужно вернуться к матери и любимой. Это — главное.

Наутро Махмуда уже не было в Бухаре.

Павлин благоденствия красуется
в саду благополучия.

*Синдбад-наме*¹

Но и в Зузене Хорасанском не оказалось соотечественников Махмуда. Старики говорили, что хорезмийских мастеров войны Чингис-хана прогнали здесь лет тридцать, а может, сорок назад. Они ушли на запад, а куда ушли, не было известно. Говорили, будто во дворце эмира есть хорезмийское серебряное блюдо и на этом блюде много рисунков и надписей.

Но как попасть во дворец? Этого Махмуд не знал.

В отличие от многих правителей, эмир Зузена не любил смотреть на борцов и канатоходцев. Эмир считал себя поэтом и писал стихи. Слава Махмуда Палван-ата не могла открыть доступ к эмирским сокровищам. Во дворце вечно толпились поэты и толкователи стихов. Сами они большей частью ничего не знали и ничего не умели. Поэты на все лады воспевали талант своего повелителя, а толкователи писали длинные трактаты о глубоком смысле стихов эмира.

Лесть имеет одну странную особенность. Она похожа на мед — сладкая, липкая, душистая. Она приятна, но питаться только медом нельзя.

Эмиру было пятьдесят лет. Стихи он начал писать ни с того ни с сего, от скуки, лет десять назад. За пять лет придворные подхалимы истратили весь запас своих похвал и вот уже пять лет только и делали, что повторяли сами себя. Иногда они забывались и повторяли не свои слова, а чужие. Тогда среди поэтов и толкователей вспыхивали драки. Почтенные

¹ Синдбад-наме — книга о Синдбаде.

старцы вцеплялись друг другу в бороды, катались по длинным ковровым дорожкам дворцовых галерей, а иногда даже кусались и царапались. В такие дни сам повелитель не мог их утихомирить. Стража, зная любовь эмира к льстецам, не вмешивалась и обходила дерущихся поэтов стороной, а эмир переодевался в простой халат и свисающую на лицо чалму, перекрашивал бороду и уходил в город. Он надеялся, что услышит новые похвалы, идущие от простых сердец его подданных. Он ходил по базару и прислушивался. Но люди на базаре почему-то не говорили о стихах. Они спорили о ценах, торговались. Он шел к ремесленникам, но и те не спорили о поэзии, а занимались своим делом.

В харчевнях, где стоял чад от пашлыков и люля-кебабов, где сладко пахло жареным луком и свежими лепешками, тоже не говорили о стихах. Никто в Зузене не говорил о поэзии.

Однажды, когда эмир, утомленный напрасным хождением по базару в поисках ценителей стихов, возвращался домой, у ворот дворца не оказалось стражи. Эмир стучался, стучался, пока какой-то статный чужеземец не посоветовал ему:

— Не стучите. Я здесь уже с полдня жду, а никого нет. Говорят, во дворце идет драка между поэтами и толкователями по поводу последнего стихотворения эмира и вся стража смотрит на побоище. Видно, здесь не знают, что такое стихи.

— Кто ты, благородный человек? — с важностью спросил эмир. — Ты правильно сказал о моих слугах. Они не понимают стихов, ибо обо всех моих стихах говорят одно и то же.

Махмуд сразу догадался, что перед ним переодетый эмир.

— Я пахлаван из Хорезма, по имени Махмуд, — ответил он. — За победы над борцами пяти царств меня зовут Палван-ата. Меня знают как борца. Многие говорят, что я неплохо хожу по канату, но никто не верит, что борец я по случайности, а в душе очень люблю стихи.

Эмир обрадовался встрече. Он подумал, что чужеземец — именно тот человек, который скажет ему что-либо новое.

Между тем кому-то из стражников надоело смотреть на драку. Он вышел к воротам и впустил во дворец эмира и гостя.

По восточному обычаю, с гостем нельзя сразу говорить о делах, и эмир прежде всего решил угостить Махмуда хорасанскими кушаньями.

В огромном обеденном зале расстелили длинный ковер. Двадцать слуг внесли сорок подносов и поставили их в ряд. Учув запах еды, перестали драться придворные поэты. Они прибежали с синяками и кое-как заклеенными царапинами. У главного поэта и главного толкователя стихов не хватало столько волос в бороде, что двух бород едва хватило бы закрыть даже один маленький подбородок.

Эмиру и Махмуду слуги подали золотые блюда. Остальные тридцать восемь были серебряные.

— О великий эмир! — сказал Махмуд. — Я прошу тебя об одной милости. Скромность простого человека не позволяет мне есть с такого же блюда, как твое. Позволь, я сам выберу себе блюдо.

— Ты мудр и скромен, — величественно отвечал эмир. — Выбери себе блюдо сам.

Трудно определить, какое из тридцати восьми серебряных блюд сделано хорезмийцами, тем более что они завалены кушаньями и рисунков не видно. Долго Махмуд выбирал блюдо. Придворные проголодались после драки и раздраженно поглядывали на медлительного гостя. Эмир самодовольно улыбался скромности чужеземца.

— Учитесь у него, — указал он придворным. — Вот истинная скромность человека, находящегося перед лицом царя.

Наконец Махмуд решился. Он выбрал блюдо тонкой лапши, перемешанной с рубленным мясом. С детства Махмуд не любил лапшу, но ему показалось, что рисунок на ободке напоминает старинные хивинские узоры.

Усевшись против эмира, Махмуд приготовился есть. Эмир, воздев руки к небу, произнес:

— Во славу аллаха и его пророка, за мое драгоценное здоровье — начали!

Никогда в жизни Махмуд не ел так много и так быстро. Если бы мать видела, что у сына такой аппе-

тит, она, верно, очень бы обрадовалась. Даже придворные, привыкшие к обжорству, удивлялись тому, как много Махмуд запихивает в рот. Но как он ни торопился, а блюдо все еще было покрыто лапшой. Наваленная горой, она расползалась и покрывала только что освободившееся пространство. Махмуд уже наелся, а из-под лапши едва выглядывали изображение нижней части какой-то башни и край полуразрушенной стены.

Да, это было хорезмийское блюдо. Рисунок башни и стены очень походил на развалины Ургенча-Турганджа после нашествия монголов. С новой силой Махмуд накинудся на ненавистную лапшу, и вот наконец обнаружилась надпись, выгравированная на серебре: «Нас, тысячу хорезмийских мастеров с семьями, гонят через Хорасан в Те...»

Махмуд, давясь от нетерпения, глотал жирные куски вареного теста.

«...в Тегеран,— открылось на блюде.— Если оттуда нас погонят дальше, ищите нас по следам наших рук».

Для того чтобы узнать остальное, нужно было съесть не меньше полпуда лапши. Этого Махмуд не мог. Он стал незаметно переваливать лапшу с места на место. Наконец открылась вся надпись:

«...Ищите нас по следам наших рук. Следы ног замечает песок. Следы рук остаются навеки».

Ради этой истины стоило пережить «пытку лапшой», как про себя назвал Махмуд эмирскую трапезу. Пойми он это сразу, поиски, наверное, еще раньше навели бы его на подлинные следы пропавших соотечественников. Все становилось простым и ясным. Надо искать вещи, изготовленные хорезмийцами, по ним он найдет и самих мастеров.

После обеда все перешли в зал, где собирались придворные поэты. Стены и потолок были украшены стихами эмира. Махмуд бегло просмотрел их и искренне удивился. Никогда до сих пор он не думал, что подобную чепуху можно произнести.

— Скажи, чужеземец,— самодовольно спросил эмир,— как тебе это нравится?

Махмуд ответил то, что думал:

— Я не подозревал, что все это может произнести

один человек, но я еще больше удивлен, что нашлись люди, способные это записать.

— Вот видите,— радостно заявил эмир придворным поэтам,— вот что значит ученый человек! Как он меня похвалил. А вы все воете: «Изумительно! Великолепно! Мудро! Неподражаемо!» Учитесь похвалять у чужеземца.

Махмуд не любил говорить неправду, даже если это было необходимо. Когда же дело касалось искусства и особенно стихов, он просто не мог лгать. Здесь же получалось, что он соврал. Махмуд хотел возразить.

— Чужеземец,— жестом остановил его эмир,— ты еще скажешь потом. Послушай лучше самые новые, самые совершенные стихи.

Эмир с ногами забрался на трон, вытянул правую руку вперед, а левую назад и прочел:

Какой хороший я эмир! Веселый я эмир!
На целый мир — один эмир. Один такой эмир!

— Восхитительно! Поразительно! Упоительно!— хрипло гаркнули придворные поэты и толкователи стихов.

Но эмир не слушал их, он смотрел на Махмуда. Тот задумался. Сказать, что это плохие стихи, было мало. Нужно объяснить эмиру, почему они плохие.

— Видите ли,— вежливо заговорил Махмуд,— мне сказали, что вы начали писать стихи в сорок лет. Между тем известно, что до двадцати лет стихи пишут решительно все, после двадцати — поэты, после тридцати — гениальные поэты, а тому, кто начал после сорока, лучше вообще не писать.

Эмир и придворные не поняли, что хотел сказать гость, и Махмуду пришлось пояснить:

— Это очень плохие стихи. Они ничего не говорят людям. В них нет никакого смысла и никакой красоты.

Придворные опешили. Такого во дворце не случилось никогда. Эмир все еще стоял ногами на мягкой подушке своего трона и от удивления забыл переменить позу. Наконец эмир опомнился. Он топнул левой ногой и опять удивился.

Дело в том, что обычно под левой ногой у него стоял барабан. Достаточно было ударить в него каблуком, как в зал врывались двадцать стражников с саблями наголо. Эмир привык топтать, но он забыл, что на этот раз под левой ногой была пуховая подушка. Он топал и топал, а звука не было, и стражники не появлялись.

Первым опомнился самый главный поэт. Он кинулся к барабану и застучал в него кулаками. Тотчас же распахнулись четыре потайные двери, и, будто из-под земли, появились двадцать эмирских телохранителей во главе с начальником подземной тюрьмы.

— Кого хватать? — вращая круглыми от натуги и усердия глазами, спросил он.

Эмир не мог говорить. Он только указал рукой на Махмуда. Гости схватили и потащили к двери. Эмир слез с трона. Голова его кружилась. Левая нога дергалась сама собой. Ей хотелось ударить в барабан.

Главный толкователь стихов, который находился в вечной вражде с главным поэтом, решил воспользоваться случаем. Он подбежал к эмиру и что-то зашептал ему на ухо. Эмир подскочил на месте и ударил ногой в барабан.

— Этого тоже заберите, — указал повелитель на главного поэта.

Тот завопил, и мотая остатками бороды, стал вырываться из рук дюжих стражников.

В Зузене существовал старинный закон, по которому никто не имел права прикасаться к эмирскому барабану. За это полагалось пожизненное заключение. Поэта уволкли.

Три дня сидел Махмуд в темнице, и три дня эмир придумывал, какой смертью Махмуд должен умереть. Эмир знал сто одиннадцать способов казни. Все они были достаточно страшны, но все заканчивались одинаково: голову казненного насаживали на пик и выставляли в саду перед дворцовыми окнами. За время своего царствования эмир Зузена поставил двести двенадцать таких пик.

Три дня и три ночи эмир придумывал новую казнь, но что-то мешало ему. Он даже стихов не сочинял. На четвертые сутки эмир вызвал к себе главного толкователя стихов.

— Послушай, мой единственный верный друг,— сказал эмир,— я не могу казнить этого нечестивого Махмуда. Ведь если его голова будет все время торчать перед моими окнами, я всегда буду вспоминать о том, что был человек, которому не нравились мои стихи. Я не смогу больше писать.

— Это мудро!— воскликнул толкователь. В его голове зрел коварный план.— Надо заставить хорезмийца похвалить ваши стихи, а после этого уже казнить.

В тот день начальник тюрьмы сказал главному поэту:

— Если ты сумеешь сделать так, чтобы Махмуд похвалил новые стихи эмира, то его казнят, все пойдет как прежде и тебя помилуют.

Главного поэта перевели в темницу к Махмуду. Всю ночь подлый придворный льстец убеждал Махмуда, что стихи эмира — божественная красота и непознаваемая мудрость.

Сначала Махмуд пытался спорить, доказывать, объяснять, а под утро, чтобы прекратить спор, прочитал такие строчки:

Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить небо кровью сердца легче,
Чем провести мгновение с глупцом.

Главный придворный поэт понял, что переубедить хорезмийца он не сможет. Тогда он сказал:

— Помни же! Если ты еще раз обидишь эмира, тебя посадят на кол. По-моему, лучше похвалить плохие стихи, чем сидеть на хорошем колу.

— В этом ты, пожалуй, прав,— согласился Махмуд.

Скоро эмиру донесли, что чужестранец сдался. Эмир немного успокоился.

Ночью он написал новые стихи, а утром Махмуда ввели в тронный зал.

Повелитель Зузена сидел на троне и, подперев голову рукой, медленно раскачивался из стороны в сторону.

— Слушай, несчастный, стихи великого эмира!— провозгласил торжествующий толкователь.— Слушай и помни, что сейчас решится твоя судьба.

В глубине души эмир надеялся, что новые его стихи действительно понравятся Махмуду.

Эмир раскачался как следует и начал:

Ужасно грустный я эмир! Увы! Увы! Увы!
О горе мне, о горе мне! Увы! Увы! Увы!

Махмуд с минуту колебался. Потом он молча повернулся и направился к двери, которая вела в сад казней.

— Куда ты?!— закричал эмир.— Постой! Мы хотим знать твоё мнение.

— Чего уж,— грустно сказал Махмуд,— чем хвалить такие стихи, лучше сразу умереть.

Эмир упал в обморок, а когда пришел в себя, приказал:

— Дайте ему лучшего скакуна, и пусть через день никто в моем царстве не видит и не слышит его. Пусть он убирается скорее.

— А как же быть с главным поэтом?— затаив злорадство, спросил главный толкователь стихов.

— Голову поэта наденьте на пику и поставьте перед моими окнами. Я буду смотреть на нее и вспоминать, как поэт хвалил мой талант. У меня от этого улучшается настроение.

Махмуд торопил коня. Он скакал весь день и, отдохнув ночью, с рассветом вновь мчался по степи. Ему хотелось как можно быстрее покинуть царство, где любовь эмира к стихам мешала простым людям говорить правду о поэзии.

Махмуд спешил в Тегеран.

Неблагороден, кто на грудь упавшему наступит,
Нет, ты упавших поднимай —

и будешь благороден!

Махмуд-Пахлаван

В те времена правитель Тегерана был простым прислужником монгольских ханов. Старый, трусливый, напуганный нашествием и утомленный интригами и междоусобицами, он не мог и не пытался укрепить свои владения и тешился собственной важностью и жестокостью. Называть себя он приказал шахиншахом, пышные титулы роздал придворным, казнил правого и виноватого, продавал своих подданных в рабство, а стражу себе набирал из рабов, купленных у других царей.

Была у правителя страсть к зрелищам. Особенно любил он борьбу. Однажды ему доложили, что из Хивы в Персию едет какой-то пахлаван, которого зовут Палван-ата. Говорили, будто нет ему равных в борьбе ни в благородной Бухаре, ни в славном Самарканде, ни в Герате, ни в Зузене Хорасанском.

И повелитель приказал:

— Как только этот борец появится в Тегеране, пусть приведут его ко мне, и да попробует он сразиться с моими пахлаванами. Пусть знают во всем мире, что нет на свете богатырей сильнее, чем мои рабы.

На всех заставах стражники опрашивали путников, доносчики и соглядатаи рыскали по Персии, высматривая человека, о котором уже слагались песни. Но песня не портрет. По песне человека не узнать. О Махмуде, например, пели, что велик он, как гора, что лицо у него как голова дракона, руки

словно змеи, ноги словно каменные столбы. И никто не называл его настоящего имени — Махмуд, а величали титулом Палван-ата.

Ни в одни ворота, ни с одним караваном не входило такое страшилище. Сыщики сбились с ног, а потом устали и решили ждать. «Такого легко заметить, даже сидя в чайхане или просто на улице, — думали они. — За ним должны обязательно ходить толпы зевак».

Между тем Махмуд жил в Тегеране уже две недели. Здесь тоже не оказалось хорезмийских мастеров, и Махмуд искал «следы рук». Первые дни не принесли ничего нового. Правда, он нашел несколько медных подносов и два кувшина кятской работы. Он даже купил один кувшин, прельстясь насечкой «главное внутри», но, разломав медную посудину, не обнаружил на внутренней стенке никакой надписи. Видимо, мастер просто хотел сказать, что ценность сосуда не в нем самом, а в его содержимом.

Махмуд истратил последние деньги и продал скакуна, добытого в Зузене таким необычным способом, а достоверных сведений о дальнейшем пути соотечественников все не было. Лишь на пятнадцатый день он нашел на толкучке то, что искал.

Бедная женщина продавала потертый коврик. Махмуду показалось, что коврик этот хивинский. Так оно и было. Причудливый узор синих и желтых цветов по краям переходил в вытканную надпись: «Мы идем в Индию».

— В Индию, — огорчился Махмуд. — Легко сказать — в Индию. А как туда добираться?

У него оставалось всего несколько мелких монет.

Махмуд жил в ночлежке при караван-сараях. У хозяина ночлежки, маленького, толстенького, коротконого перса, была странная привычка. Он не собирал плату за ночлег вечером или утром, а выбирал для этого такое время, когда все крепко спали. Обычно это бывало за час до рассвета. Хозяин ходил по рядам и дергал каждого постояльца за ногу. Тот просыпался, давал монету и снова валился спать. Махмуд обычно спал крепко, и хозяину приходилось дергать его изо всей силы, да еще по несколько раз. С первого раза Махмуд только подбирал ноги,

потом сквозь сон посылал хозяину проклятья, а просыпался только тогда, когда хозяин уже окончательно выбивался из сил.

В ту шестнадцатую ночь в Тегеране Махмуд долго не мог заснуть. Думалось о матери, о Таджикихон, о родной Хиве и о далеком пути в неведомую Индию.

Уснул он перед рассветом.

Хозяин собрал деньги со всех постояльцев и долго, но безуспешно дергал Махмуда за ногу. Тогда, чтобы больше не утруждать себя, хозяин применил хитрость. Он сходил за сапожным шилом и пырнул им Махмуда в пятку.

Результат превзошел самые смелые ожидания, и хозяин сразу же пожалел о содеянном. Махмуд мгновенно вскочил, схватил хитрого перса за шиворот, не слушая воплей, вытащил на крыльцо и начал подбрасывать его в воздух, как дома кидал мельничный жернов.

Но у жернова была ручка, за которую Махмуд его ловил, а у хозяина ночлежки были две руки и две ноги. Поэтому Махмуд хватал его то за руку, то за ногу, а однажды, схватив за шелковый халат, чуть не выпустил. Наконец Махмуд устал кидать хозяина, а хозяин устал кричать.

— Ты зачем меня шилом ткнул? — спросил Махмуд у дрожащего от страха перса.

— А ты не просыпаешься.

— А почему ты у меня деньги с вечера не берешь, зачем ночью будишь? Бери с вечера в одно время, и никого будить не придется.

— Какой хитрый! — скривился хозяин, продолжая дрожать. — Нет, уж лучше пусть меня кидают, а деньги я буду собирать, когда все спят. Если в одно время брать, будете позже приходить. Вас много, а я один, всех не упомню. Один уплатит, а другие скажут: «Мы тоже платили». Знаю вас.

Махмуд уже проснулся, и настроение у него стало лучше.

— Вот что, хозяин. На тебе за два дня вперед, и больше меня не буди. А если ты меня не запомнил, я тебя подкину выше крыши, а ловить не стану. Тогда запомнишь.

— Уже запомнил, — заверил перепуганный толстяк. — Тебя я на всю жизнь запомнил.

Хозяин ночлежки действительно запомнил Махмуда. Утром он подошел к нему и предложил отдельную комнату.

— Денег нет, — сказал Махмуд. — Последние истратил. Не знаю даже, как дальше поеду.

— Вах! Такой богатырь, а без денег, — охнул хозяин. Он отозвал Махмуда в сторону. — У нас в Тегеране богатырь всегда может заработать. Пойди в зурхану — место, где борцы собираются, — и борись за деньги. Зрители деньги платят, на каждого борца ставят. Ты многих победишь с твоей силой. Только не борись с рабами шахиншаха. Их никто победить не может. Вах, какие сильные!

После случая в Бухаре Махмуд дал себе слово не бороться с кем попало. Очень уж неприятно смотреть, когда здоровый мужчина плачет и пятерней по лицу слезы размазывает, словно ребенок. Но сейчас случай был особый. Без денег дальше не поедешь.

И Махмуд пошел в зурхану.

Это был приземистый дом с очень низкой дверью. Махмуд чуть не расшиб лоб о притолоку и остановился у порога. Зурхана — зал для борьбы — помещалась почти в подвале. Сверху через отверстие в куполообразном потолке на круглую, похожую на бассейн, глиняную арену падал сноп света, все остальное помещение находилось в полумраке. Махмуд с трудом разглядел глубокие ниши. Там сидели какие-то темные фигуры и шел дым от кальянов. Воздух был спертый, тяжелый. На арене занимались разминкой несколько борцов. Одни, лежа на спине, выжимали тяжелые каменные гири, другие размахивали деревянными дубинками, третьи упражнялись с железным луком. Одетые в короткие и узкие штаны, так что все тело до пояса и ноги были видны, они сосредоточенно повторяли упражнения и бубнили под нос молитвы.

Это было внушительное зрелище. Вдудуались мускулы на руках, на спинах, но больше всего вздувались животы. Борцы, как на подбор, были толстыми. Здоровенный, длиннолицый перс, с красной от хны бородой, раскачивал по арене, давал советы.

- Ты что?— спросил он Махмуда.
- Хочу попробовать,— скромно ответил тот.
- Первый раз в зурхане?
- Да. Я не здешний.

Бородач окинул его оценивающим взглядом:

— Обычай у нас такой: прежде чем новичка на борьбу выпустить, мы должны посмотреть на него, чтобы смеху не получилось. Люди деньги платят не за смех, а за силу. Ну-ка ответь, что является матерью борьбы?

— Захват спины, по-моему,— ответил Махмуд.— Потому что со спины рука достает всюду: до головы, до ног и до пояса.

— Так,— похвалил новичка бородач.— А отчего борец падает на лопатки?

Этот вопрос оказался для Махмуда самым трудным. Многие довелось узнать Махмуду во время жарких схваток, но падать на лопатки не приходилось, и он об этом никогда не задумывался.

— Падает оттого,— улыбаясь, сказал он,— что не умеют бороться.

— А дальше?— одобрительно поторопил бородач.

— Больше причин не знаю,— немного растерянно ответил хорезмиец.

— Плохо! Дальше нужно сказать так: главное происходит по воле бога. Ответь-ка еще: что такое борьба?

Лет с восьми Махмуд начал бороться с ребятами, с семнадцати его признали пахлавом. Он боролся в тридцати городах, и разными способами: на поясах без подножек, на поясах с подножками, без поясов и без подножек и еще по-всякому. Но никогда не задумывался он над тем, что такое борьба.

— Чего молчишь? Не знаешь, что такое борьба, а бороться хочешь. Эх, ты! Знай, что борьба есть искусство похвальное и ценимое царями и правителями. Ну ладно. По выговору ты, видно, чужеземец,— тебе простительно, ибо только перс может быть настоящим борцом-пахлавом. Иди вот в ту нишу, разденься и выходи на арену.

По сравнению с другими борцами Махмуд казался мальчиком, но упражнения он выполнил исправно,

гири поднимал небрежно и легко, упражнение с палками, правда, сначала не ладилось.

Вдруг забил барабан, и борцы ушли с арены. Приехали почетные гости — богатые купцы и начальник канцелярии правителя. Краснобородый объявил о начале борьбы. Барабан вынесли на улицу и колотили в него там, собирая зрителей. Когда в зале собралось человек двести, бородач вышел на середину и объявил, что он вынужден извиниться перед почтенной публикой, ибо в первой паре выступает новичок. Законы гостеприимства незыблемы, и гостю предоставляется право попробовать свои силы. Если это будет смешно, пусть зрители не сильно смеются и будут вежливыми.

Борцы вышли на арену. Соперником Махмуда был молодой, высокий атлет с сильно развитыми ногами. Поединок не начинался. Посетители заключали пари. На Махмуда никто не хотел ставить. Только купцы, заключая пари с начальником канцелярии, поставили на Махмуда. Они добивались снижения налога и решили таким способом незаметно дать взятку начальнику. Ни он, ни купцы не сомневались в поражении новичка.

Борцы сошлись. Голенастый атлет недолго думая полез в наступление. Махмуд отскочил. Противник самодовольно улыбнулся и снова пошел в наступление. И в тот же миг в воздухе мелькнули длинные босые ноги. Махмуд броском через плечо кинул противника и прижал его лопатками к глиняному полу.

Смеха действительно не было. От неожиданности в зале замерли. Только начальник канцелярии крикнул, и купцы испуганно охнули. Они выиграли пари и очень испугались, что начальник канцелярии рассердится.

Бородатый судья на арене был изумлен не меньше зрителей. Однако не победа новичка удивила его. На арене всякое бывает. Судья заметил, как легко и точно новичок выполнил сложный прием.

— Как тебя зовут? — спросил он Махмуда, будто первый раз видел его. — Ты заработал золотой. Будешь бороться еще?

— Попробую, — ответил Махмуд.

— Кто хочет сразиться с нашим гостем Махмудом? — громко спросил судья.

На арену вышел приятель длинноногого.

Судья отвел его в сторону:

— Помни, что сказал отец богатырю Рустаму. Врага нельзя считать ничтожным и беспомощным. Будь осторожен. Он кидает через плечо.

Второго борца Махмуд кинул через бедро.

Купцы в этот раз опять поставили на новичка. Начальник канцелярии опять проиграл.

Других борцов не нужно было предупреждать об осторожности. Они и без того были осторожны, но один за другим уходили с арены с глиной на лопатках. Хорезмиец применял только два приема: бросок через плечо и бедро.

В тот день Махмуд положил восьмерых и заработал ровно половину того, что ему было нужно на дорогу.

Начальник канцелярии проиграл все восемь раз и прямо попросил купцов простить ему долг.

Купцы согласились и, как всегда, остались в барышах. И взятку дали, и ничего не потеряли.

Слух о приезде борца дошел до правителя. Утром следующего дня он созвал к себе приближенных, начальника стражи, невольников-борцов и сильнейших базарных пахлаванов.

— Объявился у нас некий пахлаван Махмуд, — начал правитель. — Это жалкий ремесленник из Хорезма. Ему удалось победить восемь борцов. Что станет теперь со славой нашего города и всей державы?!

Давно уже приближенные не видели своего повелителя таким озабоченным.

— Сегодня, — продолжал повелитель, — сегодня мы соизволим сами посетить зурхану, дабы посмотреть на приезжего. Тот, кто победит Махмуда, получит дорогой халат, зеленые штаны и хну, чтобы красить бороду. Начнут бороться самые слабые, а по мере того как Махмуд будет терять силы, мы будем выпускать сильнейших. — Правитель подошел к огромному одноглазому базарному силачу, владельцу всех крупных харчевен. — Ты будешь бороться предпоследним. Он тебя не поднимет, а ты его подомнешь. А последним будет бороться негр.

Негр Али был куплен у африканского купца за тысячу золотых. Али был строен и по-своему красив. У него было доброе веселое лицо, темная, с синим отливом кожа и белые до голубизны зубы.

— Слава шахиншаху! — ответил негр и подумал, что выпускать на одного борца подряд десять силачей нечестно; подумал и не сказал: раб не должен возражать хозяину.

В этот день зурхана не вместила всех желающих. Лучшие места заняли люди в расшитых золотом одеждах, правитель с приближенными уселись в ковровой нише, и даже на самых дешевых местах сидели люди в шелковых халатах. Простой народ толпился у входа в надежде хотя бы по шуму в зурхане узнать о ходе борьбы.

Краснобородый судья явно волновался. Он ходил по арене, пробовал упругий глиняный пол, подбирал какие-то невидимые соринки. Потом он подошел к Махмуду.

— Заметил ли ты, чужеземец, что пол нашей арены упруг, как тело человека?

— Заметил, — ответил Пахлаван.

— Подумал ли ты, отчего он упруг?

— Нет, — ответил Махмуд. — Мне на него не падать.

— Так знай: под упруг потому, что под слоем глины лежит толстый слой колючки и снопы камыша.

— Спасибо, — сказал Махмуд. — Это хорошо придумано... для тех, кто часто падает.

Краснобородый обиделся. Это было его изобретение, и он им гордился.

Наконец правитель подал знак. Судья вышел на середину арены, поклонился в сторону ниши, где сидела знать, прочитал молитву и возгласил:

— О величайший из великих шахов и падишахов! Сейчас ты увидишь славную битву. На поле сражения храбрецы надевают кольчугу, здесь надо сражаться обнаженными. Наши пахлаваны побеждали всех от Византии до Индии. Этого неизвестного Махмуда они тоже победят. Так хочет аллах всемогущий.

На этот раз Махмуд не скупился на приемы. Вообще, знание приемов — это далеко не все. Нужно уметь их применять, применять четко, быстро, неот-

разимо. Самое главное — не дать противнику произвести захват. Если это ему удалось, начинается изнурительная борьба в стойке. Махмуду предстояло бороться с десятью свежими противниками, поэтому он предпочитал маневрировать.

Правитель приказал слуге следить за песочными часами и докладывать о времени каждой схватки. На первую Махмуд потратил две минуты, на вторую — полторы, на третью — три, на четвертую — две. Двух следующих борцов он положил с первого же захвата.

Сначала людям казалось, что успехи приезжего пахлавана — случайное везение. И неожиданно, где-то между третьей и пятой схваткой, посетители зурханы поняли, что гость — замечательный борец. Не стеснясь присутствием правителя, зрители стали бурно проявлять свой восторг. Борцы терялись, от волнения делали ошибки и налетали на бесчисленные ловушки, расставляемые хладнокровным противником. Махмуд боролся без передышки. Не успевали смолкнуть приветствия в честь очередной победы, как он снова выходил на арену. В его стойке была та кажущаяся небрежность, которая поражает неопытных болельщиков. Он стоял, пригнувшись к полу, руки свисали вниз и еле заметно двигались. Двигалось что-то у плеча, вдоль спины играли мышцы, и непонятно было, что сделает борец в следующее мгновение. Он мог войти в обычную стойку, чтобы ловким зацепом или подсечкой опрокинуть врага. Он мог молниеносно нырнуть вниз и захватить ноги противника. Каждое его движение сулило поражение опытным противникам и таило в себе причины восторга зрителей.

После восьмой победы Махмуда правитель города приказал остановить борьбу и сам спустился на арену.

— Вы позорите нас, — сказал он борцам. — Ни один из вас не показал ничего такого, что вы показывали раньше. Разве вы забыли все, чему учились? Объявляю нашу волю. Знайте: за победу я даю пятьсот золотых.

Одноглазый владелец харчевен был следующим. Он сбросил халат и удивил Махмуда своим огромным обвисшим животом и множеством металлических

и костяных амулетов, четок и медальонов на шее, на руках и даже на животе. Одноглазый начал молиться. При каждом поклоне побрякушки позванивали и постукивали друг о дружку.

Махмуд стоял в противоположном конце арены и ладонью растирал мышцы.

Краснобородый судья, не дожидаясь конца молитвы, нашептывал грузному владельцу харчевен:

— Никто не применил еще кружения. Закрути его, как ты умеешь, и он пропал. Ведь ты можешь. Или, еще лучше, ухвати его за руку и дерни, как я учил. Никто не заметит, а он останется без руки дней на пять. Ухвати с вывертом.

Негр Али слышал шепот судьи, но не мог вмешаться. Он понимал, что, даже в случае если будет применен запрещенный вывих руки, никто не посмеет возразить, а он, раб, и подавно.

Потом судья подошел к Али.

— Слушай,— сказал он.— Ты помнишь, что за победу обещано пятьсот золотых — половину того, что ты сам стоишь.

Наконец ударил барабан, и противники вышли на середину.

Одноглазый был в полтора раза тяжелее Махмуда. Начинать борьбу за победу он решил с запрещенного приема. Перс долго отступал, норовя ухватить Махмуда за руку, и вот, выбрав удобный момент, рванулся вперед. Махмуд разгадал замысел врага. Он отскочил и, пока противник не оправился от промаха, вошел в ближнюю стойку. Так было безопаснее. Тогда перс решил применить кружение. Без особого труда он оторвал Махмуда от земли и закрутился с ним все быстрее и быстрее. Тела атлетов мелькали перед зрителями, а потом слились в один сплошной клубок.

Судьба Махмуда, казалось, была решена. Если кружение удалось, противника можно считать лежащим. Глухо топали ноги по упругому глиняному полу арены, слышалось пыхтение толстяка да побрякивание амулетов. Все остальные звуки замерли.

Вдруг перс выставил ноги, и оба борца рухнули на пол. Мгновение ничего не было видно, и правитель радостно вскрикнул.

Однако радость оказалась преждевременной. Ло-

патки хорезмийца не коснулись пола: он упал лицом вперед и, скользя, словно ящерица, выбрался из-под грузного противника.

Через несколько мгновений борцы вновь оказались в стойке. Опять началась разведка. Они ходили по арене, как тигры. На этот раз развязка наступила еще раньше. Вперед рванулся Махмуд. Теперь зрители увидели излюбленный прием хорезмийца. Это было то же самое кружение. Только Махмуд кружился куда быстрее и дольше. Слуга докладывал правителю:

— Он кружит полминуты! Минуту! Две! Две с половиной!

Наконец Махмуд почувствовал, что еще немного — и он не сможет удержать тяжелого перса. У противника, видимо, кружилась голова, и он потерял волю. Тогда Махмуд вывернул его в воздухе и кинул на арену лопатками вниз. Перс летел, словно камень из пращи. Он упал всей спиной, так что дожимать его не понадобилось. Пролежав неподвижно несколько долгих для зрителей и коротких для Махмуда секунд, борец встал, шатаясь, пересек арену, неуклюже перелез через барьер и, распахав зрителей, направился к выходу.

Зал бесновался. Восторженные крики смешались с воплями, что Махмуд не борец, а шайтан, что это дьявол, что это джинн, ибо человек не может совершить такое.

Правитель Тегерана подозвал Махмуда к себе.

— Скажи, пахлаван, приходилось ли тебе знать поражения?

— Пока нет.

— А приходилось ли тебе встречаться с богатырем Палваном-ата?

— Нет, — ответил Махмуд, — если не считать тех случаев, когда я смотрел в зеркало или в тихую воду колодца.

Правитель соображал не очень быстро. Он был последним, кто понял, что Махмуд и Палван-ата — одно и то же лицо. Но зато, когда понял, побледнел и затрясся в бессильной ярости.

— Ты обманул нас, нечестивец! Ты распустил слухи, что вид твой ужасен, что ты похож на ангела смерти, а ты простой человек... Раб, — крикнул прави-

тель негру Али,— если проиграешь, закую в цепи! Иди.

Пожалуй, из всех сегодняшних противников Али был наиболее достоин сражаться с великим Палваном-ата. Он был силен и ловок, гибок и хитер. Но Махмуд не растратил еще и части своих сил. Напротив, он чувствовал себя прекрасно. В десятой победе сомнения быть не могло. И все же поединок был упорным. Перевес клонился то в одну, то в другую сторону. Негр уже два раза коснулся рукой пола, но и Махмуд однажды с трудом избежал роковой подсечки. Борцы то сплетались в стремительной схватке, то расходились и стояли друг против друга, наклонившись голова к голове. Четыре руки: две черные, как ночь, и две темно-коричневые от загара — висели, словно упругие плети. Но вот Махмуд решительно рванулся вперед, и противник упал на одно колено.

— Раб,— завопил правитель Тегерана,— если ты ляжешь, я убью тебя! Если победишь, дам свободу.

Борцы вновь сошлись в тесную схватку, и Махмуд почувствовал, что тело противника чуть ослабело. Легкая дрожь охватила мышцы.

«Еще бы,— подумал Махмуд,— легко сказать: свобода или гибель».

Да, тело негра заметно ослабело. Крик тирана не придал ему новых сил.

Махмуд увидел мокрое от мгновенно выступившего пота лицо негра и его широко открытые глаза с синеватыми белками. Хорезмиец удобно захватил негра, ногой обвил его ногу, и все поняли, что судьба поединка решена. Зрители замерли.

Еще немного... и вдруг Махмуд повалился на арену, увлекая за собой противника. Хорезмиец упал спиной, и лопатки его плотно прижались к глиняному полу арены.

Никто не ожидал такого исхода. Негр, уже готовый к поражению и смерти, был изумлен больше других. Он медленно поднялся и, увидев лежащего на полу пахлавана, растерянно огляделся.

— Победа!— вопили придворные.

— Слава черномазому!— орали стражники.

— Слава аллаху!— провозгласил краснобородый судья.— Вознесите три молитвы!..

Из Персии через Кандагар лежала дорога в далекую Индию. Махмуд снаряжался в путь, когда во двор караван-сарая вошел негр Али. Он робко подошел к Пахлавану, долго мялся, не находя нужных слов, а потом решился.

— Я знаю, ты нарочно поддался мне, нарочно дал себя побороть.

— Нет,— ответил Махмуд.— У меня подвернулась нога.

— Зачем ты не хочешь сказать мне правду?— умолял Али.— Разве тебе не нужна моя благодарность? Разве ты не хочешь, чтобы я всю жизнь был твоим рабом и следовал за тобою повсюду?

— Нет,— ответил Махмуд.— Я не хочу, чтобы ты оставался рабом. Ты и так был им слишком долго. У меня просто подвернулась нога. Ты получил свободу и деньги, езжай на родину. Там твоя сила пригодится.

— Как хочешь,— грустно сказал Али.— Но я всегда буду помнить тебя и благодарить. Ты дал мне жизнь и подарил свободу.

Махмуд проводил чернокожего друга до западных ворот города и стоял на башне, пока тот не скрылся вдали.

Махмуд направился в Индию. Он выехал через восточные ворота, а ночью, на привале в степи, он расстелил кошму, лег, по привычке заложив руки под голову, смотрел на ясные звезды и долго не мог заснуть. Он думал о том, что иногда поражение приносит больше радости, чем победа, что не только в силе красота человека, и если ты оказал услугу товарищу, то не хвастайся этим и никому не говори, как было дело.

**КОШКА С МЫШЬЮ, КОШКА — ТИГР!
КОШКА С ТИГРОМ, КОШКА — МЫШЬ!**

Отрады сердцу нет иной,
чем ты, земля родная!

Зайн ал-Абидин Магарай

Так, по следам, на многие века оставленным руками мастеров из Хорезма, Махмуд дошел до сказочной страны, что лежит к югу от ослепительных вершин Памира и Гималаев, до страны великих рек и непроходимых джунглей, до страны мирного и трудолюбивого народа.

Он вступил на многострадальную землю Индии.

В те времена Индия состояла из сотен княжеств, мелких и крупных царств.

Два года прошли, прежде чем Махмуд добрался до страны, которой правила молодая и красивая царица Ропой.

Мастера из Хорезма находились здесь. Об этом говорили вещи. Тысячи вещей. В домах висели хивинские ковры, уличные торговцы продавали цветы с подносов работы кятских медников и чеканщиков, женщины шли по воду с кувшинами, будто только вчера изготовленными в мастерских Ургенча.

Два года странствий не прошли для Махмуда даром. Он узнал много новых языков и наречий, научился разбираться в обычаях и нравах. Он не спрашивал, где хорезмийцы, а узнавал только, откуда их изделия. В течение трех дней Махмуд пересек страну царицы Ропой и дошел до столицы, где небольшой слободой на окраине жили его соотечественники.

Они попали сюда много дождей назад. Их обменяли на несколько пограничных селений, из-за которых издавна враждовали два соседних царства. Хо-

резмийцы не были теперь рабами. Они свободно жили на окраине города. Со всей страны ездили в ремесленную слободу за кувшинами, коврами, подносами и прочим товаром. Хорезмийцы пользовались уважением простых людей, но местные богачи относились к ним, как к низшей касте. Поэтому, а возможно, и по другим причинам, они жили обособленно, сохраняли язык и нравы своей родины. Их дети, подрастая, перенимали искусство отцов и матерей, и первые сказки, которые слушали малыши, были рассказами о далекой стране у мутной реки Амударьи.

В первое время жители слободы без конца спрашивали Махмуда о родных местах, о многочисленных родственниках: «Не видал? Не знаешь ли, как живут?» — да слушали затаив дыхание его рассказы.

Махмуд не говорил о цели своего приезда. Зачем зря волновать людей? Он и сам не знал, как ему удастся выполнить клятву и вообще сможет ли он это сделать.

Есть великое человеческое чувство — тоска по родине. Кругом расстилались непроходимые, вечнозеленые леса, на диковинных деревьях росли замечательные плоды, земля давала обильные урожаи хлеба и риса, а хорезмийцы все от мала до велика хотели назад — в пустынную, выжженную солнцем степь, туда, где каждый клочок каменно-твердой земли нужно взрыхлить деревянной сохой и напоить из собственных рук, прежде чем она отдаст человеку скудный урожай.

— Ах, — жаловался седобородый чеканщик своему внуку, рожденному на чужбине, — здесь все не так, как у нас. Здесь даже кошки говорят по-другому. У нас в Хорезме они кричат «мяу-мяу», а здесь «миоу-миоу».

— Похоже немного, — ответил малыш, чтобы успокоить старика.

— Похоже, да не так, — вздохнул дед. — И лесов у нас нет, а степь. Все видно. Видно, как караван идет, как солнце садится.

— А как солнце садится? — спросил внук.

— Тебе не понять. Это надо самому видеть. Вот если попадем обратно в Хорезм.

Возвращение на родину было мечтой каждого, но мечтой несбыточной и потому острой, болезненной и неотвязной. Посудите сами, какой царь отпустит из своего государства таких умелых работников, добытых дорогой ценой.

«Надо потихоньку ковать оружие», — решил про себя Махмуд и пошел подручным к кузнецу.

Ничто так не помогает в беде, как упорный труд. С утра до ночи махал богатырь молотом, ковал мотыги, петли для ворот и дверей, охотничьи ножи и все, что ни заказывали. Кузнец был доволен ловким и сильным молотобойцем. Тайком они стали ковать оружие. Они вставали до зари, трудились до глубокой ночи и очень уставали, но всякий раз, кидая раскаленный меч в бочку с водой для закалки, с радостью слушали шипение. Долго нужно было работать, чтобы всех мужчин-хорезмийцев снабдить оружием. Ведь их было теперь больше тысячи, а кузница в слободе одна.

По ночам из хижины кузнеца раздавалось странное посвистывание: сиу-сиу, сиу-сиу, — мастера точили оружие.

В подземелье под домом накопилось всего тридцать мечей, когда в городе начали распространяться какие-то смутные слухи.

Тревога началась во дворце царицы Ропой, среди придворной знати и богатых купцов, потом она пришла и в кварталы рабочего люда. Слухи были разносчивы, но никто не сомневался, что беда близко. В особняках срочно упаковывали сундуки, а ростовщики ездили по городу, спешно выколачивая долги. Это было самым верным признаком надвигающегося несчастья. Так повелось издавна: если грозило наводнение или война, богатеи собирали свою жатву заранее, чтобы с деньгами укрыться в горах, в далеких пещерах.

На этот раз наводнения быть не могло. Дожди кончились, наступила весна. Деревья и поля зацвели новыми цветами, новая зелень пробивалась сквозь потемневшую старую, новые, свежие запахи побегдали тяжелые туманные ароматы дождливой зимы. Время паводков прошло, и наводнения быть не могло. Значит, война!

Вскоре с окраины царства в столицу прибыли первые беженцы. Они рассказывали страшные новости.

Из-за гор в мирную долину двигалось огромное войско. Это были хашишины. Те самые хашишины, которых на востоке боялись все. Хашишины-убийцы, хашишины-стеклянноглазые, хашишины, не знающие страха.

Махмуд много слышал о хашишинах. Они ходили в бой пьяными от какого-то особого вида гашиша, который собирали для них тысячи рабов.

Однажды во время своих странствий Махмуд видел, как это делается.

На поле среди высокой конопли ходят голые люди, с телом, смазанным розовым маслом. Люди ходят и ходят, а стебли конопли хлещут их по жирной коже, оставляя на ней мелкую ядовитую пыльцу. Потом надсмотрщики деревянными лопаточками скребут их тело — снимают пыльцу вместе с маслом, смешивают буроватую массу с каким-то секретным составом и катают из нее булки и лепешки. Этот товар запаковывают в корзины и куда-то отправляют. Достаточно съесть небольшой кусочек такой лепешки, и человек становится пьяным. Ему начинает казаться, что он самый сильный, исчезает страх, а глаза останавливаются, зрачки расширяются.

Перед боем начальники раздавали воинам по куску лепешки, и тогда ни одно войско не могло противостать опьяненным разбойникам. Недаром говорят: пьяному море по колено.

Дурная слава о хашишинах неслась далеко впереди их войска, и армии многих государств разбегались при их приближении.

Так получилось и при появлении хашишинов на границах царства Ропой. Сторожевые посты погибали в первых же схватках; жители бежали в джунгли.

Гвардия, приученная только к парадам и охране дворца, надела новые мундиры и браво маршировала по столице, но все знали, что гвардейцы вместе со знатью и вельможами скоро уйдут в горы.

Для богатых нашествие хашишинов было менее опасно. Они могли скрыться с деньгами и ценностями, а после того как хашишины, разграбив страну, уйдут дальше или уберутся восвояси, купцы, ростовщики и

землевладельцы вновь вернутся в свои особняки и дворцы, и все пойдет по-старому.

Для бедного люда нашествие врага означало гибель урожая, разграбление хижин, пожары, убийства и угон в рабство. Поэтому на окраинах столицы среди жителей ближних селений зрело твердое решение: защищаться.

Ремесленники и крестьяне послали выборных для переговоров с царицей. Нужно было достать оружие. Хорезмийцы от своей слободы единодушно выбрали Махмуда.

На площади, перед роскошным беломраморным дворцом с золотыми письменами и барельефами священных животных на фронте, толпились слуги, стояли повозки и парчовые паланкины. Гвардейцы, прислонив свои пики к колоннам или бросив их на ступенях, помогали выносить из дворца сундуки, окованные медными полосами, ларцы с драгоценностями и кожаные мешки с деньгами.

Царица Ропой сидела на троне, который еще не успели погрузить, и по ее красивому лицу катились слезы.

Выборные без помех приблизились к ней. Царица обернулась, и все, кроме Махмуда, упали на колени.

— О великая царица!— воскликнул старейшина делегации.— Мы пришли узнать нашу судьбу. Неужели наши владыки покинут нас?

— Не знаю, ничего я не знаю,— всхлипнула царица Ропой.— Мои военачальники говорят, что нужно скрываться. Никто не хочет воевать с хашишинами.

— Почему никто?— вмешался Махмуд.— Мы будем защищать страну.

— Ты чужеземец,— ответила царица.— Ты даже не пал ниц передо мною. Что ты знаешь о хашишинах? Никакая сила не может противостоять этим безумным дикарям.

— Безумию всегда противостоит разум,— возразил Махмуд.— В моей стране есть поговорка: кошка с мышью, кошка — тигр; кошка с тигром, кошка — мышь. Видно, хашишины не встречались еще с тигром, поэтому они смелы. Дайте нам оружие, и мы защитим страну.

В другой раз царица, возможно, и задумалась бы

над такой просьбой, но теперь ей было безразлично.

— Берите,— сказала она и опять залилась слезами.— Берите! Все равно мы не сумеем его вывезти.

— Дайте мне пятьдесят самых трусливых гвардейцев,— неожиданно сказал Махмуд.

— Берите,— согласилась царица.

К вечеру город опустел. На мощеных улицах богачей валялись обрывки веревок и стояла мебель, окна и двери особняков были наглухо заколочены. На окраинах, напротив, жизнь била ключом. Здесь собиралось ополчение.

Махмуд на лошади носился по улицам и распоряжался:

— Пусть женщины и дети временно уйдут в соседнее селение. Главный бой мы дадим в городе... Ополченцам разбиться на сотни и десятки и к утру занять сады и парки, примыкающие к дворцу... Сто самых метких молодых лучников сейчас же пойдут со мной.

В сумерках навстречу хашишинам вышел отряд человек в сто пятьдесят. Впереди шла полусотня гвардейцев в ярких мундирах с разноцветными султанами на шапках. Сзади шагали ремесленники с луками и колчанами стрел.

План Махмуда был не прост. Он основывался на том, что хашишины, опьяненные своим проклятым зельем, страшны в течение трех-четырех часов. После этого наступает тяжелое похмелье. Значит, надо растянуть сражение самое малое на пять-шесть часов.

Хашишины остановились на берегу реки, чтобы утром перейти на другую сторону и двинуться к столице, до которой было полдня пути. Но чуть забрезжил рассвет, как их начальники увидели на противоположном берегу значительное войско. Из чащи джунглей в разных местах то и дело показывались гвардейцы и простые воины. Индийцы, видимо, решили дать бой на берегу.

Хашишинов было тысяч десять, а то и пятнадцать. Они удивились такому обороту дела, но, вполне понятно, не испугались. Им быстро раздали порции зелья, и разбойное войско вступило в реку. Хашишины шли

вброд, распевая песни и нимало не смущаясь тем, что на них летел град стрел. Переступая через трупы, черной лавиной двигались они навстречу смерти.

Махмуд стрелял из лука, стоя по колено в воде, и, когда хашишины подошли совсем близко, дал команду отступать в лес. Ополченцы, не потеряв ни одного человека, мгновенно скрылись в джунглях, а гвардейцы еще раньше, не дожидаясь команды, бросились по дороге к городу.

Первая часть плана удалась.

Хашишины не пошли в джунгли. Они стали преследовать быстроногих трусливых гвардейцев. Тысячи пьяных разбойников гнались по пыльной дороге за полусотней перепуганных воинов царицы.

Солнце померкло от пыли, поднятой погоней, ночные звери просыпались в джунглях от сумасшедших воплей, а по кратчайшей лесной тропе спокойно двигался к городу отряд лучников.

Гвардейцы неслись, словно олени от волков. По дороге они сбрасывали с себя мундиры и золоченые шапки, многие разулись и мчались босиком. Хашишины мчались следом. Они торжествующе улюлюкали, свистели и толкались, глотая пыль.

Солнце поднялось, и жара становилась нестерпимой, когда преследуемые и погоня ворвались в опустевший город. Гвардейцы пронеслись сквозь него, как пушечное ядро, а хашишины бежали далеко не так прытко, как начали гонку. У них начиналось похмелье, и давала себя знать усталость. У тяжелых ворот дворца погоня остановилась. Привычка к грабежу сказалась, да и зачем преследовать противника, если он уже сдал столицу. Хашишины ворвались во дворец и особняки вельмож. Начался грабеж.

Час или два в центре города еще слышались радостные вопли хашишинов да звуки взламываемых дверей и сундуков, а потом разбойников сморил сон.

И тогда над молчащим городом раздался удар гонга. Из канав, из-под мостов, из парков, из подвалов и погребов двинулись к дворцу и особнякам сотни вооруженных людей. Вначале они крались вдоль заборов и осторожно вползали в дома, потом, увидев, что хашишины спят, не выставив караула, ополченцы пошли во весь рост.

Разбойники разместились во дворце. Туда с отборными воинами из хорезмийской слободы ворвался Махмуд. Хашишины спали там, где их свалила усталость и мутное похмелье. Одни добрались до царских покоев и нежились на перинах, другие спали в залах на мраморном холодном полу, третьи заснули в ажурных беседках парка.

Спал и главный военачальник хашишинов — длиннорукий, похожий на обезьяну Али-ага. Это был старый разбойник. Он не ел гашиш, как другие. Он заснул от усталости.

Справедливое возмездие настигало разбойников там, где их застал сон. Кто-то, правда, успевал проснуться, но тут же падал под сокрушительными ударами сабель и кинжалов.

Али-ага с десятком телохранителей забрался на галерею под купол танцевального зала царицы и отчаянно сопротивлялся. Галерея была узка, и каждый, кто пытался проникнуть под купол, падал, сраженный кривыми ножами хашишинов.

— Пустите, — крикнул Махмуд, — не подходите к ним! Я сам.

Он рванулся вверх по лестнице, но через мгновение скатился вниз: из его левого плеча текла кровь, медленно окрашивая одежду.

— Ах так... — прошептал он.

Вдоль стен зала были расставлены медные, бронзовые и гранитные боги.

— Ах так... — повторил Махмуд и стал швырять богов на галерею. — Должны же боги на что-то согнуться, — приговаривал он, с силой кидая тяжелых идолов на верхнюю площадку галереи.

Сначала он кидал тех, что полегче, потом стал швырять без разбору. Хашишины увертывались и прятались за выступы. Казалось, что конца не будет этому занятию, как вдруг что-то затрещало и галерея рухнула под тяжестью двух десятков увесистых индийских богов.

...Луна в ту ночь вышла из-за гор тоненькая и прозрачная. Она вышла поздно, когда бой в городе уже затих.

Царица Ропой с придворными вернулась через несколько дней. На главной площади перед дворцом

чувствовали героев гвардейцев, удравших с поля боя. В толпе ремесленников стоял Махмуд и улыбался тому, с какой важностью получали награды те, кто совсем недавно сверкал пятками на пыльной дороге.

— А где этот, который... — спросила царица, — ну, который... Такой... Я с ним говорила в тот страшный день.

Придворные засуетились. Они не запомнили человека, разговаривавшего с царицей в день бегства. Только гвардейцы знали Махмуда в лицо. Гвардейский офицер, командовавший полусотней, указал царице на Махмуда.

— Подойди сюда! — приказала царица. — Ты сражался, как тигр, и заслужил нашу милость. Хочешь, я присвою тебе титул царского тигра?

— Я не тигр, — засмеялся Махмуд. — Я скорняк. Я шубы шью.

— Мне не известно, что такое скорняк и что такое эти шубы, — сказала царица Ропой. — Но я желаю наградить тебя. Хочешь, я сделаю тебя начальником всей моей доблестной гвардии или губернатором любой из провинций. Проси! Ни в чем тебе не будет отказа.

— Если вы действительно хотите исполнить мою просьбу, — сказал Махмуд, — то отпустите моих соотечественников-хорезмийцев на родину.

Царица задумалась.

— Отпустите и снабдите всем необходимым на дорогу, — более уверенно повторил Махмуд. — Отпустите, а то сами уйдут: ведь теперь у них в руках оружие и их поддержат друзья — ваши подданные. Отпустите, ваше величество.

— Пусть будет по-твоему, — помедлив, согласилась царица Ропой, — пусть будет так. Но у меня во дворце разрушения. Говорят, что в этом виноват ты: пусть твои соотечественники уходят, а ты останешься здесь до тех пор, пока не починешь галерею и все остальное.

Царица рассердилась, подобрала свои парчовые одежды и прошла в дворцовый парк.

По аллеям, распуская свои золотистые с бирюзой хвосты, расхаживали гордые своим оперением павлины. Цвели гигантские алые и оранжевые цветы. Стек-

лянные струи фонтанов вдребезги разбивались о холодный мрамор.

. Царица была огорчена.

— Ах, как здесь неуютно, — сказала она придворному садовнику. — Надо сделать так, чтобы ничто не напоминало мне об этих хашишинах и ремесленниках.

...Вскоре весь город провожал в дальний путь караван хорезмийцев. А Махмуд должен был остаться. Конечно, он мог попросить своих друзей подождать его, но отсрочить отъезд боялись все. Ведь капризная царица в любой момент могла отменить свое решение.

— Я догоню вас, — пообещал Махмуд.

Много пришлось Махмуду поработать, чтобы дворец вновь обрел свой прежний вид. Вместе с лучшими мастерами он тесал мрамор, резал и шлифовал слоновую кость, заново отстроил галерею в танцевальном зале. Он сделал бы это много быстрее, если бы царица не отвлекала его беседами. Она задерживала Махмуда под разными предлогами. Сила, знания и ум хивинского богатыря могли очень пригодиться ей и в защите царства от новых нашествий, и в управлении страной. Она сулила Махмуду самые большие должности в государстве, деньги, славу и почет, предлагала дворцы и поместья. Она даже обещала выйти за него замуж и сделать скорняка царем. А Махмуд в ответ на заманчивые предложения рассказывал ей, как выделывают меха, шьют шубы и для чего они нужны в стране, где зимой холодно и выпадает снег. Но ни единым словом не обмолвился он о дорогих ему людях, что ждут его возвращения. Зачем раскрывать сердце перед царицей, которая все равно не поймет простых человеческих чувств!

Наконец своенравная царица убедилась, что удержать Махмуда не удастся, и отпустила его.

...Наступил рамазан.

И вот

Опустел надолго живот...

О к т а й Р и ф а т,
современный турецкий поэт,

Махмуд еще бродил по Индии, когда в Хиве стали распространяться слухи, что он вернулся.

Получилось это потому, что хивинцам очень не хватало веселого шубника. Чем дольше он отсутствовал, тем чаще его вспоминали. Шейх Сеид-Алаветдин строго-настрого запретил произносить имя врага веры. За это казнили, налагали штрафы, выгоняли из Хивы. Но как только произносить имя Махмуда стало запрещено, о нем начали говорить особенно часто. Правда, самого имени не произносили, а только намекали.

— Да, был смелый человек в Хиве! — с тоской восклицали одни.

— Помните, что он сказал, когда отказался шить шубу нашему шейху? — спрашивали другие.

— А про мост Сират?

— А про лекаря?

И люди хохотали.

Шейх становился все злее и злее. Доносчики получили приказ ежедневно сообщать все, что они слышат о Махмуде; двух с позором уволили за нерадивость, а одного даже наказали плетью. Шейх требовал обширных доносов. Между тем доносчики и согляда-тай работали действительно плохо. В Хиве все их знали и сторонились. Только изредка удавалось узнать какую-нибудь из ходящих в народе присказок Махмуда, но они думали, что это очень новые и ценные сведения, и спешили во дворец. Иногда, чтобы выслужаться, озлобленные доносчики сами придумывали

шейху оскорбительные клички и сваливали это на Махмуда.

Мулла Мухтар каждые пять дней доносил шейху о том, что говорят в народе. Эти донесения содержали такое количество оскорблений, открытых насмешек и скрытых издевательств, что Сеид-Алаветдин надолго терял сон и аппетит. Он даже решил было не слушать муллу, но этого он никак не мог сделать. Шейх слишком привык к доносам. Они больше не доставляли ему удовольствия, но отвыкнуть ему просто не удавалось.

Недаром говорят: «Привычка — вторая натура».

Однажды шейх решил задобрить хивинский люд. В дни больших праздников он стал раздавать милостыню на базаре, а чтобы не обеднеть от милостыни, увеличил налог за посещение мечети. Милостыню он раздавал раз в месяц медными деньгами, а налог собирал раз в неделю — серебряными.

Простые люди от такой милостыни становились все беднее и беднее, и кто-то вспомнил слова Махмуда-Пахлавана о том, что правитель, наполняющий свою казну имуществом подданных, похож на глупца, который мажет крышу своего дома глиной, взятой из-под фундамента.

Чтобы пресечь оскорбления священной персоны шейха, во всех мечетях по пять раз в день повторялись слова о том, что шейх святой, добрый и мудрый, напоминалось и о его паломничестве в Мекку. Но и это не помогало. Тогда Сеид-Алаветдин обратился к наместнику, дабы тот разрешил ему заблаговременно поставить себе памятник — величественную гробницу. По мнению шейха, памятник, поставленный при жизни, должен внушать уважение.

На западной стене гробницы Сеид-Алаветдин приказал сделать надпись, свидетельствующую о его святости: «Некоторое время шейх жил в Мекке и наконец направился сюда».

Надпись сделали, но шейх вскоре очень пожалел об этом.

Соглядатаи стали доносить о каких-то оскорбительных для шейха стихах. Произнести эти стихи никто не решался.

Среди хивинцев они распространялись по секрету и скоро стали известны всем. Даже думать об этих сти-

хах было строго-настрого запрещено, именно поэтому каждый повторял их про себя и читал другим только на ухо.

Говорить что-то «по секрету» — верный способ сделать тайну доступной всем.

Можно выйти на улицу и во всю глотку кричать, что такой-то подлец и дурак, — люди не обратят на вас внимания, но скажите то же самое на ухо, попросите никому не передавать, и вы увидите, что получится.

Так получилось и в этот раз. Вскоре все, кроме самого шейха, знали таинственные стихи.

Сеид-Алаветдин утешался лишь в те утренние часы, когда, прильнув к щели в воротах дворца, любовался надписью: «Некоторое время шейх жил в Мекке и наконец направился сюда».

Но однажды утром кто-то дерзкий лишил шейха последнего утешения. Под изящной надписью появились стихи Махмуда-Пахлавана, грубо выведенные толстой кистью, которую, не жалея, макали в колесную мазь:

Пускай не говорят, что в Мекку путь святой.
Шейх наш драконом стал, а раньше был змеей.

Это были стихи Махмуда, только вместо слова «мулла» во второй строчке смельчак написал слово «шейх». Но Сеид-Алаветдин понял это по-своему. Он решил, что Махмуд скрывается в Хиве или где-то поблизости.

Начались поиски. Стражники хватали хивинцев по первому доносу.

Арестованных пытали в подземельях, били плетями, вырывали ногти, жгли каленым железом. Но никакие пытки не помогали. Никто не признавался в том, что видел Махмуда. Ведь его действительно не было в Хиве.

За домом шубника стали неусыпно следить, высматривали, кто там бывает и куда ходит мать Махмуда. Однако и это не дало никаких результатов. Никто, кроме базарного мальчишки Юсупа, носившего матери Махмуда еду, и сборщика податей, уносившего из дома вещи, не заходил в дом.

Главный доносчик — мулла Мухтар решил, что все зло в том, что люди помнят Махмуда.

— Нужно искоренить память о враге веры, — сказал он шейху. — Мать шубника верует в аллаха. Мы убедим ее, что во искупление грехов сына она должна уморить себя голодным постом, а после этого снесем проклятый дом и насадим на этом месте джугару.

Мулла Мухтар давно мечтал присоединить к своему саду участок земли, принадлежащий Махмуду.

Наступало время великого поста — ураза. В это время в течение целого месяца от утренней зари до захода солнца мусульманам запрещается есть и пить. Вместо этого верующий должен повторять молитву: «Я голодаю в месяц рамазана от зари и до зари ради аллаха всевышнего». Только ночью правоверный может поесть и напиться.

Мулла Мухтар зачастил в дом Махмуда. Он уговаривал старую женщину, обещал райское блаженство на небе для нее и прощение грехов ее сыну, если она во время поста вовсе откажется от еды и будет только пить.

— Лучше даже и не пить, но аллах милостив и примет от тебя половину жертвы, — говорил мулла.

Коварный замысел муллы Мухтара удался. Наступил пост, и старая, слабая женщина вовсе отказалась от еды. Юсуп носил ей лепешки, фрукты и плов, но она ничего не брала в рот и старалась даже не пить.

— Я не для себя стараюсь, — говорила она Юсупу. — Аллах видит: не для себя, а для Махмуда. Ты не плачь, глупый. Чего ты плачешь?

— Помрете же, — всхлипывал Юсуп. — У меня матери нет, привык я к вам...

— Ничего, — утешала его набожная женщина. — Я помру и попаду в рай, а Махмуду на земле будет хорошо.

— Не будет хорошо, — плакал мальчик. — Мне плохо без матери. Почему же ему хорошо будет?

Однажды вечером, когда Юсуп принес свежие пирожки с мясом, которые ему сунула Таджихон, он увидел, что мать шубника умерла. Старушка лежала под деревом, маленькая и сухонькая, и лицо ее было счастливым-счастливым, каким Юсуп его никогда не

видел. Видно, умирая, она думала, что искупила вину сына перед милостивым аллахом.

«Может быть, так оно и есть», — подумал Юсуп, но наутро во время молитвы в мечети мулла Мухтар сказал, что аллах покарал мать грешника и она попадет в ад.

«Мулла ближе знает аллаха, — решил Юсуп. — Зря уморила себя голодом эта хорошая женщина».

Дом и мастерскую, где жил Махмуд, забрал мулла Мухтар, имя шубника вновь было предано проклятию в семи мечетях, но память о нем все-таки никак не умирала.

Доносчики рыскали по базарам и мастерским, по дворам и караван-сараям, муллы и ишаны проклинали Махмуда с утра до вечера, стражники хватали каждого, кто подозрительно смеялся или даже улыбался неизвестно почему. Впрочем, хватали не только тех, кто смеялся. Хмурившимся тоже было плохо.

Юсупу было лучше, чем взрослым. У него было больше дел и меньше забот. Дела были такие: с утра он отправлялся на базар, помогал сгружать товары и бегал куда пошлют. В полуденную жару он набирал в бурдюк студеную воду или холодный чай и продавал.

Тетка, у которой жил Юсуп, часто уезжала в гости к дальним родственникам, и вечер он привык проводить в доме Насыра-ата. Он помогал по хозяйству, слушал, что говорят старшие, и разглядывал огромный жернов, который Насыр-ата перевернул так, чтобы совсем не было видно надписи, оставленной Махмудом.

Насыр-ата был не из тех хивинцев, кто смеялся в лицо сыщикам и муллам. Он хмурился и за это тоже попал на заметку.

Старая народная пословица говорит: «Беда без муллы и в ворота не войдет, а с муллой в калитку проскочит».

Беда пришла вместе с редкозубым, хитроглазым муллой Мухтаром.

Мулла Мухтар разбогател и решил обзавестись четвертой женой. Неведомо кто донес ему о красоте Таджихон, и он явился свататься. Вернее, не свататься, а торговаться. Ведь в те времена невесту можно было купить за деньги или обменять на коров или на баранов.

Насыр-ата долго уклонялся от прямого ответа, но мулла понимал это как уловку, чтобы повысить цену. Он обещал десять халатов и две коровы, потом пятнадцать халатов и три коровы, а когда старый скорняк отказался продать дочь за семнадцать халатов, трех коров и одну лошадь, мулла Мухтар понял, что его здесь не любят.

— Ах так! — пригрозил он. — Пожалеешь! Я сам сдеру с тебя три шкуры и еще пять шкур, ибо ты безбожник и не хочешь уважать меня. Я разорю тебя, а дочь продам наместнику или сделаю своей рабыней.

Мулла Мухтар пыхтя поднялся с подушек и вышел во двор. Он внимательно оглядел дом, пересчитал деревья в садике и вдруг увидел жернов.

— Интересно, — спросил он, — зачем скорняку жернов? Уж очень он похож на игрушку, которой забавлялся Махмуд. Не он ли оставил его здесь, а?

Мухтар направился к выходу в тот самый момент, когда в калитку влетел Юсуп. Мальчик поклонился мулле, будто собирался боднуть его в живот, и краем глаза увидел злобную усмешку на перекошенном лице главного доносчика.

Вечер в доме скорняка был похож на ночь. Угрозы всесильного и хитрого Мухтара сулили семье Насыр-ата многие несчастья. Это стало ясно даже беззаботному Юсупу.

За весь вечер старик сказал только одну фразу, да и ту не договорил до конца:

— Эх, если бы Махмуд вернулся...

На следующий день мысли Юсупа крутились вокруг этих слов.

«Эх, если бы вернулся дядя Махмуд!» — думал он. Юсуп не знал, как это может случиться. Вот если бы найти волшебника, который сделал бы голос Юсупа таким громким, чтобы дядя Махмуд в дальних странах услышал его... Или чтобы волшебник слетал к дяде Махмуду и передал письмо. Юсуп мог бы все написать: и про смерть матери, и про притеснения бедняков, и про угрозы муллы Мухтара. Правда, писал он с ошибками, но дядя Махмуд, наверное, не обиделся бы.

Но в Хиве не было таких волшебников, чтобы помочь Юсупу.

Не было тогда ни радио, ни телефона, ни телеграфа. Даже обыкновенной почты не было в Хиве. Поэтому письмо писать не имело никакого смысла,

... И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.¹

Омар Хайям

Махмуд спешил на родину, но по дороге ему не раз приходилось задерживаться и сворачивать в сторону. Он освободил население целой области от налога, который собирал обманщик-мулла, обосновавшийся вблизи поющих пещер Памира. Он провел неделю в городе Мерв, чтобы переписать стихи замечательного поэта Омара Хайяма. В долине реки Вахш он убил тигра-людоеда, уносившего в камыши неосторожных селян и их детей. Много можно рассказать и о других приключениях, но это была бы отдельная книга.

Так или иначе, но Махмуд отстал от своих соотечественников. Он задержался на много лишних дней и сделал много лишних дорог, потому что настоящий человек, как бы он ни был занят своими делами и куда бы ни торопился, никогда не останется равнодушным и не пройдет мимо человеческого горя.

На полдороге к дому стало ясно: хорезмийцев не догнать. Они намного опередили Махмуда, и он пожалел, что не передал с ними весточку для матери.

Предстояло пересечь последнюю пустыню, и он был рад, когда нашел попутчиков — караван, идущий из Самарканда в Золотую Орду.

Караван был большой, но разноплеменные караванщики, люди бывалые, легко подружились.

Есть обычай не спрашивать человека, приставшего в пути, кто он и откуда. Дорога длинная. Можно и

¹ М и х р а б — ниша в одной из стен мечети, показывающая, в какую сторону верующие должны кланяться.

без расспросов человека понять. Так оно приличнее, да и ошибки не будет. Ведь главное не то, что люди говорят о себе.

Махмуд-Пахлаван был хорошим товарищем в длинной дороге. Человек ученый, на многих наречиях говорит, интересные истории рассказывает, а в обхождении простой, незаносчивый. Если нужно костер развести, первый за саксаулом и сухой колючкой идет, больше всех притащит и огонь разведет мигом.

У караванщика поговорка сложилась: «Богатого купца узнаешь по товару, а хорошего человека по его делам».

Только три человека во всем караване говорили о себе. Их никто не спрашивает, а они рассказывают. Ну, раз говорят — не слушать невежливо. Слушают караванщики, но не очень-то верят. Каждый из них про себя говорит, что он самый умный, самый нужный.

«Что же,— думают караванщики,— ум — дело глубокое, может, и не сразу его заметишь, а насчет нужности так, видно, врут».

Ненужные люди. Караван на ночлег становится, а они споры между собой разводят. Люди кошмы расстилают, а они всё спорят. Дело к ночи, путники устали, а они шумят, спать не дают. Станные люди, и совсем по обличью разные. Один — длинный, худой, волосы и борода рыжие, другой — маленький, чернявый, с длинным носом, а третий — пузатый, краснощекий, с редкой бородкой.

Однажды на рассвете, когда все спали, эти трое опять заспорили, такой шум подняли, что староста каравана не выдержал. Подошел он к ним и спросил:

— О чем вы спорите, почтенные путники? Почему вы всю дорогу людям отдыхать не даете? Слышим мы ваши разговоры, непонятные они нам. Расскажите, если не тайна это.

— Наконец-то! — радостно закричал Рыжий. — Наконец-то господь бог пробудил в этих невеждах жажду истины небесной. Дело в том, — гордо сказал он, — что я слуга настоящего бога — Христа и его наместника на земле — папы римского. Я утверждаю, что бог един и поклоняюсь матери божией!

Староста подумал, что матерей уважать хорошо, но зачем в такую рань на всю степь кричать про какого-

то наместника. Если он слуга наместника, то наместник, наверное, за шум и прогнал его в пустыню.

Не успел староста каравана разобраться в этих словах, как Пузатый тонким голосом закричал:

— Врет он все и про папу, и про мать. Нет бога, кроме аллаха. Я это точно знаю. Я ученый эфенди. Я прочитал книг больше, чем они. Моя вера единственная. Этот про мать божью лопочет, а какая у бога может быть мать? Бог не человек!— закричал он еще громче.— У него матери быть не может!

Что бог не человек.— это староста каравана понял уже давно, когда был еще простым погонщиком. Заблудился он однажды в пустыне, просил бога колодец ему указать. Плакал, пока слезы были, просил так, что всякий человек сжалился бы. А бог не сжалился. Так и умер бы он в песках от жажды, если бы добрые люди, что гнали баранов через степь, не спасли. Кто знает, может быть, и склонился бы староста на сторону Пузатого, но тот сказал:

— Мой бог для степных людей самый добрый. Его пророк Мухаммед всю жизнь в пустынях провел.

«Ну, уж это он врет»,— подумал староста и вспомнил, как умирал в степи, как умолял аллаха. Только он хотел рассказать об этом Толстопузому, как вмешался Носатый:

— Я слуга пресветлого Будды, я верю только Гаутаме-Сиддхартхе. Он говорит, что смысл жизни в отказе от нее, что блаженны только монахи, которые ничего не делают, а все прочие должны нас кормить.

— Насчет корма он правильно говорит,— подтвердил Рыжий и Пузатый.— А остальное все врет.

Буддийский монах закатил глаза и принялся ругать и обзывать лжецами и жуликами двух других божьих слуг. И такой все трое подняли крик, что весь караван собрался вокруг них.

Скоро уже вообще ничего нельзя было понять. Верблюды лениво смотрели на спорщиков и распускали слюни от удивления; когда крики монахов слились в невообразимый вой, заревели все ишаки.

Староста стоял в середине толпы и задумчиво чесал затылок. Вдруг кто-то тронул его за рукав.

— Солнце уже высоко,— сказал Махмуд-Пахлаван.— Пора двигаться дальше. Они спорят уже давно

и будут спорить до тех пор, пока находятся глупцы, которые им верят.

— Поехали,— сказал староста.

Караван погрузился и двинулся в путь.

Мерно шагают верблюды, позвякивают колокольчики, семянят ушастые ишаки, светит жаркое солнце; идет и идет караван. А сзади все доносятся крики трех спорщиков, оставшихся у колодца. Далеко ушел караван, и с высокого холма в долине у колодца караванщики увидели трех монахов, машущих руками и доказывающих что-то друг другу.

— Скажи, о мудрый путник,— спросил староста Махмуда,— кто эти три странных человека?

— Мошенники!— ответил Махмуд.— Разве ты не слышал, как они врут?

— Конечно,— согласился староста.— Все они говорят, что они чьи-то слуги. Но какой хозяин станет держать таких бездельников и крикунов.

— Кто знает,— задумчиво сказал Махмуд.— Может быть, он такой же, как и его слуги, а скорее всего, ты прав: нет у них никакого хозяина.

Чем ближе подъезжал Махмуд к родному Хорезму, тем больше волновался. Чужая ли сердце беду, или, вдыхая знакомые запахи степей, он сильнее тосковал по родине, но ему все казалось, что верблюды идут лениво, что привалы слишком длинные, а солнце слишком медленно движется по небосводу.

Когда до Хивы оставалось три дневных перехода, Махмуд не выдержал, распрощался с караванщиками и один уехал вперед. В первом же кочевье он обменял медлительного верблюда на быстрого туркменского коня и поскакал по степи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Для того, кто выполнил обет,
Никаких преград на свете нет!

Из стихов неизвестного поэта

Обычно караваны приходят в город вечером, когда солнце на западе уже окунулось в песок, а огромный караван с хорезмийцами пришел в Хиву за час до рассвета. Видно, люди отказались от последней ночевки и двигались без передышки с прошлого утра.

Никто не встречал усталых путников. Сонные стражники у городских ворот подняли тревогу, а пока начальники разбирались что к чему, вся Хива уже вышла на крепостной вал и улицы были запружены толпами. Из уст в уста передавалась невероятная, радостная весть: вернулись те, кто больше сорока лет назад были захвачены монголами и проданы в дальние страны. Вернулись те, кого ждали и на чье возвращение уповали бесчисленные родственники и друзья, те, кого ждали долго и почти безнадежно.

Правда, не все вернулись после сорока лет. Многие погибли во время странствий или умерли на чужбине от старости и болезней. Зато вернулись их дети и внуки, так похожие на родителей, что хивинцы сразу узнавали своих.

В этот день ни в одном саду не оказалось ни одного цветка, потому что еще утром их раздарили вернувшимся мастерам.

В этот день над Хивой стояло ароматное облако, потому что в каждом доме готовили угощение.

В этот день в Хиве навсегда был нарушен запрет произносить имя Махмуда-Пахлавана, и, несмотря на то, что Махмуд не пришел с караваном, все говорили только о нем, о его подвигах, о его благородстве, уме и храбрости.

В этот день ни один мулла не решался проклинать Махмуда, потому что за оскорбление шубника толпа горожан поколотила палками десяток самых наглых соглядатаев и содрала чалму с одного упрямого ишана.

Шейх Сеид-Алаветдин и мулла Мухтар ничего не могли с этим поделать. Проклятый шубник совершил подвиг, с лихвой искупающий прегрешения перед аллахом.

«Хорошо еще, что Махмуд не приехал с ними», — утешали себя шейх Сеид-Алаветдин и мулла Мухтар.

Судя по рассказам вернувшихся, Махмуд задерживался надолго. Одни говорили, что он должен отстроить разрушенный дворец, другие уверяли, что царица сделает его своим визирем, а третьи туманно намекали на своекравие царицы Ропой и считали, что Махмуд может и вовсе стать царем.

Это успокаивало муллу Мухтара. Он выведал, что Таджикион любит Махмуда, и сумел дознаться о том, что за жернов лежит во дворе Насыра-ата. Он прочел надпись, высеченную на камне, и пригрозил, что накажет всю семью за дружбу с вероотступником. За неделю до возвращения мастеров мулла обложил штрафом семью, успел обобрать скорняка и заполучить у него расписку на десять тысяч золотых. Мулла знал, что в доме скорняка не наскрести и нескольких серебряных монет, — он хотел вынудить скорняка отдать за долги дочь. Слухи о том, что Махмуд может жениться на царице Ропой, тоже были ему на руку. Как только закончились празднества по случаю встречи мастеров и те из них, что были родом из других городов Хорезма, разъехались, коварный мулла вновь пришел к старому скорняку. Он по-хозяйски уселся за скудным достарханом и объявил:

— Мы простили Махмуда, но твой долг все равно остается, ибо ты дружил с шубником, когда он еще не был прощен. Не упрямясь! Отдай мне твою дочь: ведь Махмуд все равно не вернется.

Как ни старался несчастный отец уговорить муллу отказаться от женитьбы, как ни просил пощадить единственную дочь, тот был неумолим.

— Она сейчас очень больна, — сказал старик. —

Неужели вы возьмете в дом больную? Разве вы сами не понимаете, как это опасно!

— Больна? — встревожился мулла. — Это плохо. Но я хочу сам убедиться в истинности твоих слов. Покажи мне ее.

Таджихон действительно очень страдала, но не от болезни, а от огорчения, что ее любимый Махмуд не вернулся, от слухов о его возможной женитьбе на царице и особенно от страха, что она сама может стать женой муллы Мухтара.

Мухтар поверил в болезнь. Девушка сильно исхудала, выглядела совсем слабой, под заплаканными глазами появились черные полукружья.

— Пусть она выздоровеет. Больная в моем доме не нужна. Даю последнюю отсрочку. Но, — пригрозил мулла, — если не выздоровеет, все равно заберу и подарю наместнику.

Сначала мулла раз в неделю посылал к скорняку спрашивать о здоровье дочери. Потом он узнавал два раза в неделю, а через месяц явился со стражей, предъявил расписку и потребовал выдачи девушки. Напрасно пытались смягчить сердце муллы. Не помогли ни слезы, ни мольбы. Таджихон связали, кинули, как мешок, на арбу и повезли. По кривой улочке следом за арбой, рыдая, бежали родственники и друзья, а сам Насыр-ата распластался посреди двора. На прощание стражник полоснул его камчой по лицу, и старик потерял сознание.

На другой день мулла Мухтар во всеуслышание заявил в Джума-мечети, что женится на Таджихон. Молящиеся встретили это сообщение неодобрительным гулом.

Кто-то осмелился выкрикнуть слова про воровство, про то, что нехорошо отнимать дочь у старика и невесту у героя, когда тот в отсутствии. Вести спор в мечети — богохульство, мулла Мухтар попробовал прикрикнуть.

Лучше бы он не делал этого. Люди стали еще больше шуметь и выкрикивать обидные слова. Поднялось такое, чего еще не видели и не слышали стены старинной мечети. Молящиеся перестали бить поклоны, в отдельных местах возникали споры, и никто не заметил, что какой-то человек в выгоревшем на солнце

халате и запыленных сапогах протиснулся к мимбару¹.

Час назад Махмуд выпростал ногу из-под загнанной до смерти лошади и пешком вошел в городские ворота. Теперь Махмуд был самым несчастным человеком во всей Хиве. Первые же минуты в родном городе вместо радостных встреч принесли ему много горя. Его встретил заколоченный, опустевший дом с развалившимся от дождей дувалом, соседи рассказали о смерти матери, а в доме Насыра он узнал остальное.

Махмуд вошел в мечеть через дверь, выходящую в сторону его шубошвейной мастерской, и, тяжело приклонившись к резной деревянной колонне, вслушивался в шум голосов.

Мулла Мухтар уже пожалел о своих словах. Не стоило говорить в мечети о женитьбе. Теперь же приходилось изворачиваться, хитрить.

— О мусульмане! — закатив глаза, взывал он к негодующей толпе. — О мусульмане! Зачем такой шум? Вы знаете древний обычай — обычай, установленный аллахом. Я не украл себе невесту, а как благочестивый человек купил, вернее, взял за долги...

— Гнусный пес! — выдохнул Махмуд. Ему казалось, что он сказал это тихо, но хриплый от волнения голос слышали все; все стихло вокруг. — Гнусный пес! — гневным, сразу окрепшим голосом повторил Махмуд.

Все повернулись туда, где стоял человек в пыльной одежде путешественника. Мулла Мухтар вздрогнул, лицо его стало землистым, узкие щелки глаз стали тоньше лезвия бритвы. Тишина в мечети была гнетущей и грозной. Мулла по-своему понял ее значение.

— Вот он, осквернитель святой мечети! Вот он, вероотступник! — завопил мулла. — Вот тот, за кого вы по темноте хотели заступиться. Смотрите на нечестивца, оскорбителя веры. Мы простили его, а он опять богохульствует, нарушает законы аллаха всемогущего...

Ему не дали закончить. В мечети поднялось невообразимое волнение.

¹ Мимбар — возвышение в мечети, с которого читают проповеди.

— Слава Махмуду-Пахлавану, освободившему наших братьев!

— Слава Махмуду — отцу всех богатырей мира!

Восторженные крики сотрясали своды мечети. Только кучка богачей, собравшись с духом, решилась кричать другое:

— Пусть скажет шейх Сеид-Алаветдин!

Шейх стоял на коленях в высокой нише, где было его место. Он встал, и все увидели его перекошенное от страха лицо. Но много еще было темных людей, верящих в божью справедливость, и, когда Сеид-Алаветдин шагнул вперед и воздел к небу трясущиеся кривые руки, в мечети стало тише.

— Посмотрите на небо, — прогнусавил шейх. — Посмотрите на небо, о правоверные! Там царство аллаха милостивого, и все в его воле. Он подарил нам семь небес и пустил по ним солнце и звезды. Он насадил леса и провел реки, он дает нам все блага земные, и по его законам мы должны жить. Посмотрите на небо, о правоверные!

— Посмотрите на землю, друзья! — прервал его Махмуд. — При чем здесь аллах? Разве не мы копаем арыки и каналы, возводим плотины и даем воду вспаханым нами полям, разве не мы сажаем сады и строим дома?! Разве не мы, простые люди, построили эту мечеть, разве аллах украсил резьбой эти древние колонны?!

— Посмотрите на небо! — вновь прогнусавил шейх Сеид-Алаветдин. — Оттуда высшая справедливость...

— Посмотрите на землю! — снова загремел голос Махмуда. — Посмотрите на землю — где справедливость? Разве нас не обирают богачи и муллы, разве не наш хлеб едят эти жирные кабаны?! Разве вам неведомо, как мулла Мухтар уморил голодом мою несчастную мать! Кто не знает, как этот старый шакал украл мою невесту и избил ее отца, доброго скорняка Насыра? Где справедливость, если мы трудимся и голодаем, а богачи и муллы бездельничают и обжираются? Где божья справедливость, спрашиваю я?

— Нет справедливости! — глухо ответила толпа, и каждый стал говорить о своих несчастьях и обидах.

Людей в мечети было много, и все хотели поведать Махмуду о притеснениях, чинимых шейхом и мулла-

ми. Только богатые купцы и баи кучкой сбились у мимбара и помалкивали. Их-то аллах защищал хорошо.

В сутолоке и неразберихе шейх с муллой Мухтаром незаметно выбрались через боковой вход, а толпа все гудела и негодовала.

Наконец кто-то хватился виновников несчастий, и возмущенная толпа ринулась вдогонку. По дороге ко дворцу шейха толпа выросла в несколько раз.

Портные выскакивали из лавок с медными аршинами, повара хватали тяжелые половники, земледельцы бежали с кетменями, остальные вооружились кольями и камнями. В одно мгновение была сметена дворцовая стража, но дворец шейха оказался пуст, как тыква, из которой выскребли мякоть. Сеид-Алаветдин напялил на себя женское платье, закрыл лицо, чачваном и поспешил удрать. Только мулла Мухтар замешкался в кладовой. Его застали в тот самый момент, когда он, набив за пазуху скопленные деньги, пытался ускользнуть в окно. Мулла пятился задом, ногами вперед, и его живот застрял в узкой раме, ноги свесились, а халат задрался.

Били его с двух сторон — из комнаты и со двора. Никто не смог бы сосчитать, сколько синяков и шишек появилось на жирном теле муллы, но никто и не интересовался этим. Мухтара посадили на ишака задом наперед и выгнали из Хивы. По дороге он проклинал аллаха, всех святых, шейха и ишанов, а в промежутках между ругательствами выплевывал выбитые зубы. Потом, между прочим, говорили, что мулла опять стал проповедовать божью справедливость, стал где-то шейхом и нашел простаков, которые верили ему.

Долго не решался появиться в Хиве и Сеид-Алаветдин, а когда вернулся, то был тише воды и ниже травы.

При упоминании имени Махмуда шейх вздрагивал и начинал молиться с такой быстротой и так неразборчиво, будто у него вместо языка во рту была привязана живая мышь на веревочке.

Пышной и торжественной была свадьба Махмуда и Таджихон. На нее приехали тысячи людей со всего

Хорезма, и весь город веселился на улицах и на площадях. В разгар праздника на базарной площади устроили состязание борцов и канатоходцев, и Махмуд показывал свое искусство, а потом взял Таджикихон на руки и прошел с ней по канату, натянутому между двумя высокими минаретами. Таджикихон было немножко страшно, она закрывала глаза и прижималась к Махмуду, но все видели, как счастливо она улыбается.

В этот день в Хиве никто уже не сомневался в том, кто спас узников шейха Сеид-Алаветдина от голодной смерти, кто приносил им еду. Когда Махмуд и Таджикихон сошли на площадь, толпа окружила их и старики сказали:

— Тебя знают на всем Востоке. Тебя зовут Махмуд-непобедимый, Махмуд-поэт, Махмуд — отец богатырей. Отныне мы будем звать тебя еще и Махмуд-канатоходец.

А Махмуд, вежливо поклонившись старикам, поблагодарил их и ответил так, как не раз уже отвечал раньше:

— Зовите меня как хотите. Народ лучше знает, какое имя найти для каждого человека, но не нужно забывать, что я к тому же и Махмуд-скорняк, Махмуд-шубник.

Вместе с молодой женой Махмуд поселился в своем доме. Переехал туда и старый скорняк Насыр-ата, а Юсуп перестал скитаться по базару и стал учеником шубника. Жили они все вместе, одной семьей.

Не было отбоя от заказчиков, желающих ходить в шубах, сшитых у Махмуда, да не было и шуб лучше тех, что шил Махмуд. Каждый вечер во дворе под карагачем собирались люди, чтобы послушать стихи Махмуда и его рассказы о дальних странах, приходили за советом в самых разнообразных делах.

Махмуд для каждого находил доброе слово и каждому был рад помочь. Таджикихон угощала гостей пловом и чебуреками, дынями и персиками. Юсуп разносил зеленый чай и внимательно прислушивался к разговорам взрослых.

Однажды к Махмуду пришел какой-то молодой человек и сказал:

— Я много слышал о ваших знаниях и мудрости и хочу просить совета. Мне двадцать три года, но я не

знаю, как мне следует жить: что делать и чего избегать, что говорить и о чем молчать. Я прочитал много толстых книг, но ни в одной не нашел прямого и ясного ответа.

— А кто вы? Пастух, земледелец или ремесленник? — заботливо спросил Махмуд.

— Нет, — ответил гость. — Я сын богатого бая. Я ничего не делаю, а только думаю, чем бы мне заняться.

Махмуд внимательно посмотрел на него, помолчал и убежденно сказал:

— Хорошо. Я дам вам только один совет, какого не давал никому. Следуйте ему и будьте спокойны. Никогда не ешьте мясо трехцветной козы. Это для вас самое главное.

Гость ушел довольный, а Юсуп спросил:

— Дядя Махмуд, я понимаю почти все, что вы говорите. Вы подробно рассказываете людям, как и где лучше копать арыки и каналы для орошения полей. Вы объясняете, что нужно делать, чтобы уберечь скот от падежа, а садовые деревья от болезней, но этот совет мне непонятен.

— Видишь ли, — сказал Махмуд, — этому здоровому бездельнику идет уже третий десяток. Если он до сих пор ничего полезного не делал и ничего не хотел делать, то и впредь от него никакого толку не будет. Вот я и сказал ему: «Не ешьте мясо трехцветной козы». Теперь он, по крайней мере, знает, чего ему не делать. Видал, какой он довольный пошел? Большого этот бездельник не заслуживает. Дело нужно выбирать себе с детства. Вот ты, например, уже научился метать петли и пришивать карманы, тебя можно послать за нитками, и ты не принесешь гнилых... Да, скажи-ка мне, что нового ты узнал в городе и на базаре?

— Большие новости! — Юсуп обрадовался вопросу; ему показалось, что он может рассказать много интересного. — Из Золотой Орды пришел караван с дорогими мехами, а из Персии — с шелковыми тканями. На базар приехал китайский фокусник. У него такая круглая шапка, он вынимает из нее всякие ленты, платки и даже живую курицу.

— Ну, а что ты узнал сегодня из книги Абу-Рейхана аль-Бируни?

— Там нет больших новостей. Там написано толь-

ко, что Земля и другие звезды кружатся вокруг Солнца. Я еще не читал дальше, но, кроме этого, пока ничего не узнал.

— Что же, — спокойно заметил Махмуд, — самую большую новость ты узнал именно из этой книги. Новое никогда не бывает большим, и не каждый его сразу замечает. Зоркий человек видит верблюда в пустыне, когда он еще меньше мухи. Потом верблюд приближается и становится с собаку, а потом он становится большим, как верблюд. Но это уже не новость. Это просто верблюд. Когда-нибудь люди, возможно, побывают на дальних звездах, и это случится потому, что они будут хорошо знать ту маленькую новость, которую ты узнал из книги великого Бируни. Я не зря дал тебе ее читать. Ты должен учиться.

— Это трудно, — пожаловался Юсуп. — В книгах много непонятного.

— Правильно, — сказал Махмуд. — Учиться нелегко. Кое-кто даже и не представляет, как это трудно. Ведь ученье отличается от всякой другой работы. Можно попросить, чтобы за тебя принесли дрова для очага, нарвали яблок или даже выкопали колодец. Но никого нельзя просить, чтобы за тебя выучили стихотворение или прочитали умную книгу, потому что стихотворение будешь знать не ты, а другой, и мысли мудреца останутся тебе неизвестны. Учиться ремеслу тоже нелегко, но ты — молодец! Завтра я научу тебя пришивать воротник. Ты не жалеешь, что выбрал скорняжное ремесло?

— Не жалею, — сказал Юсуп. — Мне нравится.

— Мне тоже, — улыбнулся Махмуд. — Ведь самое главное, по-моему, — это чтобы людям было тепло оттого, что ты живешь на свете.

Прекрасно слово, ибо в слове
оставит память человек.

Синдбад-наме.

Махмуд-Пахлаван прожил почти восемьдесят лет и умер в 1326 году. Шли годы, десятилетия и века, а молва и легенды о нем все шире распространялись в народе; память об отважном скорняке и веселом остро-слове жила в сердцах многих поколений простых тружеников Хорезма, Туркменистана и Каракалпаккии.

Пятьсот с лишним лет прошло с тех пор, как умер Махмуд-Пахлаван. Много мутной воды утекло в Амударье, не раз меняла она свое русло, уходила от одних селений, наступала на другие. Орды хромоногого Тамерлана прошли по Хорезму, не раз совершали разбойные набеги на эту древнюю землю ее соседи с юго-востока, с юга и с юго-запада, но люди вновь отстраивали свои разрушенные жилища, возделывали вытоптанные поля, строили новые каналы и дамбы...

Мало изменилось в Хорезме за пятьсот лет: все так же за кусок черствой лепешки трудился простой народ, все так же обманывали его имамы и муллы. Правда, вместо монгольского наместника правил здесь Алакула-хан, но у простых людей, у ремесленников и земледельцев, животы были все так же подтянуты, а спины болели от палочных ударов.

Мало изменилось в Хиве за пятьсот лет: все смотрели на небо наивные бедняки в надежде, что бог установит справедливость на земле. Правда, все меньше становилось таких людей.

Многие поняли совет Махмуда чаще смотреть не на небо, а на землю.

Прошло пятьсот лет. Колумб открыл Америку, Ньютон — закон всемирного тяготения. Шекспир написал свои пьесы и сонеты. Во Франции произошла революция, в России — восстание декабристов. Пушкин заканчивал работу над повестью «Капитанская дочка». Глинка писал оперу «Иван Сусанин», а в Хиве...

Шумит хивинский базар. Съехались сюда степные скотоводы, рыбаки с Амударьи и даже с Аральского моря, приехали ремесленники из городов Хозараспа и Ургенча, собрались купцы со всего Хорезма.

Скоро вечер; нужно успеть продать то, что добыл, а то до следующей пятницы — базарного дня — долгая неделя. Купцы торопятся продать: как бы цены не упали. Бедняки торопятся: не продашь сегодня плоды своих трудов — завтра семье есть нечего.

Рядами сидят на земле торговцы овощами и фруктами, отгоняют ос от персиков и винограда, подбрасывают на жестких ладонях звонкие арбузы и нежно поглаживают шероховатую поверхность длинных дынь.

Продавцы пряностей сидят неподвижно. Это все больше старые, почтенные люди. Их товар дорог и на любителя. Перец изогнул скорченные красные пальцы, душистые травы лежат рядом с чесноком, а чеснок — рядом со свежими розами.

В соседнем ряду торгуют шорники. Они так стараются продать свои седла и уздечки, так высоко поднимают свой товар над толпой, что, того гляди, окажешься оседланным и взнузданным.

— Халаты, халаты! — кричат портные.

— Сапоги и башмаки! — умоляют покупателей в сапожном ряду.

Продавцы лепешек не сидят на месте. Они ходят в густой базарной сутолоке, несут свой товар на голове и уговаривают покупателей тихо и вкрадчиво:

— Купите, почтенный. Очень вкусные, очень свежие. Сам кушбеги, министр хана, хвалил, — говорит один.

А другой лепешечник, откровеннее характером, правду говорит:

— Купите, добрый человек. Хорошая была мука. Ловкая пекла рука. Сам бы ел, да дети голодные. Купите, добрый человек!

Каждый торгует тем, что имеет. Богатый — награв-

ленным, бедняк — заработанным, вор — украденным, а нищие громче всех:

— Подайте калеке, слепому, безногому! Подайте — и заслужите милости аллаха всемогущего!

Ходят по базару стражники. Смело ходят. Лепешку возьмут, спасибо не скажут. Подойдут к продавцу плова, подхватят на лепешку прозрачного от жира риса, мясо грязными пальцами выберут и дальше пойдут. Никто стражнику не возразит, никто заплатить не заставит. Власть!..

Ходят по базару толстые муллы и жиреющие ученики духовных училищ. Простачков ищут. Нажрут, благословят хозяина и дальше пойдут. Святые!..

В ханском дворце в базарный день тихо. Идет тайное совещание. В главной зале сидят трое: Алакула-хан, главный министр — кушбеги и главный мулла.

Алакула сидел на троне и, подтянув левую пятку к животу, задумчиво скреб ее ногтями. Хан был глуп, но, как все глупые люди, думал, что он очень умен. Дела в ханстве шли плохо, но говорить об этом прямо он боялся, поэтому речь свою начал так:

— Слава аллаху, мы сегодня на судьбу нашу жаловаться не можем. Правда, в последнее время наши набегии не удаются, зато мы многому учимся. Так, в последний раз напали мы на горцев, что живут на юге. Повел я туда десять тысяч отборных воинов, а вернулся с двумя сотнями. Зато мы научились быстро бегать. Правда, вместо добычи мы привезли холеру, от которой умерло остальное войско и много наших подданных. Но только глупый человек (а хан, как известно, считал себя умным) может подумать, что это плохо. С одной стороны, это, конечно, так. Зато, если посмотреть с другой стороны, то у нас стало меньше смутьянов. — Хан самодовольно улыбнулся. — Но мы не должны сидеть сложа руки, — сказал он главному мулле и министру.

Оба советника как раз так и сидели. Они по-своему поняли хана. Мулла схватился за бороду, а министр, у которого борода не росла, стал ковырять в ухе.

— Мы не должны сидеть сложа руки, — повторил хан. — Мы должны подумать, как смуту задушить, где ее причина.

— Это от безверия все, — сказал мулла. Он лет двадцать говорил одно и то же и считал, что так спокойней. — Аллаха забыли. Раньше лучше было. Монголы на что неверный народ, а духовенству почет оказывали. Живым муллам гробницы строили, не говоря о домах. Почет был. А теперь... Вай, как нехорошо! Теперь в святость никто не верит. Раньше люди все с именем аллаха делали, а теперь не то. Мы им про аллаха, а они все Махмуда-Пахлавана поминают. Степные разбойники на ханский караван напали — что кричали? «Махмуд-Пахлаван!» — кричали. Канал от Амударьи копали. Как называли? В честь хана называли? В честь аллаха называли? Нет. Опять в честь Махмуда называли. Ваш отец, мудрый Мухаммед-Рахим, правильно придумал: объявить безбожника Махмуда святым. Гробницу ему начали строить на том месте, где его скорняжная мастерская была. Где гробница? Недостроена. Надо, надо Махмуда святым объявить... Аллах и все святые всегда за хана стояли. Если мы у смутьянов Махмуда отберем, что они кричать будут? Где опору найдут?

Алакула-хан задумался. Нехорошо с Махмудом получается. Торопиться надо, строителей припугнуть, пригрозить. Одного-двух на кол посадить для острастки.

Забеспокоился хан. Может, потому, что в год курицы¹ на престол сел. Вот и живет, как курица, в страхе. Того гляди, зарежут.

Министр — кушбеги — раньше шутом у хана был. За глупость выдвинулся. Давно замечено, что глупый человек умных советников терпеть не может. Еще одна заслуга у кушбеги перед ханом была. Выучился он у одного купца водку пить и добросовестно этому делу хана обучал. Молчит кушбеги, ничего придумать не может, смотрит на хана, думает: «А ведь хан действительно на курицу похож. Доносчики говорят, что на базаре его «курицыным сыном» зовут. Курицын сын — цыпленок. Хи-хи. Из такого цыпленка плов не сделаешь, тухлый получится».

— Ты чего? — неожиданно грозно спросил хан.

Кушбеги вздрогнул.

— Думаю, скорей надо гробницу кончать. Объявим

¹ У мусульман каждый год имеет название какого-либо животного. Есть год собаки, кошки, лягушки; есть и год курицы.

Махмуда святым, сочиним про него небылицы, будто бы он хана любил и аллаха боялся. Тогда, может быть, народ позабудет, что он был богохульником и смутьяном.

— Хорошо бы, позабыл... — вздохнул хан и спросил: — А про подати что думаешь?

— Подати палками выколачивать надо. Ваш отец шестьдесят два налога собирал. Вы, о мудрый из мудрых, орлу подобный, еще десять выдумали. Я думаю, надо еще один добавить.

— Какой еще можно? — обрадовался хан. — Думай скорей. Халат подарю.

— Думаю, о великий, думаю. За бога берем, за хана берем, за небо берем, за землю берем, за хлеб берем, за жизнь берем, за смерть берем, за дрова берем, за огонь берем. . .

— Глупец ты, — обрадовался хан. — Ничего сам придумать не можешь. За огонь берем? А огонь без дыма не бывает. Надо за дым брать. Завтра пусть так и объявят: вводим мы налог на дым. . . Глупые вы, — сказал хан, отпуская советников. — Не знаете, как государственную казну приумножить. Теперь сразу дела поправятся. Как увидят сборщики податей дым, так сразу пусть и скачут. Где дым, там еда варится. Ну, а где еда, там и отнять можно.

Хотел было главный мулла рассказать хану, что в народе давно уже вспоминают слова Махмуда-Пахлавана о том, что правитель, пополняющий свою казну имуществом подданных, похож на глупца, который мажет крышу своего дома глиной, взятой из-под фундамента, но промолчал. Слово-то серебро, а молчание золото. Ведь и ему из нового налога перепадет.

Отпустил Алакула-хан советников. Пошли они по двору, уже к воротам подошли, да вспомнил хан, что не все еще сказал, выбежал на галерею и крикнул им вдогонку:

— Эй, вы, не забудьте этого безбожника святым сделать! Пусть все муллы об этом говорят, а кушбеги, за постройкой гробницы следит.

... Уже закончили кладку стен, купол высокий выстроили. Решили отделать двери резьбой и слоновой костью, украсить своды самыми что ни на есть красивыми изразцами.

Только один человек в Хиве мог сделать такие изразцы, каких ни в Багдаде, ни в Дели, ни в Тегеране, ни в Самарканде. не было. Звали мастера Абдулла. Так его по закону звали, а народ звал его иначе; так звал, что поручать ему украшение святого места было неудобно. Джинном его хивинцы звали, а джинн — это по-узбекски то же, что по-русски черт или, вернее, дьявол. Одни говорили, что имя ему за ловкость в работе дали, другие утверждали, будто за озорной нрав ему такая кличка досталась. Подумал хан, подумал кушбеги, доверить ли Джинну святую усыпальницу. Ну, да делать нечего — доверили. Не было другого такого искусного мастера.

Взял мастер Абдулла себе помощников, начал изразцы готовить. Изразцы поливные, синие, с разноцветными узорами полевых цветов и степных трав. Гордился мастер своим искусством. На самом видном месте укрепил изразец с надписью: «Пусть краски этих узоров служат образцами для весны!» Стараются мастер ради Махмуда-Пахлавана.

Приехал как-то министр — кушбеги. Ходит, поглядывает, вроде понимает чего. Пыхтит, отдувается. Только что отобедал. Переел немного.

— Вот что, — сказал кушбеги. — Решил великий и мудрый наш хан в этой усыпальнице всех ханов похоронить.

Опешил мастер. Не ожидал такого подвоха.

— Это как же так? Ведь Махмуд простым человеком был. Как же ему рядом с ханом лежать? Нехорошо ему будет, неприятно.

— Шубнику неприятно? — с угрозой спросил министр и замахнулся плетью. — В темницу захотел, нечестивец! Сказано: всех ханов хоронить будем здесь!

Бесполезно спорить с сильным. Горько усмехнулся мастер.

— Ладно, — говорит, — только, чтобы Махмуду приятно было, надо бы всех ханов сразу похоронить. Это бы еще ничего.

Засмеялись мастера, а министр не понял.

— Глупый ты человек, темный, — презрительно сказал он. — Как же это можно — всех сразу? Ведь умирают ханы не сразу, а по очереди.

— Лучше бы, конечно, сразу, — проворчал мастер

Абдулла, и в черных глазах сверкнул огонь, за который, может быть, его и прозвали Джинном. — По очереди, значит. Ладно.

То ли не слышал министр этих слов, то ли сделал вид, что не слышит, а вернее всего, не понял.

— А украшать святыми стихами будете?

— Как же! — ответил мастер. — Обязательно. У Махмуда-Пахлавана триста тридцать стихов. Уж мы выберем. Вот, например, очень хороший стих. Посмотрите, о любимец великого хана.

Джинн знал, что министр был ленив и малограмотен, и потому без опаски раскрыл страницу, где было тщательно выписано следующее стихотворение:

Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить кровью сердца небо легче,
Чем провести мгновение с глупцом.

— Так, — сказал министр, хотя не успел прочесть и половину первой строчки. — А еще что?

— Можно и еще, — сказал Джинн и перевернул страницу:

Зимой костер — нужнее алых роз,
Зимой кошма — нежнее шелка кос.
Но человек плохой всегда страшнее,
Чем самый злой и самый страшный пес!

— Святой был человек, — заметил ханский министр, не разобрав и двух слов. — Мы его верным слугой аллаха объявили. Теперь нам ничего не страшно.

Мастер Абдулла опять перевернул несколько страниц:

Пусть трус усердно золото чернит,
Он в медь его вовек не обратит.
Псу — всякий трус, реке — герой подобен,
А где тот пес, что реку осквернит?..

— Да, — сказал министр, торопясь уйти во дворец, чтобы соснуть после трудов часок-другой. — Святой был человек. Очень он мулл любил.

— Конечно, — подтвердил мастер и опять перевернул страницу:

Пускай не говорят, что в Мекку путь святой.
Мулла драконом стал, а раньше был змеей.
Уж если ты пошел аллаху помолиться,
Старайся не вставать поблизости с муллою.

Давно уже нет в Хиве хана, нет кушбеги, нет страшных подземных темниц, нет нищих земледельцев и ремесленников. Хороший город Хива! Счастливые там живут люди!

Когда вы приедете в Хиву, вам расскажут еще много историй, связанных с именем Махмуда, уж конечно, покажут вам замечательное творение старых мастеров — гробницу Махмуда-Пахлавана, на сводах которой искусно выписаны многие из стихов простого шубника, замечательного борца и свободолюбивого поэта. Там теперь государственный музей. Вы можете прочесть и стихи Махмуда, если знаете язык фарси, на котором они написаны.



**СКВОРЕЧНИК,
В КОТОРОМ НЕ
ЖИЛИ СКВОРЦЫ**

Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый:

— Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся.

Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я узнал об этом, а Шурка еще не знал.

— Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел.

— Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло.

— И еще ячменное кофе «Здоровье», — сказал Сережка.

— Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка.

Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь.

В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе «Здоровье». И ничего больше. Ну, там еще лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди.

— Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Шурка.

В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты.

— Глядите! — Сережка показал рукой.

Но мы и сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет.

Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист.

— «Юнкерс-87», — сказал Шурка.

Мы опять не стали спорить. Попробуй различить отсюда! Подбитые «юнкерсы» мы видели на площади перед Большим театром и в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев.

Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по звуку отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный.

Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось? Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок.

Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант!

Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой.

— Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка. Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то.

— Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним.

Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как громы-хает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня.

«Зачем звонок?» — подумал я, подбегая к пожарной лестнице.

А Шурка, уже стоя на ней, крикнул:

— Звукоуловители!

— Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители?

Оказывается, я не подумал, а спросил вслух.

Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост, Кремль и электростанция.

Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладинами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним.

— Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу.

И я увидел, что лампочка установлена именно в скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажом.

— Погоди! — закричал Сережка. — Погоди, я длиннее!

Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и, если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог.

Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавые перекладины пожарной лестницы.

Над нами шарили по небу прожектора; висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая электрическая лампочка в сто, или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы.

«Так и знал,— подумал я.— Так и знал!»

Однако надо все рассказать по порядку, а то вы ничего не поймете.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ УТЮГА

К рассвету наша дача сгорела полностью. Правда, это была не наша дача: мы снимали комнату с верандой.

Мы не засекали время, когда она начала гореть, но, честное слово, все продолжалось не больше двух часов. Дача горела, как прощальный пионерский костер. Почти без дыма. Огонь подымался высоко, ярко освещая елочки, уборную за ними, штaketник забора и молодые яблони с зелеными яблоками, которые нам запрещали рвать, пугая дизентерией.

В поселке горело еще несколько дач, и поэтому небо было светлое и рассвет наступил незаметно.

— Летние дачи всегда хорошо горят,— сказал Андрей Глебович Кириакис.— Доски сухие, фундамент высокий, и получается хорошая тяга.

Это была его дача, построенная года три назад, когда он получил деньги за изобретение чудо-печки¹ и быстро нагревающегося утюга. Просто удивительно, до чего спокойно он говорил про свою дачу!

Андрей Глебович сидел у выхода из бомбоубежища, вернее, из щели, которую мы с ним выкопали по чертежу. Такие чертежи висели на всех заборах. В

¹ Чудо-печка — это кастрюля с дыркой посредине и с двойным дном. В такой чудо-печке можно было печь пироги на обыкновенной керосинке. И быстронагревающийся утюг тоже был приспособлен к нагреву на керосинке или примусе.

объяснительном тексте говорилось, что щель-бомбоубежище надежно защищает от непрямого попадания осколочных и фугасных бомб.

На нас сбросили не фугасную и не осколочную, а сразу несколько мелких зажигательных. Они тоже свистели и упали на участке одновременно. Две или три попали прямо в дачу и загорелись на чердаке, одна упала в малинник, и одна — совсем рядом с нашей щелью, за грудой земли. Андрей Глебович велел нам пригнуться и не высовываться, пока эта ближняя бомба не догорит совсем. А сам он время от времени задира голову и косил глазами за грудку земли — он был наш перископ. Дача пылала вовсю, и черные глаза Андрея Глебовича тоже пылали... Нос его казался особенно хищным, а кадык на небритой шее особенно большим.

— Самое пикантное, что эти зажигательные бомбы могут иметь взрывное устройство и быть одновременно осколочными. Они так и называются — термитно-осколочные. Причем самое пикантное...

Тетя Лида несколько раз говорила Андрею Глебовичу, что он употребляет эти слова не по назначению, что это слова-паразиты. Но сейчас тетка промолчала. Она только взглянула, и он понял.

Моя тетя Лида не любила, когда слова употребляются не по назначению. Она окончила филологический факультет и знала три иностранных языка. Из-за этих языков Андрей Глебович и сдал нам комнату с верандой. Тетя Лида читала и переводила ему статьи из зарубежных журналов, чаще всего с картинками. Помоему, Андрея Глебовича больше всего интересовали картинки. Я, кстати, тоже любил смотреть картинки в этих журналах, там было много интересного. Особенно много было автомобилей. Например, автомобиль, который падал в пропасть, и над ним вдруг открывался парашют. Или гоночный автомобиль, у которого перед финишем взрывались шины. Были автомобили для инвалидов — как я понимал, уже для тех, у кого не открылся парашют или взорвалась шина. Признаться, меня интересовали только автомобили и еще немного мотоциклы.

Тетя Лида говорила, что я зря теряю время и лучше бы мне заняться изучением иностранных языков,

благо есть такая возможность. Но я считал, что не всякую возможность обязательно надо использовать. К тому же вот Андрей Глебович изобретатель, а иностранных языков не знает. Тетя Лида на этот довод обычно возражала, что я дурачок: Андрей Глебович изобрел всего-навсего утюг, который хотя и быстро нагревается, но зато еще быстрее остывает; что гладить этим утюгом все равно нельзя, потому что он слишком легок, и это только расход керосина.

В этом была доля правды. Но электрический утюг изобрели до Андрея Глебовича, угольный существовал, может быть, триста лет, а быстро нагревающегося, да еще на керосинке, до Кириакиса никто не изобрел.

В общем, тетя Лида была несправедлива. Она вообще не любила тех, кто не ходит на службу каждое утро. Сама она ходила только два раза в неделю — учила аспирантов, но это по болезни. У тети Лиды была бронхиальная астма, и врачи рекомендовали летом жить на даче. А то мы бы не уехали из Москвы.

Кроме нас троих, в щели сидели еще Галя, дочка Андрея Глебовича, и ее мама, Доротея Макаровна. Было тесно, потому что с начала бомбежки мы перенесли в щель все легкие вещи и постели.

— Какие мерзавцы! — сказала Доротея Макаровна, глядя на закопченный фундамент дачи, вокруг которого дымились совсем тоненькие головешки. — Они не могли прорваться к Москве и потому сбросили бомбы на дачный поселок. Они же прекрасно знают, что летом на дачах много детей.

— Это хорошо, что они не смогли прорваться. Подумаешь — дача! — сказал я, а хотел сказать, что Москва — столица, что в ней Кремль, заводы, исторические памятники.

Но тетя Лида прервала меня.

— Фриц! — сказала она. И посмотрела на меня точно так, как смотрела на Андрея Глебовича, когда он говорил «самое пикантное».

Фриц — это я. Тетя Лида гордилась тем, что почти тринадцать лет назад уговорила моих родителей назвать меня в честь Фридриха Энгельса. Я родился в один день с Фридрихом Энгельсом, только на сто восемь лет позже — 28 ноября 1928 года.

— Посмотрим, что же осталось из нашего движи-

мого имущества, — сказал Андрей Глебович и первым вышел из щели.

Я вылез вторым и сказал:

— По-моему, осталась только ваша кровать.

Ее было хорошо видно. Вся покореженная огнем, она висела на фундаменте. Без сетки, без никелированных шариков. От моей кушетки и следов не осталось.

— Вот здорово! — сказал я. Я хотел сказать, что это удивительно, какая все-таки великая сила — огонь.

Но тетя Лида опять одернула меня:

— Фриц!

Мне мое имя и до войны не нравилось, а теперь и совсем было некстати. Фашистов звали Фрицами и Гансами. Если бы меня звали Гансом, можно было бы законно переделаться в Ваньку, но Фрица не переделаешь. Галя звала меня теперь Федей, но Андрей Глебович сказал, что Федя — Федор, Теодор, но никак не Фридрих. Тетя Лида сказала, что это справедливо.

А разве справедливо было назвать меня Фрицем, когда в нашем роду ни одного немца не было! Вот у того же Андрея Глебовича бабушка была немка — я видел ее фотографию, — и то Андрея Глебовича не называли Фрицем.

Мы все пошли к пепелищу. Соседние дачи тоже догорели. Но начался рассвет, и все было видно. Смотреть-то, по правде говоря, было не на что.

— Андрей, — сказала Доротея Макаровна, — я не помню, наша дача застрахована?

Доротея Макаровна, как говорили люди понимающие, была самая красивая женщина в нашем большом московском доме. Эти понимающие люди говорили, что «все при ней».

Губы у нее были красивые, и она их красила, это точно. Раньше она была артисткой оперетты, и Андрей Глебович тоже работал там в оркестре — играл на флейте. Потом, когда он изобрел чудо-печку, оба бросили театр.

— От войны, Дора, никто не застрахован. В этом, если хочешь, самое пикантное, — мягко сказал Андрей Глебович.

И тетя Лида на этот раз не заметила слов-паразитов.

В эту ночь я стал еще больше уважать Андрея Гле-

бовича. Он стойко держался. Тетя Лида, хотя и была в Гражданскую войну переводчицей в Красной Армии, сильно вздрагивала, когда на станции стреляли зенитки. Галя сидела, обхватив мать руками, и ойкала. А Андрей Глебович совершенно не боялся. Между тем я точно знал, что он никогда в армии не служил из-за того, что один глаз у него совсем не видит.

— Ты так спокоен,— нервно заметила Доротея Макаровна,— будто у тебя три таких дачи.

«И правда,— подумал я,— до чего он спокоен!»

— Хвост! Смотри, Федя, я нашла хвост от бомбы!— Галя стояла в малиннике и держала в руках какую-то странную обгорелую железку.

Галя перешла в десятый класс, она занималась в балетной студии, но мы с ней дружили. Мне стало завидно, что она первая нашла хвост бомбы, и потому я поправил:

— Это не хвост, а стабилизатор.

Но Галя не ответила. Она смотрела куда-то поверх моей головы. Глаза у нее были такие, что все стали смотреть туда же, куда смотрела она.

Над сосновым лесом в стороне Москвы небо было в сплошном дыму и отсветах пламени.

До этой минуты мы все были уверены, что фашистские самолеты не прорвались к Москве. Ведь за первый месяц войны было много воздушных тревог, и ни разу фашисты к Москве не прорвались. Правда, говорили, что это учебные тревоги, но мы не очень верили: нужно же успокоить население!

За лесом все горело. Дымы были ближние, дальние, густые и прозрачные, но самым страшным было небо прямо на востоке от нас. Жирный, тяжелый дым стлался по краю неба и, подсвеченный всходящим солнцем, казался особенно зловещим. Мы стояли молча. Жирного дыма становилось все больше, и он становился все краснее.

— «Москва... Как много в этом звуке...» — деревянным голосом продекламировала Доротея Макаровна. И вдруг зарыдала.

А утро было теплое и тихое. Просто удивительно теплое и тихое.

— Пойду в совхоз за машиной,— сказал Андрей Глебович.

Доротея Макаровна, Галя и даже тетя Лида посмотрели на него с удивлением.

— Не одна наша дача сгорела, многие будут просить транспорт,— объяснил он и добавил:— Я почему-то уверен, что наш московский дом цел и невредим. Наш переулок заколдованный. В нем ни одну зиму снег не чистили.

При чем тут снег и при чем тут, что его не чистили, я не понял. Тем более, что иногда у нас все же чистили снег.

— Ты знаешь, где гараж?— спросил он меня.— Пойдем вместе.

Мы шли по улице и считали, сколько всего дач сгорело. Оказалось, не так много. Две дачи, сарай и ларек, где продавали кислое пиво и противную хмельную брагу. Я лично никогда там ничего не пил, но взрослые каждый день ругали пиво и брагу.

Мы вышли из поселка, пошли по полю и, когда взобрались на пригорок, остановились и еще раз посмотрели в сторону Москвы. Черный дым поднимался все выше и выше.

— Здравствуйте,— с полупоклоном сказал Андрей Глебович какому-то человеку в телогрейке, стоящему в воротах совхозного гаража.— Разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кириакис.

— Я сторож,— хмуро ответил тот.— Кого надо?

— Очень приятно,— сказал Андрей Глебович.

(Потом я убедился, что Андрей Глебович здорово умеет разговаривать со сторожами. На них вежливость очень действует. А может, она почти на всех действует.)

— Мне желательно поговорить с кем-нибудь из ответработников. С завгаром или с механиком.

Сторож подумал и сказал:

— Завгара в армию забрали. А механик вон — под машиной. Механик! К тебе пришли!

Из-под полуторки вылез какой-то человек в замасленном комбинезоне и направился к нам. Это была

молодая женщина в очень грязной кепке. В руках она держала гаечный ключ и молоток.

— Здравствуйте, разрешите представиться: инженер-изобретатель Андрей Глебович Кириакис, — с таким же полупоклоном приветствовал женщину Андрей Глебович и протянул ей руку.

Я точно знаю, что никому другому на свете эта женщина не подала бы такую грязную руку. Но тут растерялась, поздоровалась. И очень смутилась.

— Так вот... Как вы, очевидно, знаете, в нашем поселке в результате коварного нападения фашистских захватчиков с воздуха было несколько пожаров...

Андрей Глебович говорил правду, но мне почему-то казалось, что он лжет. Во всяком случае, мне было неловко.

Часа через три, позавтракав яичницей, приготовленной на костре — сковородки мы нашли в куче золы, они не сгорели, — мы ехали на полуторке по окраинам Москвы. За рулем — механик Наташа, в кепке, похожая на артистку Ладынину из картины «Трактористы». С ней в кабине Доротея Макаровна, а мы все — в кузове.

Никакого дыма в небе уже не было. И Москва вся вроде бы цела. А черным, страшным дымом горел, оказывается, толевый заводик недалеко от Филей. Вы знаете, как горит толь? Попробуйте подожгите. А там были еще цистерны с мазутом и жидким битумом. И еще сгорел какой-то рынок и ларек «Пиво — воды», точно такой же, как в нашем дачном поселке, только этот ларек не весь сгорел — вывеска осталась и бочки среди обгоревших досок.

Вот наконец мы увидели кремлевские башни — целехонькие, такие, как всегда. Только звезды были замаскированы, чтобы не сверкали. Мы объехали Манеж и свернули на Красную площадь. Механику Наташе тоже хотелось увидеть, что все цело.

Андрей Глебович сидел на узлах выше всех и крутил головой направо и налево. Мы, как по команде, поворачивали головы вслед за ним. Все, все на месте! И Исторический музей. И Мавзолей. И собор Василия Блаженного. И мост через Москву-реку.

— Наш дом! Наш дом цел! — закричала Галя, как

маленькая, когда с моста увидела наш большой семи-этажный дом.

Его было видно издалека. Мы видели его только сбоку — одну лишь кирпичную стену без окон.

Мы свернули в переулок и затряслись по булыжнику. В этот момент я почувствовал, что очень хочу спать. Я вспомнил, что не спал со вчерашнего утра.

Первый раз в жизни.

— Давайте никому не будем говорить, что наша дача сгорела, — еще раньше предупредил Андрей Глебович. — Зачем создавать нездоровые настроения.

Это хорошо, что он предупредил, потому что нас сразу окружили жильцы и стали расспрашивать. Мы говорили, что на даче нам надоело, что лето идет к концу и вообще в Москве лучше.

Потом мы перетащили вещи. Я помог Андрею Глебовичу и Гале — они жили на пятом этаже. И когда мы с тетей Лидой вошли в свою комнату, я сразу же повалился на кровать, даже есть не стал.

Мне снилось, что у меня новые коньки и все мне завидуют, а хулиганы с набережной меня повалили и дергают за уши. Я очень разозлился и хотел ударить кого-то ногой, потому что с детства не люблю, когда меня дергают за уши, — тетя Лида никогда так не делала.

— Тревога! Тревога! Тревога! — услышал я голос, похожий на голос Сережки Байкова.

— Ты ему в нос дунь. Он чихнет и проснется, — говорил кто-то голосом, похожим на голос Шурки Назарова.

Я открыл глаза и не понял — сон это или на самом деле. Надо мной склонились две пожарные каски с гребнями. Только каски были не медные, а черные, лакированные.

— Вставай, Крылов! Мы тебя в пожарное звено записали. Нам на крышу лезть надо. — Это Шурка Назаров говорил.

Тетя Лида, одетая, с узлом в одной руке и с подушкой в другой, стояла рядом. Наконец я понял, где я и что происходит. Я стал натягивать брюки и одновременно ногами искал ботинки, которые вечно оказывались где-то далеко под кроватью. «Молодцы ребята, — подумал я, — не забыли, записали в самое интересное

звено. Но каски мне, наверное, из-за этой проклятой дачи не достанется». И только я так подумал, как увидел каску, точно такую, как у Шурки и Сережки. Она лежала на подоконнике, возле моей кровати. Черная, лакированная, сверкающая в электрическом свете. «Разве уже вечер?» — подумал я и хотел заглянуть под маскировочную штору на окне.

— Стой! — приказал Шурка. — Ты что, хочешь демаскировать столицу? Пошли на крышу.

— Да, уже пора, — вежливо подтвердил Сережка Байков.

Он был старше меня и Шурки и потому, наверное, вежливей. У него были совершенно белые волосы и белые ресницы. Однажды, лет пять назад, тетя Лида сказала, что он альбинос. По отношению к молодежи моя тетка была удивительно бестактна. С тех пор мы часто дразнили Сережку Альбиносом, и на улице его так дразнили. Но он не обижался, он вообще был сдержанный человек. Даже тогда, когда мы играли в короля, принца и подчищалу и Шурка жулил. Сережка не обижался и спокойно сдавал карты не в очередь. Сперва нам казалось, что ему безразлично, выигрывает он или проигрывает, потому что ему на нас чихать, потому что ему уже шестнадцать лет. Мы даже хотели обижаться. Потом мы убедились, что он вообще спокойный. Как телок.

— Лидия Ивановна, вы уж извините, но нам пора на крышу, — сказал Альбинос.

— Хорошо, ребята, я вас не задерживаю, только пусть Фриц поможет мне отнести в бомбоубежище чемодан. У меня, кажется, начинается приступ. Кстати, я не знаю, как туда пройти.

— Мы никак не можем, вы сами найдете. Это просто. Где раньше было овощехранилище и красный уголок, — сказал Шурка.

Я был ему благодарен, но проклятый телок предал нас обоих.

— А чемодан? — спросил он нас.

— Вы как хотите, а я полез. Дом дороже чемодана.

Шурка был абсолютно прав. Но Сережка встал на путь предательства. Тетка, Сережка и я начали спускаться вниз по парадной лестнице, а Шурка один по-

шел через черный ход на лестницу, ведущую к чердаку. Я нес чемодан и подушку, тетя Лида — узел и одеяло, Сережка шел впереди нас в каске и мою каску нес в руках. Мне очень хотелось ее примерить, но было неловко перед Сережкой, неловко войти в ней в бомбоубежище, и руки были заняты.

В бомбоубежище пахло гнилой картошкой. Раньше здесь было овощехранилище, потом года три красный уголок с настольным бильярдом, но запах гнилой картошки стоял прочно. Под потолком на шнурах болтались электрические лампочки, в полу зияли щели, нары и топчаны тоже были щелястые. На нарах, топчанах и чемоданах сидело все население нашего дома. С тетей Лидой здоровались, и со мной тоже. Многие не видели нас больше месяца. Всю войну.

— С приездом, Лидия Ивановна!

— Здравствуйте, Лидочка! Вот она, наша жизнь...

— Лучше бы уж вам на даче оставаться...

У тети Лиды действительно началась одышка, и она отвечала только кивками.

И со мной заговаривали:

— Вырос, возмужал. Молодцом стал.

— Ты загорел.

И все такое, необязательное, никому вроде бы не нужное, но то, что всегда говорят, когда думают о другом, действительно важном. Говорят и говорят. Все это было бы терпимо, если бы некоторые не добавляли моего имени. Скажут что-нибудь неинтересное и в конце добавят «Фриц» или, еще хуже, «милый Фриц».

Я поставил чемодан. Тетя Лида села на нары и уперлась руками в колени. Да, значит, серьезный приступ начался. А тут еще духота такая!

Вдруг к нам подошла Галя Кириакис. На боку у нее санитарная сумка, на рукаве повязка с красным крестом.

— Тетя Лида, вам помочь?

«Во дает! — подумал я. — И сумку достала».

На меня Галя даже не посмотрела. Я тоже не стал на нее глядеть и пошел к выходу. Я увидел Доротею Макаревну и сказал: «Добрый вечер». Она ответила: «Здравствуйте», будто я не я. Глаза у Доротеи Макаровны были неподвижные, щеки белые-белые, а губы накрашенные, бантиком. И Андрей Глебович был тут.

Он чинил сломанный топчан и меня не заметил. Зато Матишина заметила меня и очень обрадовалась.

В нашем доме эту женщину за глаза все называли Матишина. Получалось как фамилия. А на самом деле она была Ольга Борисовна Ишина, мать Вовки Ишина. Еще ее называли Барыня, но это редко. Она одевалась в старомодные платья с белыми и розовыми кружевами, на груди носила часики с крышкой, на пальцах у нее были большие серебряные перстни, которые нам никак не удавалось рассмотреть. Сын Барыни-Матишиной давно уже был никакой не Вовка, он кончил институт и работал инженером на авиационном заводе. В глаза его называли Вова или даже по имени и отчеству — Владимир Васильевич, но за глаза — Вовка. Вы не думайте, его уважали в нашем доме, но говорят, что, когда я был еще совсем маленький или даже еще не родился, он был ужасный озорник, хуже всех в доме. И еще у него был мотоцикл «харлей-давидсон». Вовка участвовал в каких-то гонках и часто ездил на нем без глушителя.

Матишина меня и до войны замечала, потому что я интеллигентный мальчик. Это потому я интеллигентный мальчик, что моя тетка языки знает.

— Здравствуй, Фриц! Здравствуй, маленький! — Это она мне говорит. — Вот видишь, как бывает в жизни. Но ничего, все образуется, перемелется.

Я улыбнулся ей изо всех сил и хотел скорей уйти. А она взяла меня за руку и сказала будто бы мне, а на самом деле всему бомбоубежищу:

— Дети! Почему должны страдать дети! Кто бы мог подумать, что немцы до этого докатятся! — А сама держит меня за руку, будто это я — немец. — Подумать только! Народ Гёте и Вагнера, народ, давший миру Маркса и Энгельса... Фриц! Ведь тебя в честь Энгельса назвали Фридрихом?

— Да, — сказал я и попытался вырвать руку.

Матишина не отпускала.

— Подумать только, что дети, которых родила Гретхен... Ты знаешь, кто такая Гретхен?

Я не знал. Я смотрел, как мучается в дверях Сережка Байков в черной каске на белобрисой башке и еще с моей каской в руках. Он страдал за меня.

— Крылов! — вдруг крикнул он на все бомбоубе-

жище, потому что здесь все, кроме Барыни, говорили шепотом. — Крылов! Бомбы тебя ждать не будут!

Эх, молодец Сережка! И хорошо, что назвал меня по фамилии. Вот что значит дружба! И Шурка сегодня назвал меня по фамилии, хотя мы учились в разных классах и даже в разных школах. Это верные друзья. Мы не виделись с начала войны, но они ни разу не называли меня Фрицем.

Чтобы из бомбоубежища попасть на черный ход и оттуда на чердак, надо обежать дом вокруг. У нас дом семиэтажный, на фронте лепные украшения — гипсовые женщины в покрывалах. У женщин прямые носы и вялые руки. Тетка объясняла, что это не то нимфы, не то наяды, а может быть, музы. К ногам одной музы кто-то приколотил скворечник, в котором не жили даже воробьи.

В нашем доме была шикарная парадная лестница с удобными ступенями и лифтом, который не успели достроить в 1917 году. Кроме парадной лестницы, была еще и черная, и все квартиры имели два выхода — один на парадную, другой на черную лестницу. По парадной должны были ходить хозяева квартир, а по черной — прислуга. Однако дом построили к самой революции, и буржуи не успели в него въехать. По этой черной лестнице хозяева квартир ходили, когда нужно было вынести мусор, а по парадной — когда отправлялись на работу или в магазин.

Лестница для прислуги и в мирное время освещалась плохо. Кому нужно вынести ведро на помойку, может сделать это засветло. Теперь же, в войну, там была тьма крошечная. Мы торопились, спотыкались, переворачивали ведра, цеплялись за ненужные вещи, которые жильцы изгоняли из квартир, но ленились вынести во двор. У входа на чердак я споткнулся о порог и так треснул головой о кирпичную трубу, что каска загудела. «Вот она и пригодилась», — подумал я. Когда мы вылезли на крышу, стрельба шла всюду. Это мы еще на чердаке слышали.

Никогда в жизни я не видел такого красивого неба над Москвой. Потом мы с этой крыши видели салюты в честь наших побед. Мы видели много салютов, но никогда небо над нами не было таким красивым, чтобы дух захватывало. Вы не думайте, что от страха, —

от красоты. Салют — это, конечно, красиво, но не так. Допустим, двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Так ведь каждый залп похож на другой. А тут не так, совсем не так.

Во-первых, прожектора. Как они щупают небо, как они своими длинными пальцами перебирают тучи, как неожиданно взлетают и как вдруг скрещиваются. А если в скрещении прожекторов попадется фашистский стервятник, так тут ничего прекраснее и быть не может.

Во-вторых, трассирующие пули и снаряды. Особенно от счетверенных пулеметов. Золотые цепочки по небу, и в самых неожиданных местах. В общем, я понял, что самая лучшая красота — неожиданная.

В-третьих, если признаться, все-таки немного страшно. Выше нашего дома вокруг нет ни одного. А ты стоишь на крыше. Внизу — город. Над тобой только аэростаты, заграждения на тросах. А в небе воздушный бой не на жизнь, а на смерть. Осколки верещат. А ты знаешь, что не зря здесь стоишь, ты не лишний здесь, не кино это, а твоя собственная жизнь.

Нас только трое на крыше: я, Шурка и Сережка. Сережка по должности начальник, он командир звена, единственный среди нас комсомолец. Мы-то, по существу, еще пионеры. Если бы в школу идти, то мы бы галстуки надевали. А Сережка с начала лета стал работать. Отец устроил его по знакомству на авиационный завод учеником. Отец у Сережки дамский портной. Его забрали в армию всего неделю назад. Между прочим, у Шурки отец тоже портной, но он, кроме того, младший командир запаса, и его призвали в первый день войны.

Сережка наш начальник, а Шурка ему выговор сделал:

— Где вы там застряли? А если бы зажигалка? Что я — один тут...

— Ладно, — сказал Сережка.

Конечно, Сережка неправ: мы должны быть на посту вовремя. А если бы действительно зажигалка?

Я потрогал на голове каску и хотел рассказать ребятам, как сгорела наша дача, но промолчал.

Шурка на крыше, как в своей комнате, потому что весь прошлый год гонял здесь голубей. Но к весне чер-

дак почему-то закрыли, и вдобавок мать Шуркина отняла у него голубиные деньги. Только он новые накопил — война началась.

Я лично до войны никогда на крыше не был. Тетка тряслась надо мной, как над ребенком. К тому же я ходил в Дом пионеров, занимался в автомобильном кружке и еще в историческом. У меня даже на уроки никогда времени не оставалось, не то что на голубей. Теперь я очень пожалел об этом. Ничего я тут не знаю, вижу только трубы, соседний дом, и то еле-еле, а в основном небо. На чердаке и вовсе заблудиться могу — он огромный, запутанный. Вот внизу, в переулке, я, как собака, каждую щель знаю, каждый камень. Всю жизнь мог бы там с завязанными глазами прожить. Если на спор. Я там и в прятки играл, и в чехарду, и в отмерялы, и на самокате катался.

Наш переулок среди тысячи особенный. Если с одной улицы посмотреть, он тупик; если с другой посмотреть, тоже тупик. Он не прямой, не косой, не углом, а как заводная ручка, которой автомобиль заводят. Сначала прямо, потом точно налево, а потом точно направо. Хоть с одной стороны в него зайди, хоть с другой. Наш дом в переулке самый большой. Есть еще три поменьше, три одноэтажных и еще две церкви. В одной — артель, в другой — райпищеторг. На паперти райпищеторга мы всегда в расхибалочку играли. Монетка отскакивает выше головы.

Я про все это думаю и молчу. И так из-за меня мы с Альбиносом опоздали. Молчу и делаю вид, что все в порядке.

Вдруг Сережка трогает меня за рукав и тащит на чердак. На крыше светло от неба и прожекторов, а здесь, оказывается, тьма-тьмущая.

— Пригляделся? — спрашивает Сережка.

— Немножко, — отвечаю.

— Бочку видишь?

— Немножко.

— Ничего ты не видишь, — сказал Сережка. — На вот, щупай.

Щупаю. Действительно бочка. Руку в нее опустил, а там вода.

— Значит, если зажигалка упадет, ты ее в бочку.

А если что-нибудь загорится, хватай ведро. Видишь ведро?

— Ничего я не вижу,— сказал я.

— Ну приглядишься. А вот ящик с песком. Можно зажигалку в ящик. У нас еще огнетушитель есть, но, говорят, он не работает. Ты его лучше не трогай.

Глаза мои постепенно стали привыкать. Постепенно я увидел бочку и ящик с песком, и большой деревянный щит, на котором висел багор, железные щипцы с длинными ручками, две лопаты, пожарный топорик и брезентовые рукавицы на гвоздиках.

— Это твои рукавицы,— сказал Сережка.

Я сунул рукавицы в карман курточки, и мы вылезли на крышу.

— Тише вы!— крикнул Шурка.— Летит.

Я услышал, что в небе появился кто-то чужой. Это был самолет, который мы не видели, как ни вглядывались. Мы слышали прерывистый гул.

— Фриц!— сказал Шурка.

— Что?— спросил я.

— Я говорю, фашист летит.

Я покраснел, и волосы под каской вспотели у меня от стыда. Хорошо, что темно и не видно, как я покраснел.

Наши зенитки почему-то не стреляли по этому самолету.

Сейчас больше всего разрывов было над Зарядьем. А самолет дудел прямо над нами: ду-ду-ду...

И тут — знакомый свист. Такой, как на даче. И сразу же тук-тук, тук-тук-тук по крыше.

— Ну и осколочки!— дрожащим голосом сказал Шурка, и зубы у него тихонько лязгнули.

А я понял, что это не осколки, а зажигательные бомбы. Впрочем, все это поняли, потому что одна бомба скатилась в водосточный желоб и загорелась бенгальским огнем. Натягивая рукавицы, я бросился к ней, схватил за хвост и сбросил вниз в переулок.

— В бочку ее, в бочку!— крикнул мне Шурка.

Но было уже поздно.

Когда я оглянулся, ребят у слухового окошка не было. Я понял, что они нырнули на чердак. Я бросился за ними.

Где-то за стропилами вовсю горела бомба. Она го-

рела ровным светом, и на чердаке было светло. Я кинулся на свет и увидел, что Сережка уже ухватил эту бомбу щипцами и тащит прямо на меня.

— Там есть еще!— крикнул он.

Действительно, в другом конце чердака тоже было светло. Бомба горела, на метр разбрасывая огненные брызги. Она шипела и, кажется, даже крутилась. Схватить ее рукавицами казалось страшно. Я ударил по ней ботинком, она не взорвалась. Тогда я еще поддал ногой и стал гнать ее по чердаку к ящику с песком.

— В бочку ее, в бочку!— услышал я.

Тут подбежал Сережка со щипцами, ловко схватил бомбу, но она распалась на две части и продолжала гореть. Шурка прибежал с ведром воды и выплеснул ее. Нас обдало горячим паром и брызгами. Бомба чуть приутихла, но потом стала гореть с новой силой.

— Песку! Песку надо!

К счастью, до ящика с песком было недалеко. Мы метались с лопатами, пока не навалили целую кучу песка. Бомба погасла. Но на чердаке не стало темнее. Где-то совсем в дальнем конце горели стропила. Мы кинулись туда.

Это была, наверно, самая опасная бомба. Она пробила крышу рядом с дымовой трубой и застряла между крышей и деревянной балкой. Горела вовсю, с треском. Мы плескали воду, мы швыряли лопатами песок, а бомба все горела, и балка разгоралась сильнее.

Сережка притащил багор, выковырнул бомбу. Она мелкими кусочками упала на шлак, насыпанный на чердаке. Я подцепил ее на лопату и сунул в ведро с водой, которое притащил Шурка. Но балка горела. Мы поливали ее водой и кидали в нее песком...

На чердаке наконец стало темно, и нас это обрадовало. Мы гуськом обошли его весь и вылезли на крышу.

Над городом было тихо. Не было разрывов, не ухали зенитки, и щупальца прожекторов исчезли. Светало.

Сережка снял каску.

Его белые длинные волосы слиплись.

— Порядок!— сказал он.— Я думал, они взрываются.

— Нет, — сказал я, — они не взрываются.

Я хотел рассказать, как у нас сгорела дача, но опять промолчал.

— Еще как взрываются! . . — сказал Шурка. — Это просто нам повезло.

Шурка тоже снял каску. И я снял. Ветерок обдувал мою взмокшую голову.

— Хорошо! — сказал Сережка Альбинос.

И я подумал, что действительно хорошо.

На углу, возле кинотеатра «Заря», что-то щелкнуло. Это включились огромные репродукторы, похожие на граммофонные трубы. «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» Голос диктора был родной и знакомый.

Я посмотрел направо. Кремль, собор Василия Блаженного — все на месте.

Я оглянулся. Трубы Могэса тоже целы. И мост цел.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» — еще раз сказал диктор.

Я посмотрел на свои ботинки — не прожег ли. Нет, все в порядке. Зато на штанах в нескольких местах были мелкие дырочки.

— Зря ты первую штуку вниз швырнул, — сказал Шурка. — Если бы ты ее в бочку сунул, у нас была бы целехонькая бомба, а так только одни хвосты остались.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» — в третий раз донеслось из кинотеатра «Заря».

И тут мы увидели, что совсем светло и скоро взойдет солнце.

Я никогда не думал, что черная лестница в нашем доме такая неудобная. Ступеньки крутые, а на поворотах скошенные. На черной лестнице трудно угадать, какая дверь в какую квартиру ведет. И номеров на них нет.

Мы спустились медленно.

— Это какая квартира? — спросил я Шурку, когда мы были на шестом этаже.

— Семнадцатая, — говорил он. — Гавриловы и Яворские. Сам не знаешь? Шестой же этаж.

— А эта! — спросил я.

— А это твои Кириакисы и Матишина. Изобретатели.

Я знал, почему Шурка сказал — изобретатели, а не изобретатель. Все в доме считали, что у нас один только изобретатель — Андрей Глебович. Но Андрей Глебович говорил, что Бовка Ишин тоже изобретатель. Мы не верили, думали — он своей квартирой хвастается. Кроме того, мы знали, что изобретает Андрей Глебович, а чем занимается Ишин, не знал никто. Вот что с мотоциклом возится — это все видели. И потом, посудите сами: может ли это быть, чтоб в одной квартире жили сразу два изобретателя, а во всех остальных — ни одного?

Мы спустились во двор и, обойдя дом, подошли к подъезду. Там стояло много народу. Все, кто провел ночь в бомбоубежище в духоте и тревоге, вышли сюда, чтобы дышать свежим воздухом, глядеть на чистое небо и радоваться, что живы и здоровы.

Здесь была и моя тетя Лида, и Андрей Глебович с женой, и Галя, и мать Шурки Назарова — тетя Катя, и Сережина мама, и Барыня-Матишина.

Нас стали расспрашивать, как кончился налет, куда падали бомбы, сколько самолетов сбили. Но мы не видели, чтобы сбросили куда-нибудь фугасную бомбу, и не видели, как наши сбивали вражеские самолеты. Зато каждый из нас вытащил из кармана обгоревший хвост зажигалки. Мне кажется, что мы не сильно хвастались.

Мать Шурки перекрестилась и поцеловала сына в лоб. Тетя Лида улыбалась. Сережина мать только вздыхала. Все на нас смотрели с уважением до тех пор, пока Матишина не сказала свое слово.

— Вандалы! — сказала она. — Дикари! Господь их покарает. — И она тоже перекрестилась.

То, что крестилась мать Шурки Назарова, никого не удивило. А вот что Матишина крестится — это мы видели в первый раз.

П Е Т Ы Н

Весь август и начало сентября погода в Москве была прекрасная. Дни стояли теплые, солнечные, небо чистое. И это было плохо, потому что в ясную погоду воздушные налеты особенно опасны. Правда, когда много туч, тоже опасно, потому что за тучами легче проскользнуть к Москве, легче скрыться от прожекто-

ров и зениток. Но дни стояли ясные, и ночи были безоблачные.

Сережка Байков, Шурка Назаров и я каждый налет дежурили на крыше и видели, как ослабевает напор фашистских стервятников.

— Ты заметил? — сказал Шурка. — Чем мы втроем становимся смелее, тем фашисты становятся трусливей.

— Неужели они это чувствуют? — удивился я.

— Не знаю, как они, а я это чувствую, — сказал Сережка.

Я посмотрел на Сережку и по глазам понял, что он сострил. Я не всегда понимал, когда он шутит. Только если заглянуть в глаза.

Между прочим, 1 сентября прошло, а занятия в школах не начались. Говорят, что где-то в Москве работали школы, но в нашем районе, к счастью, не работали. Ни моя 578-я, ни Шуркина 562-я. И Галя Кириакис тоже не ходила в школу, даже в свою балетную — балетная школа тоже уже эвакуировалась.

Каждый день говорила про свой отъезд Барыня-Матишина, но почему-то не ехала. Она всем объясняла:

— Днями должен приехать Вова. И тогда мы поедem на восток. Я никогда не была там. Говорят, это сказочный край.

Газеты писали об ожесточенных боях на всех фронтах и на всех направлениях. Гитлеровцы наступали, неся огромные потери в живой силе и технике. Но они пока все еще наступали.

По радио передавали сводки Совинформбюро о героизме наших солдат и мирного населения, и по нескольку раз в день мы слышали песню «Священная война». И сколько бы раз ее ни передавали, я всегда замирал у репродуктора и думал: кто мог сочинить такую прекрасную песню?

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей.
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

И еще:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

В Центральном парке культуры и отдыха была выставка фашистских самолетов, сбитых на подступах к Москве.

Мы с Шуркой решили пойти в ЦПКиО. Сережка не мог — он работал.

За веревкой стояли самолеты: совсем обгоревший истребитель «мессершмитт» и бомбардировщик «Юнкерс-88». На истребитель и смотреть было нечего — так мало чего на нем осталось. «Юнкерс» был поинтересней. Он стоял на козлах, потому, что шасси сломались, и крылья его уныло свисали к асфальту. Может быть, они и не свисали, но таким он мне запомнился. Свисающие крылья с черными противными крестами и здоровенные пробоины в фюзеляже. Еще мне тогда запомнилось множество медных проводов, будто это не самолет, а летающий радиоприемник. Мальчишки и взрослые стояли за веревкой, а внутри ходила женщина в синем халате. Совсем как в Третьяковской галерее.

Кое-кто из мальчишек пытался нырнуть под веревку, пробраться к самолету и отломать что-нибудь на память. Женщина в синем халате только делала вид, что гоняет их, но никому ничего отломить не удавалось, потому что всё давно уже обломали и оторвали до них.

Мы с Шуркой тоже нырнули под веревку и обежали самолет вокруг.

— Раньше надо приходиться. В первый день, — с упреком сказал мне Шурка, будто я виноват, что всё уже обломали. — Пустой номер. Тут не разживешься.

Когда мы уже уходили домой, ко мне подошел какой-то долговязый нестриженный парень и сказал:

— Махнемся?

— Что на что? — спросил я. Я вообще не любил меняться. Да и не на что у меня было.

— Твою авторучку на погон.

Парень вытащил из кармана брюк серебряный перовитый погон. Я никогда не видел погонов, а тем более немецких.

— Где достал? — спросил я.

Но парень не ответил. Он только повторил:

— Махнемся?

— Настоящий? — спросил я.

— А ты что думал!

Я с радостью отдал ему свою авторучку, хотя очень ею гордился. Она была у меня перламутровая, с позолоченным пером. Тетя Лида подарила мне ее, когда я перешел в шестой класс. Правда, я не писал этой ручкой, а носил ее для красоты в кармане куртки. В первый же день, когда тетка мне подарила ручку, я ее уронил и сломал перо.

Всю дорогу домой Шурка выпрашивал у меня погон, но я ему даже посмотреть как следует не дал, потому что Шурка положит в карман и скажет: «Я тебе завтра отдам», а потом попробуй заberi. Он же старше и сильнее.

Тетя Лида готовила обед. Это было очень кстати: есть хотелось ужасно. Я не пошел в комнату, а толкался около нее на кухне. Керосинка коптила. Тетя Лида сердилась на меня. Я не сходил вовремя за керосином, и пришлось занять у соседей.

На первое у нас был суп из чечевицы, заправленный гусиным жиром, на второе — пшенная каша, тоже с гусиным жиром. Я не знал, что гусиный жир такой вкусный. Почему я до войны никогда его не пробовал?

После обеда я лег на кровать и стал читать «Виконта де Бражелона». Погон я положил рядом с книжкой и все время поглядывал на него.

Тетя Лида пришивала пуговицы к моему демисезонному пальто.

— Крылов! — раздалось с улицы. Это кричал Шурка.

«Сейчас будет погон выпрашивать», — подумал я, но выглянул в окно.

— Крылов, иди сюда!

Я схитрил. Погон оставил дома, а сам вышел на улицу.

— Чего тебе? — спросил я. Я знал, что Шурке не на что выменять погон. Самое ценное, что у него было, — это головка от зенитного снаряда. Но снаряд был наш, а погон трофейный.

— Петын вернулся, — сказал Шурка.

— Из тюрьмы? — спросил я.

— С фронта, — сказал Шурка. — Пошли к нему?

Эта новость меня поразила. Петын был знаменито-

стью не только в нашем переулке, но и во многих переулках вокруг. Мы знали, что он карманник, ширмач. За год до войны он куда-то исчез. Говорили — попал в тюрьму. Это никого не удивило, потому что его забирали несколько раз.

Мы все очень боялись Петына и немножко уважали. Это был уверенный в себе, красивый, рослый парень. Ходил в хромовых сапогах «джимми», в жидетке, на лбу чёлочка. Левую руку Петын всегда держал в кармане: там он носил финку. Перед тем как исчезнуть из нашего переулка, Петын вставил себе золотой зуб и научился играть на гитаре. Песни, которые пел Петын, нам очень нравились. Особенно про Колыму, про вора, который мечтает, как он отбудет «срок приговора» и «на поезде в мягком вагоне» приедет к своей любимой. Петын хорошо играл на гитаре и слова выговаривал как-то по-своему, особенно вот этот куплет:

Воровать завяжу я на время,
Чтоб с тобой, моя крошка, побыть,
Любоваться твоей красотой
И колымскую жизнь позабыть.

Я уже говорил, что в нашем переулке было три одноэтажных дома. Самый лучший тот, что при церкви. Из толстых бревен, с мезонином, с двумя высокими крылечками и с сиренью в палисаднике. В мезонине жил Петын.

Мы вошли во двор и сразу его увидели.

Петын загорел, раздался в плечах за это время. Он сидел на крыльце в красноармейских брюках, грубых сапогах и заплатанной гимнастерке.

— Здорово, огольцы! — сказал он. — Пронюхали, что Петын вернулся?

Я не понял, рад он, что мы пришли, или нет. Мне-то он радоваться и не должен был, потому что я Петына боялся и редко подходил к нему. А Шурка его уважал. Раньше Шурка ему всегда за четвертинкой бегал. Один раз они даже голубей вместе гоняли.

— Здравствуй, Петын, — сказал Шурка. — Это правда, ты с фронта?

— А то откуда? — сказал Петын. — С луны, что ли? Сейчас весь наш народ — как один человек.

— Петын, — сказал я, — а говорили, что ты в тюрьме

— А ты, Фриц, вражеские разговоры не слушай, — сказал Петын. — Ты, Фриц, лучше на себя погляди.

Я понял, что он имеет в виду.

— Нет, правда, — сказал Шурка, — ты же сам говорил, что тебя скоро заметут... И потом, Петын, я тебя очень прошу: не зови ты его Фрицем. У него фамилия русская — Крылов, ты его лучше по фамилии зови.

— Так вот, огольцы, — сказал Петын, — если уж вам так про мою жизнь интересно, могу кое-что рассказать. — Петын закурил, как-то грустно усмехнулся и начал так: — Был Петын уркой, а стал честным человеком. Кровью смыл с себя позор.

Из кармана гимнастерки он вытащил какие-то бумаги и показал нам:

— Видали? Прибыл домой на поправку.

Мы заглянули в бумаги. Текст ее был напечатан на машинке, а какие-то слова вписаны чернилами.

— Глядите!

— «Проникающее ранение грудной клетки», — прочитал я.

— Навылет, — сказал Петын, — легкое пробили, гады! Но Петын еще даст им. Поправлюсь — и опять на передовую.

— А как ты на фронт попал? — спросил я.

— Как все, — сказал Петын. — Добровольцем. Сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть. Сейчас решается вопрос — быть всему нашему народу свободным или попасть в порабощение.

Я хотел спросить еще: а где же он был целый год до войны? — но не решился.

— Да вы садитесь, ребята! — пригласил Петын.

Мы сели на ступеньку пониже Петына.

— Я вам вот что, ребята, скажу. Был Петын уркой, а теперь честный человек, — повторил он свои слова. — В один день моя жизнь переломилась раз и навсегда. Возврата к прошлому нет. Был я вор, ширмач — преступник, одним словом. Если бы не тот случай, может,

моя жизнь и дальше текла бы в пропасть. Вот слушайте и запоминайте, как в жизни бывает...

Было это 10 июня сорокового года, как сейчас помню. От Киевского вокзала отходил экспресс Москва — Киев. В поезде разные командировочные. Лопатники грошами набиты. Пассажиры идут — на каждом лепень заграничный. — Петын посмотрел на меня и объяснил: — Ну, лопатник — по-воровски это бумажник значит; лепень — костюм. А чемоданы кожаные. Но я по чемоданам не работал. Вижу — идет один. Задний карман оттопыривается. Чую — что-то есть. У него в одной руке чемодан, в другой — портфель. Стал дверь на перрон открывать. Я вроде нечаянно о его чемодан споткнулся. «Извиняюсь, гражданин», — говорю. И дальше побежал — вроде тоже на поезд опаздываю. Захожу, значит, я в мужской туалет, кабинку на задвижку, открываю я этот лопатник, ну, бумажник, а там... Ну вот ты скажи: что там могло быть? — спросил Петын меня.

— План секретного завода! — выпалил я.

Шурка посмотрел на меня с удивлением:

— Чего?

И Петын вроде бы запнулся. А потом спросил:

— Ты книгу «Они просчитаются вновь» читал?

Я говорю:

— Читал.

И тут же понял, как я догадался, что было в бумажнике. Ведь про историю, которую рассказывал Петын, я знал из этой книжки.

— Ну вот... — сказал Петын. — Если ты эту книжку читал, значит, ты и историю эту правильно понимаешь. Там же все про меня написано. Только фамилия изменена. И поезд там другой назван. Для конспирации.

Шурка эту книжку не читал и поэтому смотрел на нас с Петыном с завистью.

— Ну, и дальше было все, как в книжке, — продолжал Петын. — Попал я в прокуратуру. Долго меня не пускали. Кто, зачем, откуда — спрашивают. Ну, я там этим мелким объяснять ничего не стал.

Провели они меня в кабинет. Кабинет, ребята, я вам скажу!.. Панели дубовые и двери двойные, чтоб ничего оттуда слышно не было. Вышел мне навстречу

этот самый, который книжку написал. Высокий из себя, красивый, волосы светлые. «Я вас слушаю», — говорит. А глаза у него пронизательные! Ну, думаю, спекся Петын! Этому надо всю правду выкладывать. Я сначала думал — скажу, на улице нашел. С этим, вижу, не пройдет.

«Явился, говорю, к вам Петр Петрович Грибков, по кличке «Петын». Не с повинной пришел, а просто другого пути у меня нет». Рассказал я ему эту историю, положил на стол бумажник. Посмотрел он план и говорит: «Это же есть наш самый секретный завод!» Стал спрашивать, какой из себя этот мужик, в чем одет. Я ему рассказал. Он к телефону. В Киев позвонил, чтобы задержали. А потом сел, открыл пачку «Казбека» и говорит мне: «Курите, Петр Петрович». С одного раза мое имя-отчество запомнил. Ну, думаю, если курить предлагает, значит, сейчас меня заметут. Так положено: как на допрос вызывают, говорят: «Закуривайте». Это поначалу так.

Я закурил. Он тоже закурил. Смотрит он на меня. А я устался в ковер и думаю: «Отбегал, Петын, отбегал. Но не жалко. Пусть я в тюрьме посижу, но зато этого шпиона на чистую воду вывел». Случайно, конечно. А он мне говорит: «Положено вам, Петр Петрович, за воровство по статье сто шестьдесят второй Уголовного кодекса РСФСР как минимум год тюрьмы, а как максимум — пять. Это если иметь в виду ваше прошлое. Но, учитывая вашу сознательность, скажу я вам спасибо, Петр Петрович, большое государственное дело сделали...»

Я слушал Петына и не верил своим глазам. Неужели передо мной человек, о котором написано в книге? Да, рассказ Петына полностью совпадал с тем, что я прочитал в книжке.

— А шпиона поймали? — спросил Шурка.

— Нет, — сказал Петын. — Шпиона не поймали.

— А в книжке написано, что поймали, — сказал я.

— Написано, что поймали, однако на самом деле не поймали, — вполголоса пояснил Петын. — Вы, ребята, должны понимать. Враг хитер. Он не стал до Киева ехать, где-то на полдороге сошел.

Нам всегда правилось, как Петын курит. Он затягивался глубоко и резко, папиросу держал между боль-

шим и указательным пальцами, а затаившись, сразу отрывал папиросу от губ.

Вот и сейчас, кончив рассказывать, он затаился так, что вдохнул в себя последние табачинки и закашлялся. Шурка смотрел на него с восхищением. Я тоже.

— Голубей гоняешь, Шурик?

— Куда... — вздохнул Шурка. — Не до голубей. Говорят, на чердаке ничего лишнего быть не должно.

— Хотя, конечно, — согласился Петын, — нынче всем не до голубей... Что нового в переулке? В эвакуацию многие драпанули?

Мы никогда так не говорили об эвакуированных хотя бы потому, что мы им не завидовали. Многие завидовали нам, оставшимся в Москве.

— Никто не драпанул, — сказал я. — Драпают только фашисты. Наши уехали в организованном порядке. Самые ценные учреждения, многосемейные с детьми.

Петын пропустил мои слова мимо ушей. Он умел так слушать, что я, например, смущался.

Из кармана своих военных штанов Петын достал пачку «Беломора» и протянул нам. Я вообще-то не курил, но, чтобы не унижаться, взял папиросу и стал дымить. Я боялся закашляться. Шурка закурил понастоящему, он вообще покуривал — Петын его раньше выучил.

— Ну, из вашего дома кто уехал? — спросил Петын Шурку.

— Из нашего? Стремоуховы, Яворские, Сальковы.

— Яворские — это из какой квартиры?

— Из семнадцатой, где Гавриловы, — объяснил Шурка.

— А Барыня? — еще спросил Петын.

— Матишина? Она здесь. Собирается только, — сказал я.

— А этот изобретатель?

— Здесь, — сказал Шурка. — Сам-то на работу поступил. Галя в госпиталь ходит медсестрам помогать.

Я хотел сказать, что у Андрея Глебовича сгорела дача, но промолчал. Что это — никому не говорил, а теперь скажу! Кстати, я вспомнил, что книжка про

шпионов «Они просчитаются вновь» сгорела вместе с дачей.

— Петын,— спросил я,— неужели того шпиона, у которого ты бумажник тыпнул, так до сих пор и не поймали?

— Поймаешь их...— усмехнулся Петын.— Они же под хороших людей маскируются.

— Но многих ведь поймали,— осторожно возразил Шурка.

— Многих, но не всех,— объяснил Петын.— Шпионов в нашей стране еще много. Если б не они, совсем другая была бы жизнь. Гитлер чем силен? Тем, что он у себя всех шпионов...— И Петын так точно изобразил повешенного, что мне на минуту их всех стало жалко.

Только на минуту или еще меньше.

А потом я подумал: кто же эти люди, которые шпионили против Гитлера? Выходит, они за нас.

Я не успел додумать до конца, потому что Петын продолжил объяснение:

— Вот возьмем ту же Барыню, мать Ишина. Она по существу, по нутру своему чуждый элемент. Дворянка, гимназию кончила.

— Она не кончила,— перебил я Петына,— ее выгнали. Она двоечница была. Мне тетка говорила.

— А ты, Фриц, помалкивай,— сказал Петын.— Ты, Фриц, молчи в тряпочку. Почему твоя тетка дала тебе нерусское имя? Что, русских ей не хватило?

— В честь Энгельса,— робко сказал я.— У нас в роду никого немцев не было. Вот у Андрея Глебовича бабушка была немка.

Я не знаю, зачем я так сказал. Ну зачем? Мне стало стыдно, но почему стало стыдно, я не понял. Отчего-то мне даже показалось, что Андрей Глебович, Доротея Макаровна и Галя просили меня никому об этом не говорить. А я вроде бы предал. Хотя я точно помню, что меня никто не просил. Я точно помню. Просто я пришел к ним еще до войны, и Галя показала мне альбом. Там было много всяких фотографий на толстом картоне. На одной фотографии я увидел женщину, чем-то похожую на Галю. Эта женщина играла на арфе или делала вид, что играет.

«Это моя прабабушка,— сказала Галя.— Она была известной красавицей в Саратове».

Я прекрасно понимал, что у всех людей есть прабабушки. И все-таки такая молодая и красивая прабабушка меня удивила.

«Она немка, урожденная Штеккер. И вышла за моего прадедушку Кириакиса. Он был тиран».

«Тиран? — удивился я как дурак. — Разве в Саратове были тираны?»

«Он не по профессии был тиран, а по характеру. Он не разрешил своей жене пойти на сцену. А это у нас в крови. По профессии же мой прадедушка был кондитер, известный в Саратове кондитер».

Вот такой был разговор. Я точно помню. Это еще до войны.

Петын и Шурка смотрели на меня.

— Что же ты раньше молчал? — прищурился на меня Шурка.

Сам не знаю, для чего я добавил:

— Она хотела стать артисткой, но ей муж не разрешил.

— Да... — Петын опустил голову. — Я всегда чувал в них что-то не наше, а что — не понимал. Теперь ясно.

Мне и теперь было неясно, и потому я стал с интересом слушать Петына, хотя говорил он больше не мне, а Шурке.

— Жила в Ленинграде одна семья. Назовем ее условно Сысоевы. Сам Сысоев японец. — Петын говорил, как читал. — И вот в результате расследования Сысоев оказался офицером одного генерального штаба, заброшенным к нам еще до революции, чтобы сообщать своему микадо про наш военно-морской флот. Между прочим, этот Сысоев был замечательный портной. Он высшего командному составу шил обмундирование. Кителя, клеши и так далее.

Шуркин отец тоже был хороший портной, и, наверно, поэтому Шурка отвел глаза в сторону.

— А кто Кириакис по нации? — спросил меня Петын.

— Грек, — сказал я.

— Да... — вздохнул Петын. — Оба вы, огольцы, глупые, у вас пыль на ушах.

Наступил вечер. Сережка, наверно, вернулся с за- вода и ищет нас, а мы сидим с Петыном и никак не можем уйти. Он молчит, о чем-то думает. Достал папи- росу. Для себя, нам не предложил. Сидит, курит, ду- мает. Может, о том шпионе. Может, о войне. Потом вдруг вспомнил про нас и говорит:

— Шурка, у Кобешкина водка есть?

— Не знаю, — ответил Шурка. — Вряд ли. От него последнее время динатуратом воняет.

— Значит, нет водки, — подвел черту Петын.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

Безногий сапожник Павел Иванович Кобешкин жил в подвале. В одной квартире с Байковыми. Он был не совсем безногий, а только частично. На одной ноге Кобешкин носил современный протез, и она каза- лась целой. Другая, отнятая по колено, кончалась де- ревяшкой, которую Павел Иванович во время работы отстегивал и клал рядом с верстаком. С одной стороны костыль, с другой — деревянная нога.

Все в доме знали, что ног Павел Иванович лишил- ся в первую мировую войну — в германскую, как гово- рил он сам. Знали, что он был в плену и там приобрел профессию сапожника. Кобешкин, когда бывал под му- хой — а под мухой он бывал ежедневно после обе- да, — любил рассказывать про то, какие сапоги он шил в плену офицерам и какие туфли шил офицер- ским женам. До войны Кобешкин часто говорил:

«В Германии товар не то что у нас. У них хром так хром, шевро так шевро. А дратва какая!»

Теперь Кобешкин говорил совсем иначе:

«У немцев товар — эрзац. У них все на эрзацах сделано. Чуть тронь — рассыплется».

Павел Иванович давно не шил новой обуви. Он был «холодный» сапожник, то есть чинил с ноги. Ко- му набойку, кому заплатку, кому каблук. Он сидел в будочке между двумя домами. С начала войны будоч- ку, по противопожарным соображениям, сломали, и теперь он работал дома.

— Пойдем к Кобешкину, — сказал Шурка.

«Наверно, Шурка или его мать, — подумал я, — отдали что-нибудь в починку».

Мы всегда ходили вместе и в магазин и за керосином. Пошли мы вместе и к Кобешкину. Я еще подумал, что Сережка вернулся с работы и неплохо бы поговорить с ним о Пetyне.

Павел Иванович Кобешкин, лысый человек с остатками рыжих волос возле ушей и на затылке, даже не посмотрел на нас, когда мы вошли и поздоровались. У него был полон рот гвоздей. Он вколачивал их в подметку ялового сапога.

«Трезвый», — понял я. Когда Кобешкин был пьяный, он всегда приветствовал ребят пионерским салютом. Для смеху.

После сноса будки все свое хозяйство Павел Иванович перенес домой, и комната показалась мне знакомой, хотя я был здесь первый раз.

Верстачок, полки для готовой обуви, ящики, куски кожи и резины на полу, деревянные колодки — все как в будке. Даже плакат-рекламу, украшавший будку, он перенес сюда и наклеил на стену своей комнаты. Плакат изображал смешную девчонку с челкой. Девчонка ела что-то из вазочки и ухмылялась. На плакате была надпись крупными буквами:

А Я ЕМ ПОВИДЛО И ДЖЕМ!

Шурка сел на скамейку. Я рядом с ним. Сапожник видел, что мы ничего не принесли, и потому посмотрел на наши ботинки. Не увидев ничего, объясняющего наш приход, он вопросительно поднял глаза.

— Петын с фронта вернулся, — сказал Шурка, как бы объясняя цель нашего прихода.

— Знаю, — сквозь гвозди сказал Кобешкин. — Скажи ему, чтоб зашел. Он мне с мирного времени три пятнадцать должен.

Три пятнадцать стоила четвертинка водки, и Шурка обиделся за Петына.

— Он же с фронта. Раненый.

— Я тоже с фронта. И тоже раненый, — буркнул Кобешкин.

Мне не понравился этот разговор. Никакого благородства не было у Кобешкина. Вколотив последние

гвозди и проверив рукой, не торчат ли они внутри сапога, Кобешкин откинул его в сторону.

— Хороший человек и к обуви хорошо относится, не доводит до ручки. У Гаврилова обувь по сто лет может носиться. А иные интеллигентики стаптывают так, что только из уважения с соседству берусь чинить.

Эта был намек на мою тетку. Она так стаптывала туфли, что никто, кроме Кобешкина, не брал их в ремонт.

Кобешкин был не в духе. Шурка взглянул на меня. Мы вышли в коридор.

— Зайдем? — спросил я.

— Давай, — согласился Шурка.

Я толкнул дверь Сережкиной комнаты и прямо перед собой увидел Галю Кириакис. Этого я никак не ожидал. Что она тут делает?

— Привет! — сказала Галя. — Ты всегдаходишь без стука?

Она сидела на диване в голубой вязаной кофте и в красной косынке, из-под которой выбивались черные волосы. Черные Галины глаза засмеялись, когда она увидела мою растерянность.

— Те же и Назаров, — сказала Галя, увидев Шурку.

Мы стояли в дверях как ослы. В это время из другой двери в глаженной белой рубашке с галстуком появился Сережка. Вместо того чтобы поздороваться с нами, Сережка сел на диван рядом с Галей. Он смутился больше, чем мы с Шуркой.

Никогда я не видел рядом Галю и Сережку. Они, оказывается, очень подходили друг другу. Совершенно белобрысый, белобровый и розовощекий Сережка и чернявая, загорелая Галя.

— Мы в трамвае встретились, — объяснил Сережка.

— И решили пойти в кино без вас, — добавила Галя. — В «Заре» идут «Истребители».

— Ты же шесть раз смотрел, — сказал я Альбиносу.

— Он хочет посмотреть седьмой раз. В новой обстановке, — объяснила Галя.

Сережка молчал как рыба.

— Эх, ты... — скривился Шурка.

Здесь нам делать было нечего. Мы вышли на улицу.
— Что ж ты ему не сказал, что Петын вернулся? — спросил я Шурку.

— А чего ему говорить... Он зазнался.

Мы разошлись по домам.

Я лег на кровать и открыл «Виконта де Бражелона».

Тятя Лида сидела за своим столом и проверяла аспирантские тетрадки.

Тарелка репродуктора передавала сводку Информбюро, а потом артист Дмитрий Николаевич Орлов стал читать рассказ Лескова о Левше. Этот рассказ теперь передавали чуть не каждый день, и тетка каждый раз включала радио на полную мощность. Ей радио никогда не мешало. А мне всегда мешало. Я же не Юлий Цезарь, чтобы одновременно читать и слушать.

Между прочим, моя тятя Лида была точно как Юлий Цезарь. Проверяет тетрадки, слушает радио и разговаривает.

— Что-то Андрей Глебович не был вчера в бомбоубежище... Это правда, что он пошел работать на завод?

— Да, — отвечаю я покороче. — Он эту неделю в ночную.

— На какой же завод он пошел работать? — спрашивает тетка.

— Арматурный, — отвечаю я.

— Что ж он там делает? Утюги?

Дались ей эти утюги...

— Это теперь секретный военный завод, — говорю я, чтобы защитить Андрея Глебовича от вечных нападок тети Лиды.

— Какой же он секретный?! — усмехается тетя Лида. — Там же водопроводные краны делают.

— Это раньше, — говорю я. — А теперь каждый знает, что там делают минометы.

Про этот маленький заводик действительно все в нашем переулке знают, потому что многие там работают. А вот про завод, где Гаврилов работает, никто ничего не знает.

— Если это теперь секретный завод, зачем же ты болтаешь? — спрашивает тетка. — Болтун — находка для шпиона.

— А зачем ты спрашиваешь? — злюсь я и захопываю «Виконта де Бражелона».

Артист Орлов читает про то, как тульские мастера подковывали английскую блоху и на каждой подковке свое имя написали, да так мелко, что только в пяти-миллионный мелкоскоп эти надписи прочитывать возможно. Сам же Левша для этих подковок гвозди ковал. Эти гвоздики ни в какой мелкоскоп не видать. Тетя Лида всегда в этом месте смеялась. И мне это нравилось. Тут я вспомнил, что как раз про это место спорил с Андреем Глебовичем на даче. Он говорил:

«Рассказ прекрасный, но тебе следует понять суть. Идея усовершенствования блохи технически нецелесообразна. Ведь самое пикантное в том, что раньше блоха прыгала, а в результате усовершенствования прыгать перестала. И вообще, рассказ скорее грустный, чем веселый».

Тогда на даче меня это рассуждение просто удивило. Теперь я подумал, что у Андрея Глебовича бабушка — немка и потому он так рассуждает.

— Тетя Лида, — спросил я, — как понимать пословицу: «Что русскому здорово, то немцу смерть»?

— Это надо понимать так, Фридрих, что у русских, с одной стороны, и у немцев, с другой стороны, разные привычки и склонности, иногда прямо противоположные.

Тетя Лида умела объяснить все. И все ее объяснения получались скучными. За последнее время она научилась не называть меня по имени, а уж если приходилось, то говорила «Фридрих». И на том спасибо.

Вечер наступал медленно. Читать мешало радио. А будет ли сегодня воздушная тревога, еще неизвестно. Тревоги были тогда не каждый день. Я надел курточку и пошел гулять.

Возле подъезда стояло несколько взрослых. Они горячо спорили, стоит эвакуироваться или не стоит. Они спорили об этом с июня и никак не могли прийти к единому мнению. Все упиралось в вопрос, когда кончится война — через полгода или через год. Были в нашем доме люди, намекавшие, что война может продлиться больше года. Понятно, что на таких людей все смотрели с презрением.

Сегодня у парадного оказались самые заядлые спорщики.

— Не больше трех месяцев, максимум полгода, — говорила Василиса Акимовна Одинцова, женщина солидная, носившая полувоенную форму и значок «Готов к санитарной обороне СССР». В нашем доме Одинцова командовала санитарным звеном и звеном охраны порядка.

— Дура ты, дура, — по-свойски говорил ей сапожник Кобешкин. Они были земляки. Кроме того, Кобешкин успел выпить и оттого чувствовал себя умнее других. — Ты посчитай, сколько километров нам до Берлина переть. С другой стороны, мы их не попрем, пока всех сил не соберем. Вот и посчитай, сколько верст от Байкала до Москвы, а потом от Москвы до Берлина, потом раздели на сорок.

— Почему на сорок? — спросила Матишина.

— Потому что русская пехота более сорока верст в день никак не может.

Я хотел сказать, что пехоту теперь возят на грузовиках и на танках, но не стал вмешиваться.

— Они Смоленск взяли, — вздохнула тетя Катя, Шуркина мать. Она была из Смоленска и говорила только про это.

— Французы тоже Смоленск брали, — сказала Доротея Макаровна. — А чем кончилось?

Чем кончилось с французами, знали все. Но тетя Катя перекрестилась.

Поглядев на нее, перекрестилась Матишина.

— Вова прислал письмо, — сказала она, — что скоро приедет и увезет меня на восток. А это значит, что война может затянуться. Если бы пять месяцев, не было резона уезжать.

— Покидать Москву сейчас, когда каждый человек нужен для противовоздушной обороны, могут только малодушные и паникеры, — внятно произнесла Одинцова. — Другое дело с предприятиями. Тут уж стратегия и тактика.

В это время в нашем переулке появилась шикарная длинная машина, светло-бежевый «ЗИС-101». Такие шикарные машины в наш переулок заезжали редко, чаще всего — развернуться. Они для переулков не приспособлены. Но этот светло-бежевый «ЗИС-101» я

знал: до войны на нем приезжала жена директора завода, которая шила пальто у Сережкиного отца.

«ЗИС» остановился недалеко от нашего парадного, и оттуда вылез слесарь Гаврилов в рабочем комбинезоне и небритый, может, дней пять или семь. Какой-то человек в шляпе и в очках высунулся из машины и сказал Гаврилову, вроде как подлизываясь:

— Вы отдохните, хорошо отдохните, Егор Алексеевич, а завтра за вами Витя подъедет. До свидания, Егор Алексеевич.

— Да, ладно,— ответил Гаврилов,— чего его гонять? Вы лучше к завтраму алмазные резцы обеспечьте.

— Да хоть бриллианты, — устало улыбнулся человек в очках и в шляпе.

— Бриллианты пока не нужны, а без резцов я...

— Обязательно, обязательно, — серьезно сказал человек в очках и в шляпе, придерживая дверцу.

— До свидания, — простился с ним Гаврилов. — Вы не волнуйтесь, Евгений Валентинович, все будет к сроку:

Машина отъехала, и Гаврилов подошел к нам.

По-моему, мы все стояли разинув рты и смотрели, как в нашем узком переулке разворачивается длинный светло-бежевый «ЗИС-101».

Что я знал про Гаврилова? Ну, во-первых, что у него пять дочерей. С Зойкой, самой старшей, я учился в одном классе. Каждое лето жена Гаврилова со всеми детьми уезжала в деревню. К первому сентября они возвращались. Уехали они и на это лето. Еще я знал, что Егор Алексеевич Гаврилов и Сережкин отец, Степан Иванович Байков, из одной деревни и что это Гаврилов помог устроить Сережку на завод учеником.

— Товарищ Гаврилов, — с особым почтением, какое я замечал чаще всего у людей выпивших, сказал Кобешкин, — ваши сапожки готовы, можете забирать.

— Спасибо, Павел Иванович, потом как-нибудь, очень спать хочется.

— Конечно, на кой ляд вам сапоги, вы теперь только в наркомовских машинах ездите, — неожиданно обиделся сапожник. — Вам теперь всю зиму в тапочках можно ходить.

Одинцова загородила Кобешкина своей широкой спиной и спросила:

— Гаврилов, скажи-ка нам, пожалуйста, когда кончится война?

— Через четыре месяца кончится? Но ведь не более года? Не более? — с надеждой спросила Доротея Макаровна.

— Это было бы кошмарно... — сказала мать Вовки.

Приди Гаврилов пешком, его бы так не допрашивали. Но он приехал в шикарной машине и говорил с человеком в шляпе об алмазах и бриллиантах.

Я тоже внимательно смотрел на Гаврилова и ждал, что он скажет. А он поморгал, как человек, который только что проснулся и еще хочет спать, и переспросил:

— Вы про что?

— Про войну. Каков ваш прогноз? — сказала мать Вовки Ишина.

Гавриловы жили как раз над ней. Это между их окнами висел скворечник, приколоченный к ноге женщины с прямым носом. Я когда-то думал, что это Гаврилов прибил скворечник, и спросил об этом Зойку. Мы тогда еще во втором классе учились. Зойка сказала, что скворечник у них общий, напололам с Ишиным. Но ей в то время верить было нельзя. Она до четвертого класса все время врала. Потом я забыл про этот скворечник, потому что в нем все равно никто не жил.

— Наша дискуссия носит принципиальный характер, Егор Алексеевич, — добавила мать Вовки Ишина. — Немцы сами сбросят Гитлера, потому что народ Гёте и Вагнера, Бетховена...

— Я с ней каждый день спорю! — зло посмотрев на Барыню, перебила Одинцова. — Она говорит: может, год.

— Ну-ну, спорьте, дискутируйте, — сказал Гаврилов и шагнул в глубь парадного.

— Егор Алексеевич, — с мольбой произнесла тетя Катя, — ты уж скажи нам. У меня мать с сестрой в Смоленске остались.

Гаврилов задержался в подъезде и, повернув к нам свое заросшее щетиной лицо, сказал:

— Бросьте вы ерундой заниматься: год, полгода... Года два, если не три!

Мы слушали, как Гаврилов поднимается по лестнице. Мы молчали долго, пока не затихли его шаги.

— Паникер! — сказала Одинцова. — Злобный паникер, сеющий злобные слухи.

— Пойду отнесу ему сапоги, пусть подавится! — сказал Кобешкин. — Хорошо ему в машинах ездить...

— Это минутное настроение, так сказать состояние аффекта, — сказала Барыня-Матишина. — Но в такое время человек должен владеть собой. Обязан владеть собой. Воспитанный человек — тот, кто умеет скрывать свои чувства.

— Зажрался, паразит! — не унимался Кобешкин. — Отнесу ему сапоги и кину в морду. Брильянтов ему надо... дерьма ему надо!

Все ругали Гаврилова так сильно, что я даже пожалел его. Мало ли что человек может брякнуть не подумав! По себе знаю.

— Он еще ответит за свое паникерство! — грозилась Одинцова.

Тут подошли Петын и Шурка и стали слушать, как ругают Гаврилова.

Петын сказал:

— Гаврилов — рабочая аристократия. Ему все равно — русские ли, немцы, французы, австралийцы. Ему на народные нужды наплевать. Такие люди при любом режиме жить могут — и при фашистах и при коммунистах. Везде сыты и обуты...

— Ты мне лучше три пятнадцать отдай, — неожиданно сказал Петыну Кобешкин.

— Крохоборничаешь, единоличник... — Петын медленно достал из кармана пятерку и передал ее Шурке. — Отдай ему, Шурик, мне неохота с этим типом разговаривать.

Кобешкин деньги взял и тут же заковылял к себе в подвал.

Я разозлился на Петына и Шурку. Петын всегда Шуркой командовал, а Шурка — как кролик дрессированный. И еще мне не нравилось, что Петын называет его Шуриком.

— Вот что, Василиса Акимовна, — сказал Петын как ни в чем не бывало, — я отдохнул, обратно на фронт мне еще не скоро, так что ты возьми меня в

свой отряд. Буду помогать защищать столицу от нападения с воздуха.

— Правильно! — обрадовалась Одинцова. — Сейчас каждый человек нужен, особенно мужчина. Поидешь в звено охраны порядка!

— Всегда готов! — согласился Петын. — В случае тревоги куда мне являться?

— Лично ко мне, — объяснила Одинцова.

— Пошли, Шурик, — сказал Петын. — Теперь и я при деле.

Они пошли в дом Петына. На меня Шурка даже не оглянулся.

‘Ну и не надо, «Шурик»!..» — подумал я.

Петын всех своих дружков называл по-особенному. Не Витька, а Витек. Не Толя, а Толик. Не Миша, а Мишаня.

Я пошел домой и, не зажигая света, сел у окна. Вот придет из кино Сережка, мы с ним все обсудим. Да и тревога, наверно, будет. На крыше-то мы встретимся обязательно.

Я не увидел ни Сережку, ни Галю. Налета в этот день почему-то не было, и я долго читал «Виконта де Бражелона». Потом я узнал, что Сережка и Галя после кино залезли на крышу и сидели там вдвоем. Это глупо. Могли бы меня позвать.

КАНИСТРА

Вы знаете, что такое канистра? Ну вот, а я в то время не знал. Тогда не было канистр. Ни металлических, ни пластмассовых.

Между прочим, из-за этой трофейной немецкой канистры на двадцать литров я позволил себе оскорбить человека. Теперь я понимаю, что история со скворечником была бы куда проще и яснее, если бы не эта трофейная канистра.

В то время на заводах работали в две смены, каждая по двенадцать часов.

Только подростки работали восемь.

Однажды утром к нам в квартиру пришел Андрей Глебович. Он поговорил о чем-то с тетей Лидой, а потом сказал мне:

— Хочешь пойти со мной за трофеями? Поможешь нести.

Мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком по какой-то кривой улице с длинным забором. Андрей Глебович с портфелем впереди, я — чуть поотстав. Наконец мы остановились у перекошенных ворот. Над воротами была вывеска: «Склад вторсырья».

Андрей Глебович очень вежливо поздоровался, назвал себя.

Охранник в полувоенной форме с петлицами и с берданкой, надетой как охотничье ружье, долго рассматривал бумажку, которую протянул ему Андрей Глебович. Я думал — не пустит.

— Сами будете отбирать или мне помочь? — спросил охранник.

— Только сам, — сказал Андрей Глебович. — Мне это нужно для научного эксперимента. Я инженер-изобретатель и буду искать на вашем складе «жемчужное зерно».

Каждый знает, что жемчужное зерно ищут только в навозной куче. Однако охранник на это почему-то не обиделся.

— А мальчонка? — спросил он про меня.

— Это мой ассистент, — сказал Андрей Глебович.

Никогда я не думал, что я ассистент, потому что ассистенты, так мне всегда казалось, бывают только у профессоров и фокусников.

— Ну пушай... — равнодушно сказал охранник, не взглянув на меня. — Только нынче у нас мало чего есть. Вчера пять машин на переплавку отгрузили.

В общем, это был никакой не трофейный склад, а просто свалка металлолома. В отдельной куче лежал металлолом трофейный, то, что уже никуда не годилось. Потом, после разгрома фашистов под Москвой, металлолома были горы. А тогда я увидал небольшую кучку.

Первое, что бросилось в глаза, — гусеница танка. Она была вытянута по земле и пролежала через лужу, как мостик. Вслед за Андреем Глебовичем я с удовольствием прошел по этому мостику.

Среди ржавых и покореженных железок трудно было выделить что-либо стоящее или просто хоть на что-нибудь похожее. Хотя нет, я увидел немецкую кас-

ку и поднял ее с земли. Каска казалась целой, но спереди у нее было маленькое ровное отверстие. «Пуля!..» — догадался я. Значит, одним фашистом меньше. Я представил себе нашего снайпера, винтовку с оптическим прицелом...

— Брось эту гадость, — сказал Андрей Глебович, — иди сюда. Тут кое-что попадается.

В руках у Кириакиса был непонятный предмет.

— Вот видишь, это домкрат. Оригинальная конструкция. И совершенно целый. Такая маленькая штуковина поднимает до трех тонн. А может, и до пяти. Ценная штука.

Не успел я разглядеть этот домкрат, как Андрей Глебович сунул его в мешок. Видно, мешок он принес в портфеле.

Мое внимание привлек скособоченный мотор. Он был расколот, и я увидел днища поршней и закопченные клапаны.

— Это авиационный? — спросил я Андрея Глебовича.

— Скорее всего, — ответил он. — Я мало понимаю в двигателях. Тут бы Владимиру Васильевичу посмотреть.

Андрей Глебович говорил о Вовке Ишине.

Рядом с двигателем я увидел какую-то штуку, похожую на железную кепку, вернее, на гриб мухомор, у которого вместо круглой шляпки разноцветная кепка с длинным козырьком. Из ножки гриба торчали три проводка, а под козырьком была узкая застекленная щель.

— Что это? — спросил я Кириакиса.

Он взял гриб в руки, долго вертел его, прочитал надпись по-немецки: «Notek». Это и я прочитал, хотя по немецкому у меня всегда были посредственные оценки.

— Что такое «нотек»? — еще раз спросил я.

— Молодец! — вместо ответа похвалил меня Андрей Глебович. — Ценная находка. Как я понимаю, это светомаскировочная фара. Свет бьет из-под козырька через эту щель, равномерно освещает дорогу, и притом самое пикантное, что источник света остается невидимым. Я слышал об этих фарах, но вижу впервые.

Судя по всему, наладить их серийное производство не так уж трудно.

Гриб он тоже сунул в мешок.

— Ну, кажется, кое-что выловили, — сказал Андрей Глебович.

— Пора идти? — спросил я, жалея, что для себя лично я среди этих трофеев ничего не нашел. Гриб мне был ни к чему, а Кириакису нужен для дела. Может, он действительно наладит их производство, и наши машины будут ездить по дорогам и оставаться невидимыми для фашистов.

Андрей Глебович протянул мне портфель, взвалил мешок на плечи и еще раз обошел кучу металлолома. Я стоял над каской и думал: не забрать ли ее все же домой? Вдруг Андрей Глебович окликнул меня. Голос у него был взволнованный.

— Наконец! Наконец нашел!

То, что он нашел, ни на что не было похоже. Какая-то продолговатая коробка с тремя ручками и горловиной. Бидон, просто бидон. И к тому же по этому бидону проехал автомобиль. Чему тут радоваться?!

— Неси, Федя: это то, что я искал, — сказал Андрей Глебович. — Это канистра. Моя канистра.

Андрей Глебович впервые назвал меня Федей. Ведь он сам говорил Гале, что Федя — это Федор, Теодор, но никак не Фридрих.

Охранник нас выпустил, не проверив, что мы несем. Он только подозрительно осмотрел самого Андрея Глебовича. Наверно, потому, что у того было очень веселое лицо.

Мы опять долго шли по кривой улице, ехали на трамвае.

В квартире Кириакисов мы выложили все на паркет.

Доротея Макаровна стала накрывать на стол.

— погоди, — сказал Андрей Глебович. — Надо произвести один опыт, а потом с чистым сердцем и спокойной душой можно обедать.

— Ты не забыл, что тебе в ночь? — предупредила Доротея Макаровна. — У тебя опять разыграется язва.

Я очень устал, и мне хотелось есть. Но Андрей Глебович спокойно сказал жене:

— Дай мне примус.

Когда он говорил спокойно. Доротея Макаровна всегда слушалась его. Впрочем, он, как я заметил, всегда говорил спокойно.

Дальнейшее было мне не очень понятно. Андрей Глебович налил воду в сплюсненную канистру, мне дал нести еще горячий примус, на котором только что варился суп, и мы вышли во двор.

Недалеко от помойки мы развели примус. Андрей Глебович закрыл канистру и боком положил ее на кирпичи, сложенные вокруг примуса. Я молчал, хотя не понимал, зачем все это. Примус горел ровно, потому что кирпичи загораживали его от ветра. «Зачем ему кипятить воду в этом смятом бидоне?» — думал я.

— Отойди за угол и предупреждай всех, кто захочет подойти, — сказал Андрей Глебович. — Она может взорваться.

Теперь я понял, что он хочет взорвать канистру. Но зачем ему взрывать ее, если она и так никуда не годится?

— Самое пикантное теперь — это вовремя выключить примус, — нарушив мои размышления, сказал Андрей Глебович.

Он сегодня второй раз говорил «самое пикантное».

Я отошел к углу дома и смотрел, что будет дальше. Лично я не верил, что канистра взорвется. В лучшем случае вышибет пробку.

— У нее пробка вылетит! — крикнул я Кириакису. — Вы встаньте так, чтобы вас пробкой не ударило.

— Пробка эта никогда не вылетит, — уверенно сказал он. — Пробка здесь самая надежная часть. Скорей разойдутся сварные швы. Марш за угол! — крикнул он.

Я невольно шмыгнул за выступ стены и ждал взрыва. Вместо взрыва я услышал шипение выключенного примуса и, когда выглянул из-за угла, увидел, что канистра раздулась, что все ее вмятины выправились и она стала даже слегка пузатенькой. Примус потух.

— Гениально! Гениально! — восклицал Андрей Глебович, кружась возле примуса.

«Да, ничего не скажешь, действительно гениально, — подумал я. — Даже Ползунов и Уатт не догадались бы, наверно, использовать силу пара, чтобы выправлять помятые бидоны». Но меня почему-то раз-

дражали восклицания Кириакиса и его танец вокруг потухшего примуса.

За обедом Андрей Глебович все время посматривал на свою пузатенькую канистру и потирал ладони. Посмотрит на канистру, подмигнет мне здоровым глазом, положит ложку, потрет руки и опять возьмет ложку.

Между прочим, обед был очень вкусный — и суп и котлеты. Тетя Лида не умела так хорошо готовить, у нее получались только пироги, и то три раза в год — 7 Ноября, 8 Марта и 1 Мая.

Андрей Глебович, видно, привык к вкусным обедам своей жены, потому что все время отвлекался и хвастал передо мной:

— Эх, малыш, учись, пока не поздно. Вот смотри на меня. Я изобретатель. Неплохой изобретатель, но все же не то. Если бы мне настоящее образование и если бы я знал математику, физику, химию, сопротивление материалов, я был бы не просто талант, я был бы Эдисон или Эйнштейн. Вовка (теперь он называл Ишина не Владимиром Васильевичем, а просто Вовкой), окончил знаменитое Московское высшее техническое училище имени Баумана — МВТУ. Он тоже талант. Но я бы с его знаниями... У меня что — музыкальное училище, сольфеджио и нотная грамота, бемоли и диэзы!

— А он?.. — спросил я. — Он что изобретает?

— Ну, он... Он головастый парень. Над чем он работает, нам с тобой и не понять, если бы даже рассказал. Да он и не скажет.

— Он самолеты изобретает? — спросил я, невольно проникаясь уважением к человеку, который работает над чем-то очень секретным.

— Самолет изобретен давно, — назидательно сказал Андрей Глебович. — Он, видимо, усовершенствует двигатели или даже создает их заново. Вовка с детства о межпланетных полетах мечтал. Он еще в школе всего Циолковского вызубрил.

Надо сказать, что меня тогда межпланетные полеты интересовали меньше всего. Я прочитал только «Из пушки на Луну» Жюль Верна. Но эта книжка понравилась мне куда меньше, чем «Таинственный остров».

— Я как-то по соседству зашел к нему годика два назад, — продолжал Андрей Глебович. — Володя си-

дит, что-то пишет. Заглянул через плечо — одни формулы... Однако и я не унываю.

Мы перешли уже к компоту. Компот тогда еще был в магазинах. За маслом и мясом стояли очереди, а компот еще был.

— Я не унываю. Я тоже на своем месте. У меня ведь шесть изобретений. Шесть патентов. Потому что в мире есть еще многое, что нужно изобрести. Вот возьми немец. Что ни говори, а они по этой части большие молодцы.

— По какой части? — насторожился я. Интересно, по какой это части молодцы немцы?

— Ну, по части бытового и вспомогательного изобретательства. Да и не только.

— Никакие они не молодцы! — отрезал я. — Если бы они были молодцы...

Что бы они сделали, если бы они были молодцы, я не знал и потому рассердился еще больше.

Андрей Глебович словно и не заметил моего тона. Он вылез из-за стола и взял канистру в руки.

— Посмотри, какая простая штуковина! Что это? Простой бак. Емкость, так сказать. Для горючего — бензина, керосина или смазочных масел. Мелочь? Нет, не мелочь. Самое пикантное, что это не мелочь.

Он сегодня в третий раз произнес эти слова-паразиты.

— Техническая находка здесь прекрасна. И моя задача — как можно скорее запустить такие канистры в производство.

Он стал крутить канистру перед моим носом.

— Простейший штамп. Чуть сложнее — с горловиной. Минимум сварочных швов — все. Мелочь? Да. Но мелочи изменяют лицо мира! Это не просто емкость. Это еще и понтон. Тело, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько...

— Знаю, — сказал я. — Проходили.

Андрей Глебович не обратил на мои слова никакого внимания.

— Если принять вес канистры за два килограмма, значит она может держать на воде восемнадцать. Легко сосчитать. Допустим, вес автомобиля — три тонны. Значит, сто семьдесят — двести канистр, на них доски — и готов понтонный мост, по которому пройдет ав-

томобиль. Под эти ручки легко просунуть доски на всем протяжении моста. Можно составить не двести, а две тысячи штук. Такой мост практически непотопляем.

— Чепуха! — сказал я.

Андрей Глебович так удивился, что молча уставился на меня.

А я представил себе, как через нашу русскую речку по соединенным досками канистрам, громыкая, идут фашистские танки и грузовики с солдатами, кричащими: «Хайль Гитлер!» Тетя Лида часто говорила, что у меня слишком хорошее воображение и мне это будет мешать в жизни.

— Чепуха! — злорадно повторил я. — Что русскому здорово, то немцу смерть. Вам потому нравится все немецкое, что у вас бабушка немка.

Доротея Макаровна ахнула, а я встал из-за стола и подошел к окну.

Передо мной была колокольня. Колокольня с пустыми, зияющими арками. Там летали вороны. Белая-белая колокольня, как палец с острым наперстком, уходила в серое небо.

За моей спиной не раздавалось ни звука. Лучше бы мне дали пощечину и выставили за дверь.

— Что с тобой, мальчик? — спросил Андрей Глебович.

Я и вправду не знал, что со мной. Мне вдруг захотелось плакать.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — еще тише спросил Андрей Глебович.

— Понимаю! — крикнул я на всю комнату. — Очень хорошо понимаю. Немцы убивают наших советских людей, а вы говорите, что они молодцы!

— Ты с ума сошел! — с ужасом сказала Доротея Макаровна. — Выпей воды. Разве можно так говорить со старшими?! Ведь Андрей Глебович тебе в отцы годится. Одумайся, Фриц!

— Я вам не Фриц! — каким-то тонким голосом закричал я. — Я вам не Фриц, и вы не годитесь мне в родители. Я Крылов, у меня фамилия есть! Я русский! А вы немцы, немцы! И вы немка, Доротея Макаровна!

— Вон! Вон отсюда! — зарычал Кириакис.

Я бросился к двери. Слезы застилали мне глаза.

— Погоди! Погоди! — кричала вслед Доротей Макаровна. — Погоди, дурачок! Я не немка, я русская. Я Дарья. Понимаешь — Дарья. Дарья Макаровна Новичкова.

Но я не слушал. Я выскочил в прихожую и чуть не сбил с ног Барыню, которая возле вешалки снимала с себя бархатное пальто.

СЕРЕЖКА-АЛЬБИНОС

Хорошо, что тети Лиды не было дома. Я пришел в таком состоянии, что она наверняка полезла бы ко мне с вопросами. Что я мог ей сказать?..

Тятя Лида никогда меня не понимала, хотя и воспитывала с трех лет. Моя мама была врачом и умерла во время какой-то эпидемии. Я ее не помнил совсем. Отец работал строителем и все время разъезжал по разным Магниткам, Кузнецкам, Игаркам, то есть по городам, о которых я знал только из учебника географии. Отец утонул в Енисее, когда мне было шесть лет. Его я помню. Он ходил в сапогах и гимнастерке под широким ремнем. Я знал, что он воевал на Гражданской войне, что у него было именное оружие — наган от самого Климента Ефремовича Ворошилова. Нагана этого у нас не осталось, потому что отец всегда носил его с собой и вместе с ним утонул.

Мне всегда казалось, что он утонул, как Чапаев, переплывая реку, и что по нему стреляли враги. Я знал, что это не так, что на самом деле отец утонул зимой. Ночью шел с какого-то совещания и провалился в полынью.

У нас в Москве от отца осталось только удостоверение на право ношения оружия и его письма к тете Лиде. Мне он писем не писал, потому что я тогда еще не умел читать. Письма все были похожи одно на другое. Все они начинались словами: «Строители и изыскатели в моем лице приветствуют вас, дорогая сестрица, из далекого...» Потом шло название города, который был уже построен или еще только строился. Заканчивались письма также одинаково: «Коту Ваське передай....» Дальше шло, что нужно передать мне, потому что отец чаще всего называл меня котом Васькой.

Насколько «Васька» лучше «Фрица»!

Тетя Лида говорила, что котом Васькой я стал, когда съел всю сметану, которую она приготовила для борща. Это было очень давно. Отец с матерью приехали в Москву к тете Лиде. Они разговаривали и ждали, пока сварится борщ. А я съел всю сметану. Я лично этого не помню.

Честно говоря, мне с тетей Лидой было неплохо, хотя мы совершенно разные люди. Во всяком случае, я никогда не понимал, почему в книжках так жалеют сирот. Меня в нашем доме никто не жалел. Даже наоборот, сапожник Кобешкин однажды сказал:

— Тебе, пионер, полная лафа, потому что тетка лучше, чем отец с матерью. Меня отец вожжами бил, а мать — скалкой.

Конечно, меня бы мои родители не били, но, с другой стороны, это тоже неизвестно, потому что в жизни всякое бывает. Тетка и та иногда жалела:

— Бить тебя некому!

Обо всем этом думал я, лежа на своей кровати. Слезы просохли, но жалость к самому себе не проходила. В тот день я, может быть, впервые почувствовал, как мне нужен отец. Я бы рассказал ему про Кириакисов и про канистру. Он бы взял наган, пошел к ним и во всем разобрался. Во всем!

В чем во всем, я не очень понимал, но чувствовал, что я разобрался не во всем. «Что-то не так; что-то не так», — думал я. И меня злило, что я разревелся, как девчонка. Хуже всего, если они заметили, что я плакал.

Встав с кровати, я включил радио. Передавали песни советских композиторов.

«Песня из кинофильма «Остров сокровищ».

Я очень любил эту песню, начал подпевать и немного повеселел.

Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

Я посмотрел на себя в зеркало. Лицо у меня круглое и совершенно незапоминающееся. Я всегда удивлялся, как меня отличают от других ребят. Сначала я думал, что по одежде. А потом догадался: у других-то

лица запоминающиеся! Сережка, например, белобрысый, с белыми ресницами и розовой кожей. Шурка черный и красивый. А я не черный и не белый, не красивый и не урод. Так меня и отличали от других ребят.

Вечером я слонялся по переулку и ждал Сережку. Шурка сидел у Петына. Он несколько раз звал меня послушать, какие новые песни поет Петын. Я не мог пойти, мне нужно было дожидаться Сережку, встретить его, рассказать про Андрея Глебовича и предупредить насчет Гали.

Конечно, думал я, это еще не значит, что все Кириакисы наши враги. Может быть, он ничего плохого нам и не делает. Но тут ухо надо держать востро. Не зря же ему так нравится немецкая канистра, а то, что Левша подковал блоху, вызывает возражения. Кровь говорит. И ему, видите ли, не нравится, что блоха перестала прыгать. Он говорит, что это технически нецелесообразно. А зачем ей, собственно говоря, прыгать? Она же не живая. Наверно, в нем кровь говорит. Голос крови. Я где-то читал про это.

Потом я подумал, что Андрей Глебович работает на военном заводе. Хотя и арматурный, однако теть-то военный. Он может знать тайны. Нет, твердо решил я, тут молчать нельзя. Я должен предупредить Сережку, рассказать всю правду. Он комсомолец, он лучше меня в этом понимает и сам работает на авиационном заводе. Пусть Сережка разберется, пусть поговорит с Галей, потому что Галя тоже комсомолка, потому что она ходит в госпиталь и хочет стать медсестрой.

А если и она думает, как ее отец? Если и она... Недаром же говорят, что яблоко от яблони недалеко падает.

Темнело, и становилось холодно. Возле подъезда ничего не было.

В окнах спустились светомаскировочные шторы. Тихо. Только из деревянного домика, где живет Петын, изредка доносятся его голос и звон гитары.

Вдруг из-за церкви появились двое.

Я так и знал. Сережка Байков, как назло, шел вместе с Галей Кириакис. Неужели они опять случайно встретились в трамвае?

Так или иначе, а времени терять нельзя. Я пошел

им навстречу. Я не знал, как с ними здороваться, и Галя опередила меня:

— Привет, Федя! Ты нас ждешь? Соскучился?

Я кивнул и трусливо пробормотал:

— Мне с Сережей надо поговорить. Наедине.

— Успеешь наговориться, — сказала Галя. — Почему к нам не заходишь? Отец говорил — ты ему за чем-то нужен. Зайди сейчас, а то он на работу уйдет.

— Спасибо. — Я ответил так, чтобы она поняла. — Большое спасибо. Я уже заходил к вам.

Галя положила мне руку на голову и заглянула в глаза.

Или потому, что она такая красивая, или еще почему — не знаю, но мне вдруг опять стало себя жалко.

— Мне с Сережкой поговорить надо. Он тебе все потом расскажет, — пробубнил я и отвернулся.

— Ну ладно, — сказала Галя. — Секрет есть секрет. Только ты не расстраивайся. Все будет хорошо.

Недаром мне себя стало жалко. Вот меня уже и другие люди жалеют.

Галя помахала Сережке рукой. Она как-то очень красиво помахала рукой. Наверно, ее в балетной школе научили. Она пошла вперед. Мы отстали.

— Что-нибудь срочное? — спросил Сережка.

— Да. Очень срочное и очень секретное.

— Долгий разговор?

— Долгий.

— Тогда пойдем ко мне, все подробно расскажешь. Мать нам мешать не будет.

Мать Сережки, тетя Клава, широколицая, незаметная, всегда молчаливая женщина.

— Здравствуйте, ребятки, — сказала она, отворив дверь. — Проходите, сейчас ужинать дам.

Сережка долго мылся. Мать возилась на кухне. Я сидел один, и мне захотелось есть. Сегодня такой день, что я и обедаю и ужинаю в гостях. Пообедал у Кириакисов и поругался с хозяевами. Не хватает только, чтобы я после ужина поругался с Сережкой.

Мы ели с Сережкой из одной сковородки. Картошка была поджарена на постном масле и заправлена луком. Запивали мы картошку сладким чаем. Тетя Клава не ела с нами. Она сидела, подперев голову кулаками, и смотрела на сына. За весь ужин она сказала

только, что целый день простояла в очереди за мясом, но мяса ей не хватило.

— Война, мама, — ответил Сережка, будто мать сама этого не знала.

Когда сковородка опустела и чай был допит, Сережка посмотрел на меня и сказал матери:

— Нам с Крыловым поговорить надо. Вы извините, мама.

У них так в семье принято. Сережка и отца и мать называл на «вы».

Мы остались вдвоем, я долго не знал, как начать.

— Ну, — поторопил Сережка, — какие у тебя секреты?

— Я к тебе как к старшему товарищу, как к комсомольцу, — начал я строгим голосом. — Это вопрос государственный. Только выслушай меня внимательно.

Сначала я рассказал про то, как у Кириакиса горела дача, и про то, что Андрей Глебович был совершенно спокоен. Будто это не его дача горит. Я честно признался, что тогда ничего не заподозрил. Просто подумал: вот какой спокойный человек! Я совершенно упустил из виду, что у него бабушка чистокровная немка, урожденная Штеккер.

Сережка нахмурился.

— Я понимаю, — сказал я, чтобы он не обиделся, — ты дружишь с Галей. Но ведь дочь за отца не отвечает.

— Давай, давай, — кивнул Сережка, — я слушаю.

Я сказал, что на мысль о симпатиях Кириакиса к немцам меня натолкнул Петын и, если бы не он, я до сих пор ходил бы, развесив уши на просушку. Потом я вспомнил, как мы спорили с Андреем Глебовичем про Левшу, который подковал блоху, и что не зря ему не нравится этот замечательный рассказ. Наконец дошла очередь до сегодняшнего дня. Я рассказал, как он восторгался немецкой светомаскировочной фарой, как танцевал вокруг примуса, как восхвалял немецкий бидон под названием канистра.

— И главное, — дрожащим голосом закончил я, — он сказал: молодцы.

— Как он точно сказал? — спросил Сергей.

Я постарался вспомнить точно и повторил слова Андрея Глебовича:

— Он сказал, что немцы — молодцы. Понимаешь, Сережка, ведь он работает на очень важном заводе, а говорит, что немцы — молодцы. «Они в этом деле молодцы».

— В каком? — очень строго спросил Сергей.

— Нет, он сказал: «Они по этой части молодцы».

— По какой? — настаивал Сергей, и мне не понравилось, что он так настаивает на мелочах.

— По части изобретений, — сказал я.

— А ты как думаешь?

Я молчал, потому что никогда про это не думал.

— Ты думаешь — они дураки?

— Они хитрые. А он их восхвалял.

— Так, — сказал Сережка. — Значит, они в технике довольно хитрые. Можно даже сказать, что у них есть отдельные достижения. Так?

— Так, — искренне согласился я.

— А раз так, значит, то, что он хвалил их достижения и говорил о необходимости перенимать у них лучшее, не значит, что он их восхвалял. Так?

Теперь я не согласился.

— Если бы ты видел, как он вертел эту канистру перед моим носом!

— А как ты вертел передо мной немецким погоном? — перебил меня Сережка. — И ведь ты выменял немецкий погон на нашу советскую авто-ручку.

Такой подлости я от Сережки не ожидал.

Одно дело я, другое дело Кириакис. Неужели я и с Сережкой поругаюсь сегодня?

— Сравнил! — сказал я. — Ты же меня знаешь!

Сережка как-то странно на меня посмотрел.

— Знаю. Допустим, что знаю. А ты Андрея Глебовича знаешь?

— Знаю, — сказал я.

— Ну вот! — чему-то обрадовался Сережка. — Ты знаешь Андрея Глебовича и подозреваешь его. Я знаю тебя и подозреваю тебя. Шурка знает меня и будет меня подозревать.

— Конечно, — сказал я, — мы должны зорко следить друг за другом.

— Так прямо и следить?

— А что же, — сказал я, — следить!

— Ну, следи, — сказал Сережка, — следи. Может, из тебя Шерлок Холмс вырастет.

Я обиделся. Пришел поговорить с ним как с комсомольцем, а он мне про Шерлока Холмса.

— Беспечный ты, Сережка, — сказал я. — Вот возьми д'Артаньяна. Что было бы, если бы он поверил миледи?

Сережка почему-то засмеялся и спросил меня:

— Ты с Кириакисом в бане был?

— Нет, — ответил я. — У нас важная работает. А что?

— А я был, — сказал Сережка. — И я заметил, что у него на плече никакой лилии нет.

— Большой ты, а дурак, — сказал я.

Если бы не разница в возрасте, честное слово, я бы поругался с Сережкой. Или он со мной. Лилии ему нужны! И все из-за Гали. Если бы не его дружба с Галей, он был бы бдительней.

Я вышел из подвала, и ноги сами понесли меня к Петьну.

У него было весело. Петын сидел на койке в растегнутой гимнастерке, без ремня. На коленях у него лежала гитара с голубым бантом. На столе — бутылка водки, прямо на клеенке — груда килек и огурцы.

Шурка Назаров сидел на полу и с восхищением смотрел на Петына и на его гостя. В гостях у Петына сегодня был Толик-Ручка. Я этого Толика видел раньше, когда Петын еще не бросил воровать. Толик был худой блондин с острым носом. Он сидел на единственном венском стуле и держал в руке граненый стакан, как бы ожидая, что Петын нальет ему водки. Видимо, одну бутылку они уже распили — она валялась под столом.

— Так вот, Толик, — продолжал Петын рассказ, прерванный моим приходом, — и вижу я, что фриц... — тут он поднял на меня глаза, — и вижу я, что фриц целится прямо в моего командира. А командир у нас был замечательный человек. Хотел я предупредить командира, крикнуть ему «Ложись!», да чувствую — не успею. Тогда я кинулся вперед и заслонил командира собственной грудью... Так я эту пулю и получил. Командир бросился ко мне, чтоб поднять,

значит, а снайпер второй выстрел дал — и наповал его!

— Из винтовки или из автомата? — спросил я.

— Из винтовки, — сказал мне Шурка. — Снайперы из автоматов не стреляют.

— А с поля боя вынесла меня санитарка. Тама-рочка. Пела она хорошо. — Петын взял на гитаре несколько аккордов и запел:

Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь.

Веселья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года...

Мне всегда нравилось, когда Петын пел. .

— Петын, — сказал я, — у Кириакиса патефон есть и пластинки Вадима Козина, так ты поешь лучше, чем Козин.

— Чтоб хорошо петь, душу надо иметь, — сказал Петын. — А ты к этим немцам все еще ходишь?

— Ну, они не совсем немцы, — возразил я. — Кроме того, я с ними поругался сегодня.

— И к Барыне заходишь?

— Нет. Видел ее сегодня.

— Небось паникует интеллигенция? — спросил меня Петын.

— Не заметил. Они на вид спокойные все. Ты знаешь, Петын, вот Кириакис, например, очень спокойный. У него, когда дача сгорела, он на вид совсем не волновался, прямо будто это не его дача горит. А ведь дача была новая. И вся сгорела. Только одна уборная осталась.

Я сегодня второй раз рассказывал, что у Кириакиса сгорела дача. Первый раз Сережке, когда говорил о подозрениях, а второй раз сейчас — Петыну. Сережка пропустил мои слова мимо ушей. Петыну я рассказывал, чтобы защитить Кириакиса, но он, видимо, понял то, чего не понял Сережка.

— Сгорела дачка? Подумаешь, большая для него

потеря! Гитлер ему новую постройт, со всеми удобствами.

Такое объяснение мне не приходило в голову. Так вот почему был спокоен Андрей Глебович...

Шурка посмотрел на меня с укором. Ведь ему-то я мог сказать, что у Кириакиса сгорела дача!

Петын разлил водку — Толику и себе. Они выпили, и Петын опять запел:

Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нем, то в нем цветет весна.
Не уходи, еще не спето столько песен,
Еще звенит в гитаре каждая струна.

Мне очень хотелось, чтобы Петын снял гимнастерку, тогда я увидел бы его рану. Я никогда не видел огнестрельного ранения. И еще я помню, что у Петына на груди была очень красивая наколка. Там были три карты, бутылка и женщина с рыбьим хвостом. Под всем было еще вытатуировано: «Нет в жизни счастья!»

Когда мы с Шуркой впервые увидели у Петына эту наколку, мы тоже решили что-нибудь себе выколоть. Шурка хотел на левой руке выколоть свое имя, но ему тогда помешал отец. Выпорол ремнем. Получились только две палочки от буквы «ш». А я хотел выколоть себе что-нибудь покрасивее, например, орла, несущего в когтях сына капитана Гранта. Я даже перерисовал эту картинку из книжки, но до наколки дело не дошло. Нас отправили в пионерлагерь, а там против наколок сильно боролись.

Петын разлил из бутылки последнее, что там было, и Толик встал.

— Ну, Петушок, — сказал он Петыну, — давай пять, держи три.

Это он потому так сказал, что у него на правой руке было всего три пальца. Из-за этого и звали его Толик-Ручка. Нам он тоже протянул руку, надел пальто и вышел.

Мы сидели еще долго, до самой ночи. Петын пел, попеременно рассказывал нам про войну и про свое увлекательное прошлое.

Даю честное слово, мне не все нравилось в Петыне, но многое все-таки нравилось. Что ни говори, а человек бывалый и с характером. И ум острый.

Хотя мы и ждали воздушную тревогу, но все-таки она прозвучала для нас неожиданно. Сколько раз мы слышали слова диктора, а всякий раз замирало сердце.

«Граждане! Воздушная тревога!»

«Граждане! Воздушная тревога!»

«Граждане! Воздушная тревога!»

Завыли сирены. Петын положил гитару на подушку и скомандовал нам:

— Ну, огольцы, по местам! Довольно прохладиться.

Сережка Байков ждал нас с Шуркой у входа на черную лестницу. Шурка, как всегда, стал подниматься первым, я — вторым, Сережка — последним. Вдруг Сережка взял меня за руку, приостановил и тихо, так, чтобы не слышал Шурка, сказал:

— Ты заметил, мать моя была сегодня не в себе немного? Это она при тебе сдерживалась. А ты ушел, она до самой тревоги плакала, никак успокоить ее не мог. И сам до сих пор дрожу. Оказывается, на отца-то на моего похоронная пришла... Я думаю, может, это ошибка? Последнее письмо было, что скоро на фронт отправят, а тут — сразу. Ты Шурке не говори. У них от отца давно писем нет.

На крышу нашего дома мы поднялись, не обменявшись больше ни словом.

В эту ночь и случилась история, с которой я начал вам все рассказывать.

ОПЯТЬ ЭТОТ СКВОРЕЧНИК

Мы сидели на крыше, вернее, в слуховом окне. Осколки снарядов то и дело дырявили старое, проржавевшее железо. Мы сидели молча, никому не хотелось говорить. Сережка сказал первый:

— Зашел сегодня в магазин, а там — шаром покати. Скоро одни крабы останутся.

Я понял, что Сережка думает о матери. Ведь он теперь кормилец! Я знал об этом, а Шурка еще не знал.

— Интересно, для кого этих крабов делают? — сказал Шурка Назаров. — Я лично их ни разу не пробовал и не видел человека, который бы их ел.

— Матишина один раз покупала, — сказал я. — Никто их не берет, а она назло.

— И еще ячменное кофе «Здоровье», — сказал Сережка.

— Не ячменное, а желудевое, — поправил его Шурка.

Сережка не стал спорить. Я тоже, хотя знал, что кофе ячменное, и даже не ячменное, а ячменный. Кофе, как это ни странно, мужского рода. Но Шурку не переспоришь.

В магазине на Пятницкой из банок с крабами и пачек кофе были сложены целые пирамиды. За одним прилавком пирамида крабов, за следующим — кофе «Здоровье». И ничего больше. Ну, там еще — лавровый лист, душистый перец, горчица. Остальное, как появится, сразу нарасхват. И очереди.

— Сегодня они зажигалки кидать не будут, — сказал Шурка.

В его словах не было ничего интересного. Фашисты теперь редко сбрасывали зажигательные бомбы. На массовые пожары они уже не рассчитывали. Теперь они кидали фугасные бомбы и старались целиться в важные объекты.

— Глядите! — Сережка показал рукой.

Но мы сами видели, как за Крымским мостом три прожектора поймали вперекрест фашистский самолет.

Возле нас стрельбы стало меньше. Зато там рвались снаряды. Там, в белом слепящем свете, готовился к смерти какой-то фашист.

— «Юнкерс-87», — сказал Шурка.

Мы опять не стали спорить. Попробуй различи отсюда! Подбитых «юнкерсов» мы видели на площади перед Большим театром, в Центральном парке культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького, когда там была выставка трофеев.

Мы могли по звуку мотора отличить наш самолет от немецкого. Мы привыкли к шипящему посвисту осколков. Мы могли, или так нам казалось, по звуку отличить двухсоткилограммовую фугасную бомбу от полутонной, и мы не вздрагивали от свиста. Но теперь мы вздрогнули: где-то совсем рядом зазвенел звонок. Сильный. Сильнее, чем школьный.

Мы выскочили из слухового окна и увидели, что колокольня против нашего дома освещена ярким электрическим светом. Колокольня была белая-белая, и

черными провалами зияли сквозные арки без колоколов. Вдруг свет погас, и звонок перестал звенеть. Неужели померещилось?

Не успел я об этом подумать, как вновь вспыхнул свет и зазвенел звонок.

Нам говорили, что с самолета видна зажженная спичка, что луч карманного фонарика виден на несколько километров. Свет, вспыхивающий в нашем переулке, наверняка можно было заметить и на подступах к Москве. Мы окаменели от ужаса. По тому, как падала тень, было ясно, что эта сильная, в сто или двести свечей, электрическая лампочка установлена на нашем доме. Значит, здесь, в нашем доме, находится шпион или диверсант!

Шурка бросился к самому краю крыши и, уцепившись за какой-то выступ, свесился вниз головой.

— Между пятым и шестым этажами! — крикнул Шурка.

Он вскочил и, спотыкаясь, кинулся куда-то.

— Там пожарная лестница, — сказал Сережка и побежал за ним.

Я бежал третьим. Я не слышал и не видел, как рвутся в небе снаряды, как бьют зенитки, как гроыхает под нашими ногами старая крыша. Я только слышал, как звенит звонок, видел, как возникает из мрака и исчезает во тьме белая колокольня.

«Зачем звонок?» — подумал я, подбегая к пожарной лестнице.

А Шурка, уже стоя на ней, крикнул:

— Звукоуловители!

— Неужели у них и на самолетах есть звукоуловители?

Оказывается, я не подумал, а спросил вслух.

Мы не удивились, что именно на нашем доме враги установили сигнал. Рядом — мост, Кремль и электростанция.

Пожарная лестница была установлена на длинных кронштейнах далеко от стены, расстояния между перекладинами большие. Но Шурка спускался первым, и мы, еще не понимая, зачем он лезет, спускались за ним.

— Скворечник! — хрипло прокричал Шурка снизу.

И я увидел, что лампочка установлена именно в

скворечнике. В том самом скворечнике, который очень давно, задолго до войны, кто-то прибил прямо на лепные украшения между пятым и шестым этажом.

— Погоди! — закричал Сережка. — Погоди, я длиннее!

Он кричал это потому, что Шурка пытался перебраться с лестницы на карниз. Одной рукой он держался за лестницу, а другой тянулся к водосточной трубе, и если бы кронштейн лестницы был здесь, а не этажом ниже, Шурка перебрался бы и прошел по карнизу. Он это мог.

Свет в скворечнике то вспыхивал, то исчезал, то освещал Шурку, распластавшегося в воздухе, то скрывал его во мраке. Мы с Сережкой застыли, вцепившись руками в ржавую перекладину пожарной лестницы.

Над нами шарили по небу прожектора, висели аэростаты воздушного заграждения; под нами был булыжник переулка; справа виднелись башни Кремля. А рядом, совсем рядом, в скворечнике, вспыхивала и гасла предательская, злобная, яркая, электрическая лампочка в сто или двести, или, может быть, в триста свечей. И я вспомнил, что в этом скворечнике никогда не жили скворцы.

«Так и знал, — подумал я. — Так и знал!»

Лампа в скворечнике вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, звонок то звенел, то замолкал. Это продолжалось бесконечно долго. Шурка все еще пытался дотянуться до карниза, как вдруг окно в комнате Кириакиса растворилось и на улицу вырвался целый сноп света. Он быстро погас. Видно, в комнате выключили электричество. Какой-то человек — мы не разобрали, кто это, — держась рукой за оконную раму, другой рукой шарил по стене за окном, потом дернул за провода раз и другой. В скворечнике вспыхнул свет, зазвенел звонок, и в этот момент скворечник отделился от гипсовой женщины, к которой был прибит, и полетел вниз. Он летел, светился и звенел. Еще один рывок.

Скворечник оторвался от проводов, грохнулся о тротуар. В нем что-то звякнуло.

Тьма окутала переулок. Окно в комнате Кириакисов закрылось, и мы опять стали подниматься вверх

по пожарной лестнице. У меня дрожали руки, и кажетс~~я~~, я весь дрожал.

Шурка вылез на крышу последним. Пока он не вылез, ни я, ни Сережка не произнесли ни слова. Мы почему-то думали, что Шурка что-то нам скажет — ведь он был к окну ближе всех.

Но и Шурка молчал.

Нам очень хотелось спуститься вниз и выяснить, что же произошло, кто шпион в нашем доме и кто тот герой, который вылез из окна и сорвал скворечник. Мне показалось, что скворечник сорвал Петын. О том, кто его повесил, этот проклятый скворечник, говорить сейчас было бессмысленно. И так понятно: скворечник висел над окнами квартиры, где жили Ишины и Кириакисы, ближе к окнам Барыни. Но, с другой стороны, срывали провода из окна комнаты Андрея Глебовича, следовательно, они туда и вели. Значит — это и дураку ясно, — либо Барыня, либо Андрей Глебович.

Правда, оставался еще слесарь Гаврилов, который жил этажом выше. Я вспомнил, что он был человек хмурый и про окончание войны говорил подозрительно. Скорее всего, Кириакис. Я это предчувствовал.

Так или иначе, но сейчас воздушный налет приобрел новое, куда более зловещее значение, чем раньше. Сигнал явно должен был указать врагу не наш дом, а объект поважнее. Ну, хотя бы мост, электростанцию или, хуже всего, Кремль.

Мы с ужасом ждали, что будет. Сейчас было не до шпиона. Его-то уж поймают!

Над нашими головами шарили по небу прожектора, рвались снаряды. Мы ждали свиста огромной фугасной бомбы, мы замерли и напряглись. Уйти с крыши в этот момент было невозможно.

Постепенно прожектора и зенитки удалялись от нашего дома куда-то в сторону Серпуховки.

— Не смогли прорваться, — сказал Шурка. — Шпион показал им, куда надо прорываться, дал им ориентиры, а они все равно не смогли.

— Конечно, тут же аэростаты, — сказал я.

— Кто бы подумал... — сказал Сережка. — Сколько лет висел скворечник, и, оказывается, для этой ночи...

Налет кончился к утру.

Мы спускались по черной лестнице так же, как и поднимались на нее — Шурка впереди, мы с Сережкой сзади.

Вот пустая квартира Яворских и Гавриловых. Вот квартира, где живут Кириакисы и Матишина.

— Что ты теперь скажешь? — спросил я Сережку, когда мы проходили мимо этой двери.

Он промолчал.

Возле парадного, как всегда после отбоя, толпились люди. Но сегодня их было больше. Они спорили, говорили все одновременно. Из обрывков общего разговора я понял, что свет в скворечнике первой заметила Одинцова. Она дежурила у подъезда. Звено охраны порядка и те, кто сидел в бомбоубежище ближе к выходу, бросились к квартире Кириакисов. Дверь в квартиру была не заперта. Но дверь в их комнату никак не поддавалась. Прибежал Петын, и только тогда дверь поддалась. Дальнейшее мы видели из окна.

Человеком, сорвавшим скворечник, действительно был Петын.

Сейчас от скворечника не осталось и следа. Его увезла специальная команда МПВО, которая приехала, пока мы сидели на крыше. Не было в толпе ни Доротеи Макаровны, ни Гали. Как выяснилось, Доротея Макаровна позвонила на завод Андрею Глебовичу, он прибежал, и всех их увезли вместе со скворечником.

— Ну, так что ты скажешь теперь? — спросил я Сережку. — Близорукий ты человек.

Сережка ничего не ответил. Да и что ему говорить? Я был прав.

— Вы про что? — спросил Шурка.

— Пусть он расскажет, — сказал Сережка и, опустив голову, пошел к себе в подвал. Ему через час надо было ехать на завод.

— Вы про что спорили? — спросил меня Шурка.

Я отвел его в сторону и хотел подробно рассказать про все, о чем говорил вечером с Сережкой, но почему-то сказал очень коротко:

— Я говорил Сережке, что Кириакис подозрительный тип, а он мне не верил.

— Конечно, — сказал Шурка, — еще бы... Петын это сразу определил. Жалко, не удалось разоблачить его раньше. И Барыня тоже подозрительная.

Мы поглядели на толпу и только тут заметили, что Барыни-Матишиной не было возле подъезда.

— Фридрих! — позвала меня тетка. — Пойдем домой, ты совсем синий. Я же просила тебя надеть джемпер.

Дома тетка вскипятила на керосинке чай, поставила на стол блюдечко с картофельными оладьями. Мы позавтракали. После налетов многие завтракали перед тем, как лечь спать.

Тетя Лида ничего не говорила о случившемся.

— Ты знаешь, — только и сказала она, — когда я сильно волнуюсь, я забываю про астму, и она про меня забывает.

— Кто бы мог подумать, — сказал я, — что такие люди окажутся шпионами. Ведь столько лет вместе живем!

— Какие? — спросила тетя Лида.

— Андрей Глебович, — сказал я. — Доротея Макаровна, Галя. И мать Вовки Ишина.

— Быстрые суждения, — ответила тетя Лида, — изобличают ум неразвитый и ленивый. Значит, по-твоему, Андрей Глебович, Доротея Макаровна, Галя и Ольга Борисовна Ишина шпионы?

Я разделся, лег и укрылся одеялом с головой. «Что-то много шпионов в нашем доме», — подумал я, засыпая.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

Проснулся я в полдень и, когда вышел из подъезда, узнал потрясающую новость. Ночью квартиру, где жили Кириакисы и Ишина, опечатали, но пока я спал, все они вернулись домой и печать с квартиры сняли. Зато та же машина, что ночью увозила их, увезла сапожника Кобешкина. Кроме того, в домуправлении сидел участковый уполномоченный и вызывал к себе жильцов дома.

Обо всем этом рассказал мне Шурка. В отличие от меня, дурака, он не ложился спать. Глаза у него были красные и волосы взъерошенные. Он видел, как вернулись Кириакисы и Матишина. Доротея Макаровна была заплаканная, а Андрей Глебович, как показалось Шурке, ехидно улыбался.

— Ты знаешь, как Петын разозлился? — сказал Шурка. — Он сказал: «Жалко, что на ваш дом бомбу не бросили. Целый дом шпионов, подумать только! Интеллигенция... гнилая». Я помог ему вещи нести.

— Кому? — спросил я.

— Петыну, — сказал Шурка. — Он решил — обратно на фронт. Так разозлился... Его врачи не пускали, у него рана еще не зажила, а он сам. И я бы с ним уехал от таких людей. Мать жалко.

— Прямо на фронт? — спросил я.

— «Прямо!» — усмехнулся Шурка. — Прямо на фронт не пускают. У него друг есть — Толик-Ручка.

— Знаю.

— Он около вокзала живет. Вот Петын сначала к нему, а потом дождется эшелона, к солдатам подсядет — и на фронт. Мне, говорит, противно. Я охранял дом, а в нем оказались одни шпионы.

Я понимал Петына. Ведь я тоже охранял дом, в котором были шпионы. Сами подумайте, легко ли это...

Я вспомнил историю про бумажник, которую рассказывал Петын, и спросил Шурку:

— Этот Толик возле Киевского вокзала живет?

— Нет, — сказал Шурка, — возле Казанского.

— Да? — удивился я. — Но ведь с Казанского в эвакуацию едут!

— Чудак! — сказал Шурка. — Теперь со всех вокзалов поезда на фронт идут. По Окружной.

Это правда. Об этом я забыл.

Мы с Шуркой стояли на мостовой и смотрели вверх, туда, где висел скворечник. То ли когда его прибивали, то ли когда сорвали, повредили ногу женщине с прямым носом, и теперь она вроде как бы прихрамывала.

— А Кобешкина почему забрали? — спросил я.

— Им видней, — сказал Шурка. — Он ведь тоже личность подозрительная. Может, у него в деревянной ноге радиостанция! Я, например, слышал такую историю.

— Может... — согласился я. — Такой человек все может. Он за водку черту душу продаст. Но интересно, почему этих, главных, выпустили?

— Значит, так надо, — сказал Шурка. — Может,

хотят проследить, кто к ним ходит, с кем связаны. А может, доказательств мало.

— Мало? — сказал я. — Ничего себе мало! Я бы этих людей... — начал я, но тут подумал про Галю и замолчал.

Я замолчал очень кстати, потому что в подъезде появилась Барыня-Матишина. Она была в бархатном пальто, на руках — перстни, на груди — часы с крышечкой.

— Милые Шурка и Фриц! — сказала она. — У меня к вам большая просьба...

— Еще не хватало!.. — пробурчал Шурка.

— Дело в том, что я получила повестку и без вас никак не могу справиться. Это уже третья повестка.

Деваться было некуда. И повестка, которую получила Ольга Борисовна Ишина, очень меня заинтересовала. Я подошел первым.

— Видишь ли, Фриц, — как ни в чем не бывало сказала мне Ольга Борисовна, — у Вовы есть мотоцикл «харлей-давидсон».

Это я и без нее знал.

— Так вот, этот «харлей-давидсон» нужно сдать в военкомат. Вовочке третий раз присылают повестку. Но без него я просто не знаю, как к этому подступить. Гаврилов обещал помочь, но его же не поймаешь. Неизвестно, когда он дома бывает! — Матишина продолжала: — Видимо, мотоцикл нужен для борьбы с фашистами, а он стоит в сарае разобранный, с него какие-то части сняты. Ведь его нужно сдать в полном порядке. Я вас прошу, пойдемте в сарай и посмотрим, чего там не хватает.

— Мне некогда, — сказал Шурка. — Мне нужно на рынок, мать в очереди за чечевицей смеяться.

Может быть, Шурка и не врал, но ему, конечно, повезло. Идти с Барыней в сарай пришлось мне.

В другой раз я пошел бы, конечно, с удовольствием, потому что до войны нас к тому мотоциклу ее сын близко не подпускал.

Во дворе нашего дома было несколько дровяных сарайчиков. В одном из них стоял мотоцикл Ишина. Ольга Борисовна сняла замок и распахнула дверь. «Харлей-давидсон» — большой зеленый мотоцикл с потертым кожаным седлом и рогатым рулем. В отличие

от всех других мотоциклов, которые я видел, у «харлея» не было никаких рычагов на руле. И сцепление, и тормоз были ножные. Андрей Глебович объяснял, что такова традиция американского мотоцикlostроения: чтобы все было как в автомобиле.

В автомобильном кружке Московского Дома пионеров я изучал устройство автомобиля «ГАЗ-АА» и мотоцикла «Красный Октябрь». «Харлей-давидсон» мы там не изучали.

И все-таки я сразу увидел, что с мотоцикла снят карбюратор.

— Карбюратора нет, — сказал я.

— Правильно, правильно, Фриц, — сказала Ольга Борисовна. — Вот и Андрей Глебович говорил, что у мотоцикла нет аккумулятора.

— Карбюратора, я сказал, а не аккумулятора.

И тут же я увидел, что Ольга Борисовна права — аккумулятора тоже не было.

— Вот эти коммутаторы... — сказала Ольга Борисовна.

— Карбюратор и аккумулятор, — поправил я.

— ...может быть, они у нас в чулане? Ты умеешь их привинтить?

— Не знаю, — сказал я, — попробую.

— А ты знаешь, на что они похожи? Пойдем к нам в чулан. Может быть, они там валяются. Я ведь не знаю, что к чему.

— А почему вам Андрей Глебович не поможет? — спросил я.

— Ну, во-первых, — сказала Ольга Борисовна, — он сейчас спит: ведь он всю ночь не спал. Неудобно его беспокоить. А во-вторых, Вовочка говорил, что Андрей Глебович ничего починить не может. Он или усовершенствует, или ломает. По-моему, он понимает только в керосинках.

— Ну, не только, — ехидно сказал я. — Он, наверно, еще и в скворечниках понимает.

Ольга Борисовна вздохнула и как-то странно посмотрела на меня.

— Неужели тебе трудно подняться и посмотреть? Ведь ты же знаешь, ты же интеллигентный мальчик, Фриц!

Мне не хотелось, ну, просто не хотелось поднимать-

ся в эту квартиру, встречаться с Андреем Глебовичем, с Доротеей Макаровной, с Галей. Но Андрей Глебович спит, подумал я. Доротей Макаровна тоже. И с другой стороны, когда мне еще представится возможность побывать в этой квартире и на месте выяснить, что к чему. Конечно, такая возможность может представиться, но медлить нельзя. Кто-то сказал: промедление смерти подобно.

Я никогда не видел, как опечатывают квартиру. Оказывается, просто берут веревочку, приклеивают к одной половинке двери сургучом и к другой половинке двери сургучом, а между двумя сургучными нащепками болтается веревочка.

Так вот, когда Матишина открывала дверь, я увидел обломки сургуча на двери и очень удивился, до чего же все это просто.

— Тихо, Кириакисы, кажется, спят, — сказала Ольга Борисовна и тем очень успокоила меня.

Она провела меня в чулан, точно такой же, как в нашей квартире и во всех коммунальных квартирах нашего дома. В каждой квартире было два чулана: один в коридоре, а другой при кухне. Они считались местами общего пользования, как ванная или уборная. Я и теперь часто слышу — «места общего пользования», но теперь коммунальных квартир становится все меньше и, наверно, меньше становится мест общего пользования.

Ольга Борисовна зажгла свет, и я увидел, что в чулане стоит большой темный шкаф со сломанной дверцей, на шкафу — трухлявая бельевая корзина, а рядом со шкафом большой сундук.

— Посмотри, пожалуйста. Или за шкафом, или за сундуком, а может быть, на антресолях.

Сначала я посмотрел на потолок, потому что, когда я вхожу в незнакомое помещение, я всегда смотрю на потолок. Такая привычка. Я когда в школе у доски стоял, тоже смотрел на потолок. А некоторые смотрят в пол. Также плохая привычка.

— Ты думаешь, на шкафу? — не поняв моего взгляда, спросила Барыня. — Уверяю тебя, на шкафу ничего нет.

Барыня не стала мне мешать и, притворив дверь, отправилась на кухню.

Прежде всего я заглянул за шкаф. Там было много пыли. На полу лежала какая-то тряпка. В углу я увидел мышеловку, хотел достать ее рукой, но не дотянулся. У шкафа стояла швабра. Я взял ее и попробовал вытащить мышеловку. Мышеловка вдруг подпрыгнула и щелкнула. Хорошо, что не дотянулся!

«Ну что мне эта мышеловка!» — подумал я и вернулся к сундуку. В отличие от поломанного шкафа, сундук был целый, только замок сорван вместе с толстыми кольцами, на которых он висел. Надо иметь силу, чтобы сорвать такой замок.

Я приподнял крышку. Чего только там не было! Прежде всего модели самолетов, бумажные и схематические; потом какой-то прибор с радиолампами; груда ученических тетрадей; связка толстых общих тетрадей в коленкоровых обложках и несколько журналов. Один из журналов был иностранный. На обложке самолет, под самолетом надпись: «Капрони-Кампини». Такого самолета я никогда раньше не видел, хотя до автомобильного кружка занимался в авиамodelьном и даже сделал модель французского самолета «Кадрон-Рено-713». А этот — какой-то Капрони да еще Кампини...

Я стал листать журнал. Рисунок с обложки повторялся и на одной из страниц. Под рисунком была статья на непонятном языке, а на полях статьи красным карандашом по-русски написано: «Керосин!!!» Просто керосин, но с тремя восклицательными знаками.

«Керосин — это по части Андрея Глебовича, — сообразил я. — Надо сказать тете Лиде».

Тут я услышал, что Барыня вышла из кухни и топает по коридору. На всякий случай я сунул журнал в штаны за ремень и захлопнул крышку сундука.

— Нашел? — спросила Ольга Борисовна, появившись в двери.

— Нет, — сказал я. — Не так быстро. За шкафом я нашел только мышеловку. Может быть, карбюратор в этом сундуке?

— Маловероятно, милый Фриц. Почти невероятно. Он этот сундук и сам не часто открывал.

— Кто?

— Мой Вова. Он мне запрещал заглядывать в

него. Здесь его реликвии и вся техника. Однажды я порвала какую-то ненужную бумажку, так он устроил целый скандал. Потом я подарила детям серебристые лампочки, которые у него валялись без дела, — оказалось, что это для радио. Опять была сцена. Тогда я отдала ему во владение этот сундук. По-моему, это было, когда он перешел в седьмой класс. Кто бы мог подумать, что будет такое несчастье!

— Какое? — с деланной наивностью спросил я, понимая, что в словах Барыни заключена какая-то тайна. — Разве у вас какое-нибудь несчастье?

Наверно, я выдал себя. Барыня сразу прикусила язык.

— Я тебе потом все расскажу. Со временем. Между прочим, сколько мудрости в народной пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Представляешь, сегодня ночью я говорила с Вовой по телефону. Правда, Вова был ужасно огорчен, что у нас такие неприятности.

— Ну что вы, — сказал я, — какие у нас неприятности?

— Ты очень любопытный, Фриц. Я же тебе сказала — со временем узнаешь. А пока, милый, найди, пожалуйста, этот радиатор.

— Карбюратор, — поправил я, — и аккумулятор.

— Будь любезен, посмотри за сундуком, — сказала Барыня и опять зашлепала на кухню.

Я стал осматривать пространство за сундуком. Там стояла велосипедная рама без колес, какие-то гнутые трубы, видимо, от глушителя, тяжелая динамо-машина. Все это я выложил на крышку сундука и на самом полу увидел карбюратор. Я вытащил его и в освободившемся пространстве заметил два провода. Два обыкновенных электрических провода, которые выходили из стены возле плинтуса и вели в сундук.

«Зачем здесь эти провода?» — не успел подумать я, как сразу все понял: в сундуке сидел шпион и нажимал кнопку, которая включала лампочку и звонок в скворечнике!

Только мог ли шпион там уместиться?

Я поднял крышку сундука, и все, что на ней лежало, падало на пол. Нет, в сундуке было так мно-

го хлама, что уместиться в нем мог разве только ребенок.

А вдруг этот хлам положили туда после истории со скворечником? И я живо представил себе, как шпион, похожий на Андрея Глебовича, лежит в сундуке и нажимает кнопку.

Нужно только найти эту кнопку. Я стал перебирать в сундуке все, что там было, и в это время услышал в коридоре знакомые голоса. Это проснулись и разговаривали Доротея Макаровна и Андрей Глебович. Из долетавших до меня слов трудно было понять что-либо определенное.

— Кто бы подумал...— говорила Доротея Макаровна.

— ...мыльница?— спрашивал из ванной Андрей Глебович.

— Посмотри хорошенько,— ответила ему жена.— Только этого не хватало! Могло бы кончиться весьма плачевно...

— Я оптимист...— доносилось из ванной.

— Тебе надо помириться с Фрицем, у него в голове каша,— говорила Доротея Макаровна.

Я слушал этот разговор и, хотя ничего важного для существа дела не услышал, все-таки разозлился. Лицемеры проклятые! В глаза зовут Федей, за глаза — Фрицем. «Я оптимист!» Шпион ты, а не оптимист!

В дверях кладовки опять появилась Барыня.

— Может быть, ты не знаешь, как выглядит этот самый сепаратор?— спросила она.— По-моему, он такой железный.

— Не сепаратор,— сердито возразил я,— не радиатор, а аккумулятор и карбюратор.

Пока я произносил эти слова, мне пришла в голову блестящая мысль.

— Я прекрасно знаю, как выглядят карбюраторы и аккумуляторы,— сказал я,— но неплохо бы посоветоваться со специалистом. С Гавриловым, например. Если можно, я поднимусь к нему. Вдруг он пришел!..

Придерживая рукой журнал, чтобы не выскользнул вниз, я пугей выскочил из квартиры. Мне очень хотелось спуститься к себе домой — попросить тетку,

чтобы она посмотрела журнал и подтвердила, что он принадлежит Андрею Глебовичу. Тогда это улика, и в сундуке сидел именно он. Еще мне очень хотелось все рассказать Шурке.

Сейчас поднимусь к Гаврилову. Постучу. Его, конечно, как всегда, нет дома. Тогда со спокойной совестью побегу по своим делам.

Я постучал в дверь семнадцатой квартиры и собирался бежать вниз, как вдруг услышал, что кто-то идет отворять. Пришлось подождать.

— Ты ко мне?— удивился Егор Алексеевич Гаврилов. Сегодня он был выпавшийся и побритый.

— Нет,— смутился я.— Я только хотел сказать, что Барыня...

— Ольга Борисовна,— поправил Гаврилов.

— Да. Она просила, чтобы я нашел у нее в кладовке карбюратор для «харлея», который...

— Заходи,— сказал Гаврилов.— Не тараторь, объясни все по порядку.

В светлой комнате за накрытым клеенкой столом, к моему удивлению, сидел сапожник Кобешкин. Когда я вошел, он встал и заковылял к выходу.

— Чего ты заторопился, Павел Иванович?— спросил Гаврилов.— Я бы чаек поставил.

— У меня от чая деревянная нога преет,— хмуро усмехнулся Кобешкин.— Даже эти вот пионеры норовят чего покрепче схватить. Между прочим, я его тоже там видел.

Где он меня видел, я не понял.

— Критик ты хороший. Сам бы примера не подавал,— сказал Кобешкину Гаврилов и добавил:— Так что я все понял. Буду иметь в виду. Яровским напишу сам.

— Ты еще к участковому зайди, Егор Алексеевич,— сказал Кобешкин.— Может, что важное сообщишь.

Гаврилов проводил хромого сапожника до двери и вернулся ко мне:

— Слушаю тебя.

Если бы не разговор об участковом, то есть об участковом уполномоченном милиции, я не стал бы выкладывать Гаврилову все, кое-что придержал бы для себя. Но тут другое дело. Он пойдет к уполномо-

ченному и все толково расскажет, его выслушают. Меня же, возможно, и слушать не будут. Между тем, как я уже говорил, в иных случаях промедление смерти подобно.

— Егор Алексеевич, — начал я, — я давно подозревал и Матишину и Андрея Глебовича. Но до сегодняшнего дня у меня не было точных фактов. Теперь же я все знаю. Вообще-то мне нужно бы сейчас самому побежать в милицию, но лучше, если это сделаете вы. Вам больше поверят. Если вы мне не верите, можете сами убедиться.

Я рассказал про то, как Барыня попросила меня найти карбюратор и аккумулятор для мотоцикла «харлей-давидсон», как я оказался в кладовой и обнаружил два провода, уходящие в сундук. Кнопку, на которую нажимал шпион, я пока не нашел.

Я рассказывал очень подробно, у меня не было основания думать, что Егор Алексеевич Гаврилов не понял. Однако первое, что он сказал, выслушав мой рассказ, сами понимаете, не могло меня не удивить.

— А карбюратор-то ты нашел?

— Нет, — сказал я. — То есть нашел, но он упал обратно за сундук.

— Придется мне, — сказал Гаврилов, — найти карбюратор и аккумулятор и помочь женщине сдать мотоцикл в военкомат.

— Егор Алексеевич, как вы не понимаете! Ведь наш дом находится недалеко от военных объектов, и если в нем шпионское гнездо...

— В сундуке? — спросил Гаврилов. — Значит, потвоему, шпион специально залезал в сундук, чтобы нажимать кнопку? А не проще бы ему было нажимать кнопку в комнате? Технической смекалки у тебя маловато!

— Но вы же знаете, что произошло этой ночью?

— Знаю, — сказал Гаврилов. — Мне Павел Иванович Кобешкин только что рассказал.

— Если вы мне не верите, сами пойдите и все увидите. Провода ведут в сундук. Электрической лампочки там нет. Зачем провода в сундуке? Я больше чем уверен (мне тогда нравилось говорить «я больше чем уверен»), что эти провода дальше идут к скворечнику.

— Ладно, — сказал Гаврилов, — мне скоро опять

на работу. Ты иди гуляй и не волнуйся. Делом этим занимаются люди поумней тебя. Впрочем, давай выйдем вместе. Я зайду помогу Ольге Борисовне.

Гаврилов остался у дверей Матишиной, а я спустился вниз к подъезду.

Егор Алексеевич появился минут через двадцать. В одной руке он нес карбюратор, в другой — маленькую мотоциклетную аккумуляторную батарею.

— Егор Алексеевич, вы к участковому?

— Нет, — сказал он. — Сначала вот поставлю на мотоцикл, а потом, если останется время...

— Вы ж хотели пойти к участковому!

— Ну и пойду, если время будет.

— А вы видели?

— Посмотрел. Там ничего интересного нет. Простая звонково-световая сигнализация. Реле стоит. В общем, как у сейфов. Это еще до революции изобретено.

— Егор Алексеевич, — взмолился я, — но ведь шпионы и до революции были!

— Знаешь, — сказал мне Гаврилов, — о шпионах в другой раз поподробнее поговорим, я сам до смерти люблю говорить о шпионах. — И он спокойно повернул во двор, чтобы заняться мотоциклом, принадлежавшим сыну Барыни.

— Фридрих! — позвала меня тетка, высунувшись из окна. — Домой иди, да поскорей, пожалуйста, мне нужна твоя помощь!

Это кстати. Я пощупал журнал. Он был на месте, за ремнем.

Тетка сразу впрягла меня в работу. Нужно было вытащить зимние вещи и вывесить их для проветривания. Сама тетка боялась запаха нафталина — у нее мог начаться приступ астмы. Я понял, что сейчас говорить о журнале бесполезно.

Мороки с зимними вещами много. Одних газет, в которые они были завернуты, целый ворох. Возился я часа два. Думал — все.

— Тетя Лида, — сказал я, — я вот тут журнальчик достал. Не можешь ты перевести одну статейку?

Тетка взяла журнал, не глядя положила его к себе на стол и сказала:

— Хорошо, я переведу тебе все, что надо, если ты заклеишь окна.

У нее, оказывается, был уже припасен клей, но нужно резать бумагу на полоски. В общем, возился я почти дотемна. Потом мы чем-то перекусили, выпили чаю. Тетка села в кресло, взяла в руки журнал и спросила:

— Где ты его взял?

— Нашел, — сказал я.

Тетка посмотрела на меня подозрительно. Я показал ей нужную страницу, она стала читать и сказала:

— Это же итальянский журнал! А тебе следовало бы знать, что итальянский я знаю плохо.

— Тетя Лида, — взмолился я, — я же сделал все, что ты просила.

— Кроме того, — сказала тетка, — это технический текст, я этих терминов не знаю. Тут какие-то параметры. Сказано, что фюзеляж алюминиевый обтекаемый. Это тебе интересно?

— Нет. А там есть что-нибудь про керосин?

— Тут сказано: «В качестве горючего керосин обладает свойствами...» Тебе журнал дал Андрей Глебович? Вот страсть у человека к керосину! И потом, почему он не мог сам зайти? Ты же не сумеешь пересказать этот текст. Это он тебя просил?

— Нет, — честно сказал я.

— А журнал он тебе дал?

— Нет, — сказал я. — Это военная тайна.

После истории с Гавриловым я не мог доверять взрослым. Меня не понимают, как глухонемые не понимают человека, говорящего простым и ясным языком. Для меня было понятно главное: здесь замешан Андрей Глебович. Как только запахнет керосином, так без Андрея Глебовича не обойтись.

Тетя Лида пыталась вытянуть из меня что-нибудь еще, потом заговорила о пользе изучения иностранных языков, и это меня спасло, а то я, может быть, и проболтался бы. И еще меня выручило то, что объявили воздушную тревогу.

ПОСЛЕ ОТБОЯ

В тот раз тревогу объявляли дважды — одну с вечера, а вторую среди ночи.

После отбоя первой воздушной тревоги я уснул, и мне снился длинный мучительный сон. Я понимал,

что это все неправда, что это только сон, я очень хотел проснуться, но не мог.

Я четко видел, как ночью низко над городом появляются фашистские бомбардировщики. Летчик ведущего самолета напряженно вглядывается в крошечную тьму под крылом и поворачивает бледное лицо к штурману.

«Не вижу, — говорит он — ничего не вижу. Где же наши шпионы? Почему нет их сигналов?»

«Может быть, шпионов разоблачил этот проклятый пионер Крылов?» — отвечает штурман.

«Не может быть, не может этого быть, — качает головой летчик. — Крылов тоже наш шпион. Его зовут Фридрих, Фриц. Понимаете?»

Я хотел крикнуть, что я Федя, Федя! Что меня все зовут Федей, но язык не слушался, я мычал и плакал.

Фашистский летчик продолжал рассуждать:

«Он не Федор, не Теодор, как думают многие, он просто Фридрих. Фридрих и Федор — разные имена».

Получалось так, что разговор фашистских летчиков слышу не только я, но и Ольга Борисовна, Барыня. В длинной ночной рубашке она ползает на коленях по полу в своем чулане и бормочет:

«Фридрих, Фридрих... Куда же он задевал ключ? Куда этот несчастный маленький негодяй задевал ключ?»

Но вот она находит ключ, вставляет в замочную скважину сундука: сразу же раздается звонок и вспыхивает свет. Из мрака в прожекторном белом свете возникает Кремль, собор Василия Блаженного и трубы Могэса. В это время из своего окна Андрей Глебович Кириакис наводит стеклянный глаз на собор Василия Блаженного, и я ясно вижу, что это не глаз, а объектив фотоаппарата с диафрагмой, которая вдруг открывается.

«Самое пикантное, — говорит он, как бы про себя, — что могут получиться вполне приличные снимки. Равномерность освещенности каждого квадратного метра снимаемого объекта — вот главное».

А через стенку от Кириакиса почему-то расположился сапожник Кобешкин. В коленях у него зажата отстегнутая деревянная нога. Вот сапожник нажал в ней какую-то кнопку. Щелкнула и откинулась по-

тайная крышка, под которой оказался миниатюрный радиопередатчик.

«Немцы! Немцы! — громким шепотом заговорил в микрофон Кобешкин. — Я ваш, немецкий шпион. Вы молодцы, немцы. Знайте, в нашем доме много ваших шпионов. Передайте привет Гитлеру, Герингу и Геббельсу. Перехожу на прием».

«Битте шён, герр Кобешкин!» — кивает головой фашистский летчик и переводит самолет в пики.

Меня разбудила тетка. За окном выли сирены. Я оделся потеплее, нахлобучил пожарную каску и опять полез на крышу. Я оказался там первым. Потом появился Сережка с Шуркой.

Ночь была холодная. Спросонья меня бил озноб, но двигаться не хотелось. Мы сидели в слуховом окне.

— Ребята, вы меня не будите, я подремлю, — попросил Сережка. Он привалился к стенке и засопел.

Действительно, ему труднее, чем нам. Мы могли отсыпаться днем, а он должен еще вкалывать на заводе.

Шурка повертелся немного и тоже застыл, сунув руки в рукава телогрейки.

Я был рад, что не надо разговаривать. Расследование мое находилось на таком сложном повороте, что трудно было предвидеть, куда оно меня заведет. В моей голове сейчас скопилось слишком много идей одновременно, а когда слишком много идей, лучше всего помалкивать.

Сундук с проводами звуко-световой сигнализации мной обнаружен. Он находился в той самой квартире, которую я подозревал. Но ведь ее обследовали до меня. Наверняка вместе с командой МПВО приезжал специалист. И если эти провода шли непосредственно от скворечника, не заметить их было невозможно.

А что, если к скворечнику шли другие провода из другого места и та сигнализация так и осталась необнаруженной? Странно и то, как вел себя Гаврилов. Говорил Кобешкину, что зайдет к участковому, а сам не пошел. О чем он говорил с Барыней-Матишиной? А может быть, он и с Андреем Глебовичем перекинулся парой словечек?

Матишина просила меня подождать. А чего ждать? Может быть, шпион скроется и заметет следы. Я вспомнил про сон, который мне снился между двумя

налетами. Конечно, все это глупости, но зачем и куда увозили сапожника Кобешкина? Почему он пришел к Гаврилову? О чем Гаврилов собирается писать Яворским? Они же в эвакуации. Кобешкин интересный тип, я бы даже сказал, загадочный. А про деревянную ногу — это мне здорово приснилось. Ведь в ней внутри что угодно можно спрятать, и никто не догадается. Может, он в ней поллитровку прячет!

В бедной моей голове все путалось. Сегодня я показал тете Лиде этот иностранный журнал с русским словом «керосин», написанным на полях непонятного текста. Сегодня-то мне удалось увернуться от ответа, откуда у меня журнал, но на завтра надо придумать, что можно ей соврать.

Главная загадка все-таки. — Кириакис. Хорошо бы попросить Сережку, чтобы он поговорил с Галей, как комсомолец с комсомолкой. Жаль, что он меня не понимает.

Налет был не сильный, особенно возле нас. Видимо, фашистов задержали на подступах. Изредка стреляли ближе к Павелецкому вокзалу, где-то у Таганки, и все.

Тучи висели низко. Проектора упирались в них, как в стену. Там за тучами на ближних подступах к Москве, наверно, ползали по небу фашистские бомбовозы. Но тучи были сплошные, тяжелые. Сквозь такие тучи днем и солнца не увидишь. Ох, если бы такие тучи всегда закрывали наш город от прицельного бомбометания! Я знал, что там, над тучами под звездным небом, встречали фашистов наши ястребки, там шли бои. Для нас на земле налет был скучный.

— Хоть бы зажигалки сбросили, — неожиданно сказал Шурка.

После того налета, когда мы погасили несколько зажигательных бомб, на наш дом упало всего еще две. Я даже не считаю нужным об этом специально рассказывать. С зажигалками мы теперь управлялись, как дворник с навозом, — на лопату и в ведро.

— Да ну их, — ответил я Шурке про зажигалки, — ничего интересного в них нету.

Стрельба над Москвой совсем утихла, даже на окраинах не стреляли. Но и отбоя почему-то не было.

Начало светать. Сережка Байков посапывал за моей спиной. Изредка кряхтел от холода Шурка. Ти-

шина. Наконец возле кинотеатра щелкнул репродуктор:

«Угроза воздушного нападения миновала...»

Мы сразу поднялись и направились к лестнице.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!»

Когда диктор в третий раз произнес эти слова, мы уже спускались вниз. Сквозь мутные окна на лестницу падали пятна бледного осеннего рассвета. Тучи на небе сгустились еще больше.

— Может, сегодня от бати письмо придет, — сказал Шурка. — Мать места себе не находит. Говорит, у нее предчувствия плохие. Я не верю:

— Конечно, придет письмо, — сказал Сережка. — Мало ли что может быть! Может, ему некогда или почта плохо работает.

Я замер, боясь, что Сережка расскажет про смерть своего отца. Но он ничего больше не сказал.

Мы спускались молча, и когда были на третьем этаже, где-то совсем рядом со стороны переуллка раздался взрыв. Несильный взрыв. Но это был взрыв, и вслед за ним мы услышали чей-то пронзительный крик и звон стекол. Стремглав бросились мы во двор и вокруг дома. Оказывается, обежать его не так просто.

Жильцы, вышедшие из бомбоубежища, чтобы подышать чистым воздухом, не стояли сейчас спокойно рядом у подъезда. Они как-то странно сгрудились и смотрели на что-то страшное. Мы пробились сквозь толпу.

Первой, кого я увидел, была Василиса Акимовна Одинцова, командир звена охраны порядка. Она лежала на носилках, которые поднимали с земли Галя Кириакис и тетя Катя Назарова. С носилок капала кровь. На единственной ступеньке подъезда сидел, раскачиваясь и ругаясь на чем свет стоит, сапожник Кобешкин.

— Контузили, паразиты! — кричал он. — Контузили, гады!

Рядом с подъездом валялась его деревянная нога, расщепленная осколком.

Чуть подальше, на сером асфальтовом тротуаре, лежала Галина мама. Она была мертва.

Около нее на коленях, вся в слезах, стояла Ольга Борисовна Ишина. Когда Ольга Борисовна перекрести-

ла убитую и встала, мы увидели, что из-под плеча у Галиной мамы растекается лужица крови.

Мы узнали, что Дарья Макаровна (мне очень не хочется называть ее теперь Доротеей) и Павел Иванович Кобешкин первыми после отбоя вышли к подъезду, где стояла командир звена охраны порядка Василиса Акимовна Одинцова. В этот самый момент прямо против подъезда упала маленькая — не то двадцатипяти-, не то пятидесятикилограммовая — бомба. Такие бомбы могут носить истребители или разведчики-корректировщики — те, которые тогда назывались «рамами».

Сбрасывать такие осколочные бомбы на город, и тем более куда попало, — бессмысленно. Но, видимо, злоба фашистов, не могущих прорваться к Москве, была такова, что какой-то бандит на маленьком самолете нарочно задержался в небе, когда бомбардировщики ни с чем повернули назад. И вот — хоть как-нибудь досадить, хоть как-нибудь! — три человека оказались жертвами этого стервятника.

Дарью Макаровну убило наповал — осколок попал в грудь. Галя бросилась к ней, но увидела, что помощь здесь не нужна. На пороге дома истекала кровью Василиса Акимовна Одинцова. Тете Кате Назаровой не удавалось наложить жгут, а Галя сразу сумела это сделать. Меньше всех пострадал Павел Иванович Кобешкин. Осколок, видимо крупный, попал в его деревянную ногу. Нога раскололась, а Павла Ивановича контузило.

Потом, во второй половине октября 1941 года, я видел, как днем фашистский летчик-истребитель сбросил такую же осколочную бомбу на очередь за картошкой возле Москворецкого моста. Там было много убитых и раненых...

Сколько лет прошло, а я все не могу забыть то пасмурное и холодное утро, толпу у нашего подъезда, кровь, капающую с носилок, сапожника Кобешкина, на чем свет стоит ругающегося возле расколотой в щепы деревянной ноги, и Галину маму.

Она лежит мертвая на тротуаре, из-под плеча у нее по серому асфальту растекается лужица крови. Лицо у нее бледное-бледное, губы ярко накрашены, красные как кровь.

С тех пор я не люблю, когда красят губы.

Я не хочу рассказывать, как женщины нашего дома подняли на носилки тело Дарьи Макаровны и понесли вверх по лестнице на пятый этаж. Галя шла сзади; она не плакала, а все говорила: «Осторожнее... Пожалуйста, осторожнее...»

Я не хочу рассказывать об этом, потому что я стоял, обняв тетю Лиду, и меня трясло, и я плакал громче всех в переулке.

Я не хочу рассказывать, как прибежал с завода Андрей Глебович, и, увидев на тротуаре расплывшееся красное пятно, кинулся к нам, людям, стоявшим вокруг, и заглядывал в глаза, и никто не мог выдержать его взгляда.

Я не хочу об этом рассказывать, потому что это невыносимо трудно, потому что всем людям, видевшим это, было очень плохо, но я должен рассказать об этом, потому что мне было хуже всех.

Весь день я не выходил из дому, лежал на кушетке, пытался читать какую-то книжку. Глаза мои бегали по строчкам, я листал страницы, но в голове ничего не оставалось. Тетя Лида включила трансляцию на полную мощность, но и радио мне не мешало. В тот день я не слышал ничего — ни песен, ни маршей, ни даже сводок Информбюро.

Часов в пять вечера вошел Шурка Назаров. Он вошел тихо. Плечи опущены, говорит и двигается медленно, голос хриплый. На щеке у Шурки был длинный красный рубец.

— Пойдем, тебя участковый вызывает.

Мы молча вышли на улицу и пошли в домоуправление.

— Откуда у тебя? — показал я на рубец.

— Мать. За Петына, — хрипло ответил Шурка.

Наше домоуправление объединяло несколько домов в переулке и еще два с соседней улицы. Оно находилось в подвале четырехэтажного дома, разгороженное на мелкие клетушки.

Участковый уполномоченный Зайцев сидел в одной из таких клетушек за обшарпанным канцелярским

столом. Перед ним был лист бумаги и стеклянная чернильница-непроливайка.

Зайцев — новый уполномоченный. Раньше у нас был другой, его взяли в армию и прислали Зайцева — кажется, отозвали с пенсии. Он никого как следует еще не знал, и мы тоже толком не знали его. Седой такой человек, почти дедушка.

— Садись, Крылов, — сказал он мне. — Будем разговаривать.

— Мне идти? — спросил Шурка.

— Выйди в коридор и жди.

— Долго? — робко спросил Шурка.

— Сколько надо, столько и жди, — хмуро сказал Зайцев.

Шурка вышел и притворил за собой дверь. Мы остались вдвоем.

Я понял, что разговор пойдет о скворечнике. Мне сейчас вообще ни с кем не хотелось разговаривать. Особенно с милиционером. Особенно о скворечнике.

Участковый начал издалека.

Он спросил, где я был во время налета, за день до истории со скворечником.

— Как — где? — сказал я. — На крыше, конечно. Мы всегда на крыше — от тревоги до отбоя.

— Кто — мы?

— Я, Сережка и Шурка.

— Все время на крыше?

— Да, — сказал я. — Мы — противопожарное звено.

— И никто из вас ни разу никуда не отлучался?

— Никто.

— А Назаров?

— И Назаров никуда, и я, и Сережка Байков.

— Это ты правду говоришь про Назарова?

— Я всегда говорю только правду.

— Допустим, что так, — сказал Зайцев. — А в ночь, когда засветился скворечник, Назаров тоже никуда не отлучался?

Я рассказал подробно про эту ночь и хотел уже сказать, что и сам теряюсь в догадках насчет скворечника, но Зайцев остановил меня:

— Петра Грибкова ты видел в те ночи?

Я вспомнил, что фамилия Петына — Грибков и зовут его Петр Петрович.

— Видел, когда он вылез из окна, чтоб сорвать скворечник.

— И только? А накануне?

— Нет, накануне не видел.

— На крышу к вам не поднимался?

— Один раз днем, когда налета не было. Мы показывали ему наше хозяйство. Он же в звене охраны порядка.

— Про жильцов дома Грибков у вас спрашивал?

— Много раз, — сказал я. — Первый раз — как только с фронта вернулся, а потом — когда проверял светомаскировку в квартирах. Он же отвечал и за порядок и за светомаскировку.

— Что он спрашивал про жильцов?

— Кто сейчас в Москве, кто в эвакуации, кто в какую смену работает.

— Он вас вместе с Назаровым спрашивал?

— Когда вместе, когда меня одного.

— Кто из вас больше дружил с Грибковым?

— Больше Шурка, но я его тоже уважал.

— Так, — сказал Зайцев, — уважал... Заходил к нему покурить, выпить водки, песни послушать.

— Я совсем не курю, Шурка тоже, — соврал я. — А выпить нам Петын не давал. Мы и не просили.

— Скромные, — едва усмехнулся Зайцев. — Непьющие. А за водкой для него бегал?

— Нет, — сказал я.

— Назаров показал, что по поручению Грибкова он бегал за водкой к Кобешкину.

— Да, — вспомнил я, — мы заходили к Кобешкину один раз, только не решились спросить, он злой был.

— Назаров показал, что был и другой раз, когда он бегал для Грибкова за водкой на рынок.

Об этом случае я ничего не знал и не понимал, почему это так интересует Зайцева? И дальнейшие его вопросы были странные, к скворечнику никакого отношения не имеющие.

Он спросил, видел ли я у Петына кожаное пальто и хромовые сапоги. Я сказал, что не видел. Бывал ли я в комнате Яворских после их эвакуации? Я ска-

зал, что не был. Наконец он встал и, выглянув в коридор, позвал Шурку.

— Назаров, — сказал он Шурке, — твой друг Крылов говорит, что он не видел у Грибкова ни кожаного пальто, ни хромовых сапог. Как это может быть?

— Не знаю, — опустил глаза Шурка. — Ну, сапоги он, допустим, не заметил в тот раз, может, не обратил внимания — они под кроватью валялись, а насчет пальто не знаю, как получается.

— Шурка, — сказал я, — никогда я не видел, чтобы Петын ходил в кожаном пальто и хромовых сапогах.

— Он и не ходил в пальто. Он его принес откуда-то, а потом отдал Толику-Ручке. Как же ты не видел? Толик его надел, когда уходил. Это в тот раз, когда Петын с ним выпивал и песни пел про «наш уголок нам никогда не тесен». Ты же был...

— Я не знал, что это Петына пальто. Я думал, Толик в нем пришел! — удивился я.

— Правду он говорит, — вспомнил Шурка. — Крылов в тот раз позже меня к Петыну пришел.

— Какое у твоего Толика было пальто? — спросил меня участковый Зайцев. — Опиши, что помнишь.

— Хорошее, новое кожаное пальто, какие бывают у летчиков и у танкистов, — сказал я, — пальто с поясом. Я такое видел раньше у сына Яворских.

Сын у Яворских был командир-танкист. В таком пальто я действительно видел его в день парада 7 Ноября прошлого года.

— Ну вот, — сказал Зайцев, — теперь приедет командир-танкист с фронта за этим пальто, а в том пальто ваш Толик ушел. Что вы, ребята, ему скажете?

Намек Зайцева был вроде бы очень ясный, но неожиданный. И пока я соображал, что все это значит, наш седой участковый опять спросил меня:

— Помогал Грибкову скрыться?

— Как — скрыться?

— Вещи ему нес?

— Он Петына не провожал, — вмешался Шурка, — я один. Я хотел Крылова позвать, а Петын сказал: «Не надо этого интеллигентика». Он его не любил, говорил: «Не люблю интеллигентов».

— А тебя он любил?

— Любил, — опустил глаза Шурка, и рубец на его щеке стал краснее.

— За что любил? — спросил Зайцев, зло глядя на Шурку.

— Ты, говорит, простой человек, пролетарий...

— Лопух ты, а не пролетарий, — обозвал Шурку Зайцев. — Слово «пролетарий» у нас на гербе написано. Мало тебе мать врезала.

Шурка еще ниже опустил голову. Казалось, он сейчас заплачет.

Участовый, не глядя на нас, макнул ручку в чернильницу и стал писать. Писал он долго.

Я стал соображать, что Петын, наверно, кого-то обокрал и смылся. А может быть, он никого и не обокрал, может быть, его просто подозревают, потому что он раньше был вором. Но ведь он же исправился!

И еще мне стало неприятно, что Петын, оказывается, меня не любил. Я ведь его очень уважал и ничего плохого ему никогда не сделал.

— Теперь перейдем к тому дню, когда замигал скворечник. — Зайцев поднял глаза от бумаги.

Я подумал, что сейчас должен буду рассказать, что обнаружил в кладовке у Ольги Борисовны, про журнал со словом «керосин», про Андрея Глебовича, про все. И понял: после сегодняшнего утра я не смогу сказать об этом ни слова. У меня сразу пересохло во рту.

— Знал Грибков, что Кириакис в ночную работает?

— Наверно, знал, — сказал Шурка. — Он еще раньше знал, что Кириакис в ночную.

— Откуда?

— Мы ему сказали.

Шурка говорил неточно. Я помнил, что Петын об этом спрашивал меня.

— Это я сказал.

— Наводчики... Оба хороши! И вы оба видели, что из окна срывать скворечник вылез он?

— Да, — вместе сказали мы. — И еще Сережка Байков видел.

— Подонки! Фашистское отродье! — зажмурясь от ненависти, выругался участковый. — Своими руками пристрелил бы гада!

— Кого?! — вскрикнул я.

— У людей горе, слезы, кровь, смерть, а он лазает по квартирам, мародерничает. Это чистый фашист! Чистый фашист! Только фашист может на чужой беде строить свое благополучие. А вы ему помогали, были его разведчиками! Назаров даже помог ему вещи нести.

— Я же не знал! — взмолился Шурка. — Я же думал — он с фронта, раненый. Вы ведь тоже не знали.

Теперь я понял, почему Шурка пришел ко мне такой тихий, почему мать ударила его ремнем по лицу. Но поверить сразу не мог.

— Как же так? — спросил я. — Он же шпиона помог обезвредить. Об этом в книжке есть. Он же грудью заслонил командира в бою. Неужели он врал?

Видимо, участковому рассказы Петына были известны от Шурки.

— Лопухи! — еще раз выругал нас Зайцев. — В первых, книжка, о которой ты, Крылов, говоришь, вышла за два года до ареста Петына. Как же ты не понял этого? Зря он тебя интеллигентом называл.

«Так... — подумал я, — значит, Шурка не пролетарий, а я не интеллигент. Кто же мы тогда?»

— Лопухи! — в третий раз обозвал нас Зайцев. — Неужто вы верили, что он заметил снайпера? Снайпера?! Понял, куда он целится, и заслонил грудью командира?! Неужто вы не видели, наконец, что образ жизни его совсем не изменился, и дружки у него те же, и речь та же? Из ваших же рассказов видно, как Грибков ненавидел всех людей: одних за то, что они образованные; других за то, что они просто труженики; третьих за то, что они уехали в эвакуацию; четвертых за то, что они остались в Москве.

Эти слова участкового повлияли на меня. А ведь и правда, мне все время чуть-чуть не верилось в то, что он рассказывает о себе, и не нравилось, как он говорил о людях. И жизнь его, и пьянки, и словечки действительно никак не изменились.

— Ой, Шурка, — сказал я, — ведь я так и знал!..

— Что знал? — вдруг заорал на меня Шурка. — Ты всегда говоришь «я так и знал». Ни фиги ты не знал!

Я замолчал, потому что Шурка был абсолютно прав.

— Ваш Петын, — сказал Зайцев, — в самом деле очень хитрый и опасный преступник. Я у вас человек новый, но с первого дня заинтересовался им, попросил его прийти предъявить документы. Документы у него были в полном порядке. Действительно с фронта, действительно ранение. Но я все же стал наводить справки. На два дня только и опоздали. Война... Почта плохо работает.

Участковый встал из-за стола и сделал шаг. От волнения ему хотелось ходить, но ходить в этой клетушке было негде. Он опять сел.

— И все-таки, ребята, вы вахлаки. Павел Иванович Кобешкин еще позавчера попросил меня обратить внимание на Грибкова. Грибков принес ему в починку сапоги, а тому показалось, что это сапоги молодого Яворского. Только и это было слишком поздно. А сегодня из лагеря справка пришла...

То, что дальше рассказал нам участковый уполномоченный Зайцев, поразило и меня и Шурку. Оказалось, что в лагере Петын поменялся фамилиями с другим преступником, неким Клейменовым Виктором, а потом бежал. Объявили розыск Клейменова, в то время как тот сидел в лагере под фамилией Грибков, а Петын на свободе добыл документы на свое собственное имя, вновь стал Грибковым, ограбил раненого в грудь солдата, забрал справки о ранении, подделал их и заявился к себе домой. Он знал, что Грибкова пока никто не разыскивает и он сможет пожить здесь некоторое время.

Кто же мог такое подумать!.. Ну, а об остальном вы и сами, наверное, догадались.

Во время одной из тревог Петын обокрал квартиру Яворских. В другую ночь забрался в кладовку Ольги Борисовны Ишиной. Из этой квартиры Петыну ничего не удалось унести. Он взломал шкаф, вытащил шубу Ольги Борисовны, несколько кофточек. Потом вскрыл сундук и, не зная, что на улице заработал сигнал, продолжал копаться в кладовке.

Неожиданно для Петына в квартире появились люди. Много людей. Они рвались в закрытые двери комнат, выходящих на фасад, и не заметили, откуда сре-

ди них появился Петын. Он должен был там появиться: он же в звене охраны порядка.

А Петын быстро сообразил, что к чему. Он легко взломал дверь и даже проявил героизм, выскочив на подоконник.

В первый момент все обошлось благополучно, но Петын понял, что, когда уляжется суматоха, нужно немедленно уносить ноги.

— А как же скворечник? — спросил я участкового.

— Дался тебе этот скворечник! После того что сказал тебе Егор Алексеевич, мог бы и сам догадаться.

Вот оно что! Оказывается, Гаврилов все же успел побывать здесь.

— Звонково-световая сигнализация, — продолжал Зайцев. — Можно еще добавить — с выносным устройством. Реле у него там стояло. Как в банковских сейфах. Стоит кому-то, не знающему секрета, вскрыть сейф, как на весь банк или контору раздается звонок или сирена включается. В магазинах такие устройства делают.

Я вспомнил намек Ольги Борисовны и понял, что сигнализацию ее сын установил, когда учился в седьмом или восьмом классе. Вот уж действительно изобретатель!

— Но ведь это же мог быть сигнал для фашистов! — сказал я.

— Мог быть, — согласился участковый. — Но сигнал только тогда называется сигналом, когда обе стороны знают, что он означает. Допустим, заметили враги мигающий свет, но к чему это, им не известно. Сигнал, который ничего не означает, не сигнал. Однако, думаю, если бы Ишин смог приехать в Москву с начала войны, он бы выключил систему.

— Все равно он виноват, — сказал я, вспомнив, чего стоил мне этот скворечник.

— Не очень, — возразил Зайцев. — Представь себе, что вор забирается в квартиру, допустим, через окно и срывает штору. Свет появился в данной комнате, но виноваты ли хозяева, которых в то время не было дома?

Возражений у меня не нашлось, и я посмотрел на Шурку.

Шурка слушал наш разговор без всякого интереса.

То ли он знал это раньше меня, то ли думал сейчас о другом. О Петыне, наверно, думал.

— И еще то сообрази,— добавил участковый Зайцев,— зачем шпиону соединять сундук со скворечником? Зачем ему устраивать все это на собственной квартире? Разве шпион оставит такие улики? Шпион больше всего думает о безопасности. И потом, жильцы этой квартиры на месте, а Петын-то скрылся. Упустили мы, ребята, фашиста.

— Я его из-под земли достану,— сказал Шурка. Зайцев посмотрел на него хмуро, правда не так хмуро, как смотрел раньше.

— Идите, ребята, домой. Мы четвертый час с вами беседуем. Поешьте, а то скоро тревога будет.

Это верно. Воздушные тревоги бывали тогда каждый вечер и всегда в одно и то же время.

— Ты, Назаров, поужинаешь и приходи сюда. Подем с оперативной группой в район Казанского вокзала. Может быть, понадобится для опознания Грибкова и его приятеля.

ПОМИНКИ И ПРОВОДЫ

В ту ночь мы сидели на крыше вдвоем с Сережей Байковым. Шурка с опергруппой уехал на поиски Петына.

Сережка даже не ругал меня. Он ничего не говорил о том, что я еще глупый. Он просто рассказывал про то, чего я не знал, и еще немного про то, что я никому тогда не должен был говорить.

Он рассказал, что вечером специальным самолетом с востока прилетел сын Ольги Борисовны Ишиной; что он очень секретный инженер и работает над изобретением одной очень секретной штуки; что для этой штуки надо изготовить еще другие штуки, которые должны быть из жаропрочной стали. Там все новое, в технике небывалое, и обработка нужна точнейшая, до сотой доли микрона. Егор Алексеевич Гаврилов как раз этим и занимается. Поэтому когда Владимир Васильевич Ишин прилетел в Москву, он сначала заехал не домой, а на завод к Егору Алексеевичу.

Я узнал, что с завода Сережка приехал вместе с

ними на том самом светло-бежевом «ЗИС-101», который однажды уже привозил Гаврилова. Оказывается, пока участковый уполномоченный нас с Шуркой допрашивал, Владимир Васильевич, Егор Алексеевич и Сережка пытались завести «харлея», но не завели, потому что у него сел аккумулятор. Будут его завтра заводить с ходу. Придется толкать.

— Как ты думаешь, Сережка, могу я завтра помочь им толкать мотоцикл?

В другой раз я и спрашивать бы не стал, пришел бы и толкал. А тут такое дело!

— Конечно,— ответил Сережка,— ты будешь нужен. И еще, Галя просила передать, что Андрей Глебович хочет, чтобы ты пришел на похороны Доротеи Макаровны. Она очень тебя любила и ругала Андрея Глебовича за то, что он тебя однажды обидел. Выгнал вроде.

Только это и сказал Сережка, но я заплакал от его слов. Я долго-долго плакал. Рукав моей куртки стал совсем мокрым. Сережка не утешал меня.

Галину маму мы похоронили на далеком кладбище. На холмик могилы положили дощечку с надписью:

ДОРОТЕЯ КИРИАКИС-НОВИЧКОВА

артистка оперетты

1901—1941

Мы возвращались медленно, потому что на улицах было много войск. Ехали танки и пушки, шагали красноармейцы в шинелях и шалках, рысью прошла какая-то кавалерийская часть.

Андрей Глебович шел впереди всех с высоко поднятой головой. Мы едва поспевали за ним. Я был рядом с Галей, потому что Сережка в это время работал, а Шурка еще не вернулся с поисков Пetyна.

Был с нами и Владимир Васильевич Ишин. Высокий, плечистый и совсем не такой молодой, каким он мне раньше представлялся. Вовкой его уже никто не смог бы назвать.

Он совсем отстал от нас, потому что шел с женщинами нашего дома. Он вел под руки свою маму и мою тетю Лиду. У тети Лиды началась одышка, и Ольга Борисовна говорила:

— Вова, не так быстро, мы с Лидией Ивановной совсем не так молоды, как тебе кажется.

Потом мы с Владимиром Васильевичем опять пытались завести мотоцикл. Мы нажимали на стартер: пятьсот раз правой ногой, пятьсот — левой; мы гоняли его по переулку, выворачивали свечи, проверяли карбюратор и снова гоняли по переулку. «Харлей» так и не завелся.

Пришлось поставить его обратно в сарай, потому что нас позвали домой. Это были и поминки по Дарье Макаровне, и проводы. Ночью Владимир Васильевич и Ольга Борисовна Ишинуы улетали на восток.

За столом в комнате Андрея Глебовича собралось человек двадцать. Мать Сережи, тетя Клава, и мать Шурки, тетя Катя, накрыли сдвинутые столы и сели последними. Егор Алексеевич Гаврилов разлил по стаканам и рюмкам красное вино «Кагор», встал и сказал, что смерть принесли на нашу землю фашисты, что каждому страшно умирать и что каждого убитого жалко, но он в своей жизни не видал более преданной жены, любящей матери и доброго человека. Про кого он говорил, каждый понимал.

Вина налили всем: и Сереже, и Гале, и даже мне.

— Не больше одной рюмки,— предупредил меня Сережа.— Скорей всего, и сегодня будет тревога.

Я просидел с этой рюмкой весь вечер. Наверно, поэтому я так хорошо помню все, что было.

Встала тетя Клава и сказала, что люди смертны и всегда умирают не вовремя. Вот и они с мужем хотели увидеть внуков, а теперь... Тут она посмотрела на тетю Катю Назарову. А теперь вот не известно, что будет, но она надеется, что все будет хорошо.

И опять все выпили.

Моя тетя Лида предложила выпить за здоровье Василисы Акимовны Одинцовой и Павла Ивановича Кобешкина, за то, чтобы они скорей выписались из больницы.

Андрей Глебович стал наливать себе сам. Он наливал помногу и выпивал до дна. Он много выпил в тот день, молчал, а потом встал и сказал:

— Я хочу выпить за тебя, Вовка, за тебя, Владимир Васильевич, за твою золотую голову и за твою работу. Я надеялся на тебя, когда ты был совсем еще

мальчишкой и когда ты был студентом. Я знал, что ты из тех, кто дарит людям счастье и свет, как Кибальчич, Эдисон и Циолковский. Но сегодня я хочу выпить за то, чтобы все силы свои ты отдал нашей победе, чтобы отомстил фашистам за всех. За всех и за нее.

Андрей Глебович замолчал на мгновение и добавил:

— Пусть наши самолеты будут самыми лучшими в мире, Володя, и пусть...

Тут встал Владимир Васильевич. Видимо, он боялся, что Андрей Глебович скажет что-нибудь лишнее.

— Как хорошо, что я родился и вырос в этом доме, — сказал Владимир Васильевич. — В этом доме и в этом переулке. Каждому из вас, сидящих за этим столом, я обязан всем, что во мне есть хорошего. Но больше всего я обязан двоим из вас. Может быть, только благодаря Андрею Глебовичу я понял, что мелочи изменяют лицо мира и что «инженер» происходит от английского слова, означающего «порождать», «вызывать из небытия».

— Не совсем так, — тихо заметила тетя Лида. — От латинского.

К счастью, кроме меня, никто ее не услышал.

— Еще я низко кланяюсь Егору Алексеевичу, одному из тех людей, без кого руда не стала бы металлом, а металл остался бы слитком. За вас, мои учителя! — Владимир Васильевич поднял свой стакан. — За вас, мои учителя, за то, чтобы каждый из нас отдал все для борьбы с фашизмом!

На столе давно не осталось никакой еды, и бутылки давно опустели, а мы все сидели в этой комнате, потому что хотели быть вместе как можно дольше.

Было еще много разговоров, и я подумал, что мне тоже очень повезло родиться и жить в этом доме.

— Вовочка, а когда кончится война? — вдруг очень громко спросила Ольга Борисовна. Она смотрела сразу и на сына и на Егора Алексеевича Гаврилова. — Неужели этот кошмар может длиться долго?

Ее сын, наверно, не знал, какие жаркие споры бывали у подъезда нашего дома.

Если б знал, ответил бы точнее.

— Война всегда длится дольше, чем хочется хоро-

шим людям,— сказал он и поднялся из-за стола.— Нам пора.

Все стали прощаться и выходить в коридор. Я тоже вышел.

Владимир Васильевич надел пальто, кепку и нагнулся к чемодану. Тут я решился и тронул его за рукав.

— Я отдал ваш журнал Ольге Борисовне еще утром.

— Я знаю,— кивнул он.— Ты не вешай носа, а заруби себе на нем три зарубки.

Я совсем осмелел и спросил:

— А почему там было написано про керосин? Разве в авиации применяется керосин?

— В авиации применяется даже кефир, — чуть заметно улыбнулся Владимир Васильевич. — Говорят, что Чкалов, например, иногда пил кефир.

— Нет, правда? — спросил я.

— Могу дать исчерпывающий ответ, — чуть шире улыбнулся Владимир Васильевич. — Теплотворная способность керосина достаточно высока, а при определенных режимах горения он удобней бензина. Надеюсь, ты абсолютно все понял.

Я абсолютно ничего не понял и ответил так:

— Теперь мне все ясно. Можете быть уверены, что я никому об этом не скажу.

— Значит, понял, — во весь рот улыбнулся Владимир Васильевич и поднял чемодан.

Мы стали спускаться вниз. У подъезда я увидел светло-бежевый «ЗИС-101». Шофер стоял у открытой дверцы и этим торопил отъезжающих.

Наверно, все завидовали Ишным. Во всяком случае, я завидовал. Они были первыми людьми в нашем доме, которые летели самолетом. До войны на самолетах в нашем доме не летал никто, ну, кроме самого Владимира Васильевича. Даже Гаврилов не летал. Помоему, до войны на самолетах вообще летали только летчики и полярники. Это теперь все летают: и в гости, и в отпуск, и в командировку, и даже в пионерские лагеря на юг. И между прочим, подавляющее большинство теперешних самолетов летают на керосине. Во всяком случае, все реактивные и турбовинтовые.

Машина тронулась, свернула за угол. А мы стояли

у подъезда: Егор Алексеевич, Андрей Глебович, Галя, тетя Лида и я. Стояли и смотрели.

Из-за колокольной на углу появились два человека. Я сразу узнал Шурку и участкового Зайцева. Они шли к нам, оба усталые и хмурые.

— Поймали? — спросила тетя Лида.

— Нет, — коротко ответил Зайцев.

— Толика поймали, — сказал мне Шурка. — Он говорит, что Петын с новыми документами уехал в Ташкент.

— Эх, — вздохнул Гаврилов, — шпионов ловили, а фашиста упустили. Нужно, чтоб люди с детства могли отличать человека от фашиста.

Егор Алексеевич говорил это всем. Он смотрел куда-то поверх наших с Шуркой голов, но мне казалось, что он смотрит на меня и что все смотрят на меня.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Во второй половине октября 1941 года, когда фронт придвинулся к Москве и через поля совхоза, где мы летом просили машину, пролегли противотанковые рвы, а над Москвой вперемешку со снегом летали фашистские листовки, когда над Мавзолеем был воздвигнут двухэтажный фанерный дом с мезонином, когда на улицах в центре города появились долговременные огневые точки, когда мы с Шуркой помогали строить баррикады возле нашего моста, а на ближних улицах стояли надолбы, — Сережа Байков и Галя Кириакис ушли на фронт.

У Гали была справка об окончании курсов медсестер. За Сережу хлопотала комсомольская организация.

Они ушли на рассвете, когда из репродукторов возле кинотеатра звучала первая песня той поры — «Священная война».

В тот день после работы к тете Лиде пришел Андрей Глебович. Он долго сидел за столом, мешал ложечкой чай в стакане, но не пил его. Просто сидел за столом, ничего не говорил и мешал ложечкой чай в стакане. До сих пор я слышу, как позвякивает эта ложечка.

Вечером, как всегда, была воздушная тревога.

Я вылез на крышу и увидел, что Москва вся белая, белая...

Было холодно. Замерзла вода в пожарной бочке. На крыше мы теперь сидели в зимних пальто и шапках.

— В магазинах только кофе остался, — сказал Шурка. — Даже крабов нет.

Мы были на крыше вдвоем с Шуркой.

Я представил себе, как шагает по дороге Сережа Байков — белобрысый, с белыми бровями и белыми ресницами. Он идет в шинели с винтовкой. А рядом с ним шагает Галя. Из-под пилотки — черные кудри, на боку — санитарная сумка, и поет она песню из кинофильма «Остров сокровищ»:

Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

«Погоди, — подумал я, — постой! Зачем же это?»

Я не хотел, чтобы Сережку ранили. Я хотел, чтобы он всегда был абсолютно здоров и никто его не перевязывал.

Сережка погиб в 1943 году, Шурка — в 1945. Мой год на фронт не попал, и я вот живу.

OB

Его заметили сразу. На нем были крепкие кожаные ботинки, толстые суконные брюки, черная гимнастерка, широкий ремень с белой бляхой и буквами «РУ», фуражка с лакированным козырьком.

— Как с выставки,— сказал кто-то.

А кто-то еще догадался:

— Так, наверно, и сняли с выставки.

Вскоре мы смогли убедиться в верности такого предположения. В нашем красном уголке были витрины с изделиями лучших учащихся из довоенных выпусков: шестерни и шестеренки, валы и валики, штангенциркули, микрометры — продукция фрезеровщиков, токарей и слесарей-инструментальщиков. Там же, на самом видном месте, под стеклом, распяленная на гвоздях, висела законная форма РУ. Такую форму ученикам ремесленных училищ выдавали до войны.

Так вот теперь эта витрина была пуста.

Мы все ходили в чем попало, а со склада нам выдавали только бывшие в употреблении спецовки, телогрейки и ватные брюки. Новичку мы не завидовали, хотя заинтересовались им. Высказывались предположения, что он родственник кого-то из работников училища. Дело в том, что по возрасту да и по росту ему еще рано было к нам. Видимо, сделали исключение. И форму с витрины сняли из-за этого, да еще потому, конечно, что она была очень маленького размера и вряд ли подошла бы кому-нибудь еще.

Выглядел новенький плохо. Худой, бледный и какой-то настороженный. Сам он ни с кем не заговаривал, на вопросы отвечал односложно.

Про таких говорят: тонкий, звонкий, прозрачный, шейка лапшевная, а ножки макаронные.

Фамилия у него была самая обычная, не запоминающаяся — Семенов. По фамилии его вначале никто не звал.

— Эй, ты, с выставки, принеси концы!

Или:

— Звонкий, сбегай за эмульсией!

Он каждого из нас слушался.

Его почти не обижали, вернее, он никогда не обижался. Однажды помощник мастера Ваню Григорян перепутал его простую фамилию:

— Эй, Степанов! Сбегай в кузнечный, узнай насчет поковок.

Новенький как ни в чем не бывало перестал подметать и побежал в кузнечный цех. Дотошный Ваню потом заметил свою ошибку и спросил:

— Зачем же ты меня не поправил? Ты ведь Семенов, а не Степанов.

— Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — ответил новенький. — Семенов, Степанов, Иванов, Сидоров, Николаев — какая разница! Я ведь своей настоящей фамилии все равно не знаю. Не помню.

— Это как же так? — удивился Григорян. — Безпризорник, что ли?

— В прошлом году я, наверное, помнил свою фамилию, а в этом не помню.

«Как это может быть? В прошлом году, наверное, помнил...» — удивились мы, а Ваню спросил еще:

— Но ведь зовут тебя Алексей?

Новенький, запинаясь, сказал:

— Наверно. Так записано в документах.

Потом кто-то придумал игру. Зла в ней было, пожалуй, не очень много, зато ума еще меньше. Семенова стали окликать разными фамилиями и разными именами. Он откликался на любое имя и на любую фамилию, всегда как-то безошибочно угадывая, что обращаются именно к нему.

В нашем училище, находившемся на территории знаменитого московского завода, учили тогда только первые два месяца, потом сразу ставили к верстаку или к станку. Надо было давать продукцию фронту.

Мы были токари. В сыром полуподвале в шесть рядов стояли допотопные токарные станки. Под низким потолком, гроыхая в разбитых подшипниках, крутились валы трансмиссий, шлепали по шкивам приводные ремни, сшитые в десяти местах. Мы точили донышки для реактивных снарядов, для гвардейских минометов, устрашающих врага «катюш». Официально никто нам этого не говорил, это был секрет, который знали все.

Поковки возили из соседнего кузнечного цеха. Мы проходили их резцами по два шаблона поверху и подрезали, оставляя в центре небольшой штырек. На последующих операциях этот штырек срезали совсем.

Семенова определили к нам в группу, но станок не доверили, а был он вначале на подхвате — подметал, смазывал, шорнику помогал.

Однажды мы пошли с ним вдвоем за поковками. В кузнечном было сумрачно. Казалось, что освещают его только раскаленные добела болванки, из которых здесь ковали заготовки для наших «донышек». Длинными щипцами кузнец выхватывает болванку из нагревательной печи и кидает ее под огромный паровой молот; пять — семь ударов — и дело сделано: заготовка летит в сторону, на землю, остывать. Остывали они удивительно быстро.

Ни огнедышащая нагревательная печь, ни горячие паропроводы, ни раскаленные болванки не могли согреть этот цех, похожий на ангар. Дуло там со всех сторон: из-под ворот, из разбитых окон, из вентиляционных устройств, которые были явно лишними. Несмотря на холод и сквозняки, мы любили ходить сюда. Было интересно смотреть на раскаленный металл, на слитную работу кузнеца и молота; любили мы, надев асбестовые рукавицы, кидать в вагонетку тяжелые и еще горячие заготовки. Кроме того, кузнечный цех был едва ли не единственным местом в Москве, где мы среди зимы могли напиться газированной воды. В любом количестве и бесплатно!

В кузнечном бесплатная газировка без сиропа полагалась по правилам охраны труда и техники безопасности. Впрочем, сами кузнецы ее не пили. Газировку хорошо пить на сытый желудок после

жирного обеда, а у голодного человека она вызывает вовсе лишний аппетит, который мешает работать. Так рассуждали взрослые, и газированную воду, предназначенную кузнецам, пили мы, ученики ремесленного училища.

Нагрузив вагонетку, мы с Семеновым вспотели. Я снял рукавицы и сказал:

— Тяпнем по стаканчику?

Мы подошли к коляске с газированной водой.

Эта коляска всегда напоминала мирное время, лето, жару и множество ос, тощих, желто-полосатых, как тигры. Они неведомо откуда появлялись в городе и слетались к колбам с химического цвета сиропом. Вкусная была вода с сиропом, хорошее было время.

Я покрутил ручку сатуратора, налил стакан и протянул его Семенову. Стакан был один, и, пока Семенов пил, я смотрел на него.

— Говорят, ты на фронте был?— спросил я.

Семенов допил воду, сполоснул стакан, наполнил его водой для меня и сказал:

— Нет. В тылу.

— В фашистском?

Я налил себе второй стакан газировки и только тогда услышал ответ:

— У меня память плохая, ты меня лучше не спрашивай.

— И фашистов видел?

— Да,— неуверенно пробормотал он.— Видел.

Непохоже, чтобы он врал. Видимо, скрывал что-то. Не хотел говорить.

— А правда, что ты к нам из госпиталя попал?— настаивал я.

— Нет,— ответил Семенов,— не из госпиталя. Я из больницы к вам попал.

— Из какой?

— Из детской.

Ничего больше мне узнать не удалось.

Запомнился еще один случай. В клубе шел фильм про войну. Веселый повар Антоша Рыбкин — его играл Борис Чирков — на солнечной полянке варил кашу. Он варил кашу и пел зазорные куплеты. А в это время к походной кухне тайными тропами под-

бирались фашисты. Они хотели застать нашего повара врасплох. Но не тут-то было! Антоша Рыбкин легко раскидал десятка три фашистов, действуя в основном кулаком и поварешкой. В конце фильма Антоша раздавал вкусную кашу бойцам и еще веселее пел свои лихие куплеты.

Нам картина понравилась, и я спросил Семенова:

— Правда, здорово он их?

Семенов нахмурился.

— Правда, здорово? — еще раз спросил я. — Молодец Чирков.

— Не помню! — невпопад ответил он. — Отстань!

Губы у него дрожали, глаза стали узкими и злыми.

Я тоже разозлился.

— Ты что, контуженный? С тобой как с человеком, а ты как собака...

Мне захотелось дать ему по шее в воспитательных целях, но шея у него была тонкая и жалобно торчала из нитяного шарфа и широкого суконного ворота.

Я перебежал на другую сторону улицы и догнал ребят.

Все это происходило в первые месяцы. Постепенно Семенов подравнялся на нашем трехразовом питании, ему доверили неплохой еще станок «Цинцинати», и он точил на нем свою норму «донышек». Форменная одежда быстро поистерлась, засалилась; он получил спецовку с телогрейкой и вскоре ничем не выделялся среди нас.

Вновь в центре внимания Семенов оказался только на следующий год в самый неподходящий момент, в канун Первомая, во время весеннего субботника по очистке заводского двора. Мы грузили на машины ржавую металлическую стружку, которой скопилось целые горы, и соревновались с группой слесарей. Каждый человек был на счету.

С утра Семенов вышел вместе с нами, потом кто-то куда-то его позвал. Он отпросился у бригадира на десять минут и не вернулся вовсе.

РАЙТОП

Никогда прежде Семенов не думал, что войны начинаются так неинтересно. Не то чтобы он заранее

представлял себе, как это будет, если начнется война, но когда она началась, не возникло у него того веселого, боевого настроения, которое, казалось, должно сопровождать подобное известие. Не хотелось Семенову ни петь, ни маршировать по улице.

В тот первый день, вернее, в то утро он еще ничего не знал о начале войны. Была хорошая погода — солнечная с востерком. В такую погоду белье сохнет быстро. Лишь бы ветер не усилился, тогда поднимется пыль и белье придется снять.

Толе Семенову шел двенадцатый год. Он был худ и мускулист. Хотя лето только начиналось, он успел загореть, и его, серые глаза казались синими.

Сейчас он сидел на тяжелой дубовой колоде в углу двора, поглядывая, как сушится белье, внимательно разглядывал свои босые ноги и думал.

Он думал обо всем сразу и ни о чем в отдельности. В таких случаях с интересом спрашивают:

— О чем задумался?

А в ответ смущенно говорят:

— Да так. Ни о чем.

Между тем в это самое время в мозгу человека происходит глубокая и потому невидимая работа по сопоставлению вещей, на первый взгляд до смешного несопоставимых. Именно в это время мозг обретает новые возможности для ассоциаций, сравнений и выводов. Именно в эти минуты человек умнеет. Не бойтесь думать ни о чем.

Семенов всего этого не знал, но замечал, что «мысли ни о чем» чаще всего приходят к нему здесь, на дубовой колоде в тени бывшей райтоповской конюшни. Конюшню эту когда-то начали было переделывать под гараж, да так и не закончили, потому что райтоп слился с гортопом. Двор стал зарастать травой. Дом, где помещалась контора Колычского районного топливного отдела, пустовал, а в бывшей конюшне жильцы сразу же оборудовали себе сарайчики. Всего во дворе жили три семьи — теперешние и бывшие служащие райтопа. Бывших служащих постепенно становилось больше, чем теперешних. Они уходили работать в другие учреждения, но жить оставались здесь.

С весны полоскать и сушить белье мать поручала

сыну. У нее от холодной воды болели и опухали руки, а Эльвире было некогда: она училась в десятом классе и у нее были посредственные отметки по физике и немецкому. Сам же Семенов перешел в пятый на «хорошо» и «отлично».

Ветер дул порывами, и Семенов поглядывал на небо, как бы подбадривая солнце: ну давай, суши, суши — тучи могут налететь.

В этом дворе Семенов жил со дня своего рождения, потому что его отец Вячеслав Баклашкин прежде работал счетоводом в райтопе, но, когда оставил семью, перешел в райпотребсоюз. Случилось это давно, и с тех пор Семеновы принадлежали к числу бывших служащих. Порой это сильно тревожило маму. Она не спала по ночам, думая о том, что будет, если их выселят.

Слухи о предстоящих переселениях приносил во двор бывший технорук райтопа, а ныне технорук гортопа Александр Павлович Козлов. Он охотно рассказывал соседям о том, какие планы возникают у руководства насчет бывшей конторы, самого двора и жилых помещений. Обычно его слушали с неприязнью, потому что люди не любят тех, кто приносит тревожные вести. Это несправедливо вообще, и по отношению к Александру Павловичу было тоже несправедливо. Он ничего не выдумывал от себя, а планы использования пустой конторы райтопа действительно имелось множество.

Больше всех во дворе не любила Козлова и его жену Антонину тетя Даша, которая была уборщицей в райтопе, а теперь перешла работать на почту. Вместе с мужем, дедом Серафимом, тетя Даша жила в пристройке рядом с конюшней. Муж был старше ее лет на двадцать и тоже когда-то служил в райтопе — был заготовителем, агентом по снабжению, комендантом, конюхом, сторожем. Любое дело, за которое дед брался, он непременно разваливал. Получалось так потому, что дед никогда не занимался тем, чем следовало по должности, зато всегда люто интересовался тем, что не имело к нему никакого отношения. Деду совсем недавно стукнуло семьдесят, и он стал надомником: брал работу в переплетной мастерской, в специальном станке склеивал и прошивал растре-

панные канцелярские папки со словами «Дело начато — закончено» на разноцветных, но одинаково тусклых обложках. Эти папки всегда подолгу лежали на подоконнике дедовой комнаты, они выгорали на солнце, мокли под дождем. Дед редко прикасался к ним. Обычно он сидел у окна неподвижно, и тело его, так плавно расширяющееся книзу, будто самой природой было предназначено тому, кто ведет сидячую жизнь.

— Семенов! — окликнул мальчика дед Серафим. — Чтой-то мать твоя вчера с двумя кошелками с базару шла? Неуж Баклашкин алименты прислал?

Дед Серафим часто вмешивался в чужие дела, и Семенов не обиделся на него.

— Баклашкин насчет алиментов всегда в срок, — ответил Семенов. — Он же у нас бухгалтер.

Никогда в разговоре с посторонними сын не позволял себе осуждать отца. Самое большее — это слова про бухгалтерскую аккуратность, слова, которые он однажды услышал от матери.

Семенов прекрасно помнил отца, потому что уже ходил в детский садик, когда все это случилось, и еще потому, что отец продолжал жить в их городе, а город был маленький.

Местные краеведы спорили о происхождении названия города. Им удалось установить, что к знаменитому боярскому роду Колычовых их город прямого отношения не имеет. Колыч упоминался в летописях земли русской с XII века. Он часто страдал от войн и разбойных набегов, так как находился вблизи западных рубежей. К середине прошлого века Колыч постепенно превратился в один из тихих провинциальных городков тогдашней России и будто бы послужил фоном для одного из сатирических произведений писателя Салтыкова-Щедрина.

В советское время на Колыч обратили внимание, сделали райцентром, построили швейную фабрику, стадион и отличный клуб промкооперации, который в области считался лучшим театральным зданием. Был в городе и музей, все экспонаты которого помещались в двух комнатах. В первой рассказывалось о Чарлзе Дарвине, происхождении видов, палеолите и неолите, там демонстрировались каменные топоры,

ножи и наконечники копий. На стенах висели изображения различных обезьян, которые справа налево все более приближались к человеческому облику. Однако галерея эта завершения не получала, превращения обезьяны в человека не происходило, не хватало места, ибо во второй комнате музея была сосредоточена вся конкретная история города, причем одна стена осталась свободной и на ней разместили выставку антирелигиозных плакатов и брошюр.

Некоторое время в клубе промкооперации работал межрайонный драматический театр, который перед самой войной целиком куда-то уехал, но клуб продолжали называть театром, хотя чаще всего там крутили кинофильмы, устраивали танцы, и лишь иногда выступали заезжие артисты.

Отец Толи Семенова Вячеслав Борисович Баклашкин ничем не выделялся среди остальных жителей города, и в этом была одна из причин многих его бед. Некоторые люди страдают оттого, что не похожи на других, выделяются из толпы; другие страдают потому, что им никак не удается выделиться. Каждому свое.

Вячеслав Баклашкин был человек как человек — шатен, среднего роста. Одевался, как все служащие; в контору ходил в вельветовой толстовке, в выходные дни надевал шевиотовый костюм. На работе он слыл человеком исполнительным, немногословным и скучным. В его голосе всегда звучала обида, хотя никто его намеренно не обижал.

Между тем обида была. Теперь-то уж все забыли, что в детстве Славик Баклашкин был знаменит в городе и области. С шести лет он играл на мандолине в оркестре народных инструментов, подавал большие надежды, которые почему-то все не оправдывались и не оправдывались. К двадцати пяти годам Вячеслав совершенно охладел к музыке и невзлюбил музыкантов.

Может быть, к этому времени и начался у него разлад с Натальей Сергеевной, матерью Эльвиры и Толи. Небольшого роста, крепко сбитая, со щеками яркими и крепкими, как яблоки, Наталья Сергеевна казалась всем воплощением здоровья и радости. Они познакомились во время конкурса самодеятельности,

где Наташа, тогда еще не медсестра, а санитарка городской больницы, пела частушки, которые сама сочиняла.

Частушки касались всяких городских неполадок и курьезов. Она пела их негромко, серьезно, без улыбки, потому что стеснялась. Чем серьезнее она пела, тем смешнее получалось. Наташины частушки, переиначивая слова для своих надобностей, пели потом на улицах города и в ближайших деревнях.

За талант полюбил ее Баклашкин, за талант постепенно начал ненавидеть. Она привыкла напевать за домашней работой, и его это раздражало. Она верила в него; а ему казалось, что она намекает на его бездарность. Он продал свою мандолину и сказал, что потерял. Она тайком скопила денег и купила ему новую с комплектом запасных струн и цветных медиаторов.

В конце концов Баклашкин ушел к другой женщине, которая, как он объяснял, понимает его по-настоящему.

Семенов старался реже вспоминать об отце, однако это ему почти не удавалось. Он думал о нем каждый день и даже по нескольку раз в день. Вот и теперь вопрос деда Серафима толкнул к самому больному из воспоминаний.

Эльвира училась тогда в четвертом классе, а Толик ходил в детсад. Было 1 Мая, и они с сестрой гуляли по главной улице. Эльвира в белой блузке и красном галстуке гордо вела за руку своего младшего брата, а тот жмурился, глядя на сверкающего леденцового петушка, которого старался облизывать не слишком часто. Вокруг было много людей в белых рубашках, белых брюках и белых юбках. На домах висели флаги, играла музыка, люди улыбались друг другу и пели песни. Было весело, и когда Толя увидел на другой стороне улицы своего отца в компании веселых и нарядных мужчин и женщин, он радостно крикнул:

— Папа! Эльвира, вон наш папа идет!

На Баклашкине были белые парусиновые туфли, белые, хорошо отутюженные брюки и белая рубашка с отложным воротником. Он рассмеялся какой-то шутке, которой ни Эльвира, ни Толя не слышали. Им показалось, что отец обрадовался встрече с ними.

— Папочка! — крикнула Эльвира. — Вот мы!

Отец увидел своих детей, но не подал виду, что узнал их. Наоборот, он отвернулся и тут же изобразил, будто вдалеке увидел нечто очень интересное. Он сказал что-то своим попутчикам, и они направились к стадиону.

— Наверно, он стесняется, что мы плохо одеты, — объяснила братишке рассудительная Эльвира.

Никогда Толя не обращал внимания на свою одежду и на то, кто как одет, и сейчас не подумал о своих штопанных чулочках. Он понял одно: отец его стесняется.

С того дня Толя начал бороться за свою личную независимость ото всего, что связано с отцом. Это по их с Эльвирой просьбе мать восстановила девичью фамилию, и в школе мальчик с первого дня стал Семеновым. Боясь, что люди вспомнят, чей он сын, на вопрос «Как тебя зовут?» он отвечал не «Толя», а «Семенов». Постепенно фамилия заменила ему имя, и взрослые во дворе признали его право на это. Одни называли его так с улыбкой, другие — с ухмылкой.

— Семенов! — опять окликнул Толю дед Серафим. — Не знаешь, чего это Козловы сегодня затеяли? Антонина на крыльцо выходила, так руки по локоть в муке. Меня, честно сказать, завидки берут...

— Не знаю, дед Серафим, — ответил Семенов. — Воскресенье сегодня. Может, гостей ждут.

К Александру Павловичу Козлову Толя относился лучше, чем другие люди в их дворе. Может, и ненамного лучше, но все же лучше. Дело в том, что из Толиных знакомых Александр Павлович был единственным, кто поддерживал отношения с Вячеславом Борисовичем и в разговорах не осуждал его.

— В чужую душу не влезешь, — миролюбиво говорил Козлов. — Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Сердцу не прикажешь...

Жена Козлова, Антонина, женщина крупная, быстрая на руку и на язык, в таких разговорах отмалчивалась, но было ясно, что своего мужа она так просто не отпустила бы туда, где лучше, и вовсе не согласилась бы, что сердцу не прикажешь.

— Точно! Гости ожидают, — подал голос дед Серафим. — Видать, важные будут гости. Сам хлопочет.

Александр Павлович вышел к своему сарайчику и принялся колоть дрова. Это были аккуратные и чистенькие березовые полешки, которые легко разлетались на двое в тот самый момент, когда тяжелый колун прикасался к ним. Такие дрова и должны быть у техника гортопа.

Семенов вспомнил, что мать тоже собиралась напечь пирожков в честь того, что Эльвира окончила школу, однако потом они передумали. Все равно сегодня у Эльвиры выпускной вечер, и десятиклассники складывались заранее. Кстати, матери предложили в больнице внеочередное дежурство, которое оплачивалось в двойном размере.

Александр Павлович колол дрова и, опуская колун, хакал. На нем была белая футболка с голубой буквой «Д» и белые трусы с голубым атласным галуном. Широкие плечи, крепкие ноги, спокойное, мужественное лицо и стрижка «под бокс» очень подходили к его спортивной одежде.

— Герой! — глядя на него из своего окошка, сказал дед Серафим. — Сам словно конь, жена — как пышка. А детей господь не дал.

У деда Серафима с тетей Дашей теперь тоже не было детей. Две их дочери умерли от голода в Гражданскую войну.

— И почему так бывает!.. — продолжал рассуждать дед Серафим. — Другой и не больно видкий, и детей ему не надо, а господь дает. Господь дает, а ён не дорожит. Ни дочь ему не надо, ни сына.

Семенов никак не отозвался на эти слова, хотя отлично понимал, кого дед имеет в виду. Толя сердито подумал про то, что дед Серафим совсем обленился, а тетя Даша сбилась с ног, работая на почте, еще уборщицей где-то и еще стирая чужое белье. Несколько месяцев назад тетя Даша отобрала у мужа штаны, чтобы тот не шлялся, где попало, а переплетал книги. Дед поскандалил неделю, потом смирился и тихо сидел дома в кальсонах. Впрочем, проку от его работы все равно не было.

Видя, что разговор с мальчиком не получается, дед взял с подоконника кипу каких-то документов, которые ему предстояло переплести, поднял с полу банку с клеем и прислушался.

Тихо было в районном городишке Колыч в то утро, когда на западе нашей страны уже несколько часов подряд рвались бомбы и снаряды, громыхали танки, истекали кровью первые тысячи солдат и мирных жителей. Самая кровопролитная в истории вторая мировая война шагнула на территорию СССР.

— Обед скоро, — сказал дед Серафим. — Есть охота.

Он заглянул в жестянку. Клей высох, его надо было залить водой и поставить на плиту, а деду Серафиму не хотелось вставать с места.

Семенов сидел на дубовой колоде и смотрел, как Александр Павлович Козлов, набрав свежих березовых поленьев, скрылся за крашенной голубой краской дверью своей квартиры.

Ветерок слегка раскачивал сохнущее белье. По улице протарахтел грузовик.

Дед Серафим опять заговорил:

— Гляди, как Козлов динамовскими трусами хвастает!

И Семенов увидел Александра Павловича, в странном оцепенении замершего на своем крыльце. Минуту Козлов стоял молча, оглядывая двор, а потом крикнул:

— Включите радио! Война!

Семенов хотел побежать домой, к репродуктору, засуетился дед, потому что у них репродуктор был на кухне, но Козлов уже устанавливал на подоконник деревянный приемник ЭЧС-2.

«Говорит Москва! Говорит Москва!..»

Радио сообщало, что сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны фашистские войска атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие, и только после этого в пять тридцать утра посол Германии Шуленбург известил правительство СССР, что это война.

Некрашенный деревянный приемник ЭЧС-2 работал хорошо, каждое слово звучало громко и внятно, но люди стояли возле квартиры Козлова и будто не понимали того, что слышат.

«Победа будет за нами!» — сказало радио.

Александр Павлович повторил эти слова для своей

жены Антонины, для деда Серафима и для Семенова. Потом стали передавать торжественную музыку. Она была военной и мужественной.

Семенов вспоминал об этом потом, а тогда прежде всего подумал, что надо сбегать в больницу и предупредить мать. Она боялась войны, не любила, когда про нее говорили и когда сын в нее играл. Однако Семенов быстро сообразил, что бежать в больницу не надо, там уже все знают — больные любят слушать радио.

С сумкой почтальона на боку во двор вбежала тетя Даша. Увидев, что здесь про войну уже известно, она повернулась и пошла прочь.

— Дарьюшка! — взмолился дед Серафим, до пояса высунувшись из окна. — Отдай штаны! К людям хочу.

Тетя Даша не обернулась.

— Гитлер ты! — ругнулся дед Серафим и вылез во двор в одних подштанниках.

Александр Павлович убрал с окна приемник и вскоре появился во дворе в своем обычном полувойенном костюме — сапоги, синие галифе и гимнастерка под широким командирским ремнем. Из-за какой-то болезни он никогда не служил в Красной Армии, но такую одежду в те предвоенные годы любили многие ответственные работники областного, районного и сельского масштаба. Александр Павлович Козлов считал себя ответственным работником.

Он ушел со двора быстрой деловой походкой, и все поняли, что вернется он с новостями.

Так и случилось. Вечером Александр Павлович рассказывал то, что узнал по секрету от одного очень видного товарища. Оказывается, в ответ на внезапный удар фашистов наши войска стремительным контрударом опрокинули врага и преследуют его, отступающего в панике на заранее подготовленные позиции. По словам Александра Павловича, получалось, что наша кавалерия уже форсировала Вислу и вошла в Варшаву, занятую фашистами еще в 1939-году, и стремительно движется к Берлину.

Семенову это сообщение понравилось, и он пошел домой, чтобы посмотреть, где на Эльвириной карте Варшава и далеко ли от нее до Берлина. Он измерил расстояние от нашей границы до Варшавы и от Варша-

вы до Берлина, потом посмотрел масштаб. Все получалось правильно, здорово и быстро.

Семенов снял белье с веревки, сложил его на кухне и отправился в школу к Эльвире. Там было не до него. Выпускной вечер решили не отменять, а мальчишки Эльвириного класса, оказывается, уже написали коллективное заявление с просьбой считать их добровольцами. Завхоз школы, он же по совместительству физрук, Леонид Сергеевич Щербаков, как бывший командир Красной Армии, объяснил, что в таких случаях коллективные заявления не пишут, потому что каждый должен говорить от своего собственного имени. Теперь ребята сидели за партами, где еще недавно писали контрольные работы, и на таких же отдельных листочках из тех же тетрадей каждый в отдельности излагал свою просьбу участвовать в борьбе с фашизмом.

Семенов увидел, что среди двенадцати мальчишек выпускного класса сидит одна девушка. Это была его сестра Эльвира. Она тоже писала заявление.

Александр Павлович Козлов пользовался, видимо, непроверенными слухами, когда в первый день войны утверждал, будто наши войска уже опрокинули противника и бьют его на его же территории. Нужны были долгие месяцы и годы кровопролитной борьбы и героических схваток за каждый метр земли, чтобы сбылось то, о чем мечтали многие в тот первый день. Что делать! Всем бы хотелось, чтобы война была не на нашей земле, чтобы не возле наших домов рвались бомбы и снаряды... Но до победы было еще долго, и не всем героям этой повести довелось ее увидеть.

Радио и газеты тех первых дней войны сообщали о войне крайне сдержанно и даже скупо.

Из сообщений Советского Информбюро

... В течение 24 июня противник продолжал развивать наступление на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫССКОМ, КОБРИНСКОМ, ВЛАДИМИРОВОЛЫНСКОМ и БРОДСКОМ направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии...

Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам на поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам и важным военным объектам противника. В боях в воздухе нашей авиацией сбито 34 самолета.

В Финском заливе кораблями Военно-Морского Флота потоплена одна подводная лодка противника.

... В течение всего дня 4 июля шли ожесточенные бои на ДВИНСКОМ, БОРИСОВСКОМ, БОБРУЙСКОМ и ТЕРНОПОЛЬСКОМ направлениях. На остальных участках фронта наши войска, прочно удерживая занимаемые позиции, ведут бои с противником, пытающимся вклиниться в нашу территорию...

Наша авиация в течение дня наносила удары по аэродромам противника и по его мотомеханизированным частям, задерживая их продвижение и нанося им большое поражение.

По уточненным данным, за вчерашний день наша авиация сбила 62 самолета противника.

...В течение 14 июля продолжались бои на СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ, ЗАПАДНОМ и ЮГО-ЗАПАДНОМ направлениях.

Наши войска противодействовали наступлению танковых и моторизованных частей противника и неоднократно контрударами наносили врагу тяжелые потери.

...В течение 24 июля развивались упорные бои на ПОРХОВСКОМ, СМОЛЕНСКОМ и ЖИТОМИРСКОМ направлениях.

На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось.

Наша авиация в течение дня во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по мотомехчастям и пехоте противника и действовала по авиации на его аэродромах.

По уточненным данным, за 23 июля в воздушных боях и на земле нашей авиацией уничтожено 58 самолетов противника. Наши потери — 19 самолетов.

По уточненным данным, при налете на Москву в ночь с 23 на 24 июля сбито 5 немецких самолетов.

НАШЕСТВИЕ

Эльвира родилась, когда родители любили друг друга, а Вячеслав Борисович верил в свою звезду. Имя для дочери он выбрал по своему вкусу, звучное и в то время модное. Дочка походила на мать, и вначале это сходство нравилось отцу. Нравилась ее круглая мордашка с круглыми, чуть удивленными глазами, нравилась походка, веселая и бойкая, нравилась застенчивая смешливость. Однако постепенно неудовлетворенное самолюбие вытесняло из сердца Баклашкина все добрые чувства и раньше дружба — любовь к родным.

Рождение сына, казалось бы, вновь повернуло его к семье, но продолжалось это очень недолго. Маленький Толя казался отцу слишком похожим на него, в

нем отец видел свою собственную беспомощность и предрекал сыну такую же несладкую жизнь. Воображение Баклашкина рисовало ему большую и несчастную семью, во главе которой волей случая оказался он. Нет, здесь ему счастья не видать. Поэтому при первой возможности отец сбежал от детей и жены.

Между тем Вячеслав Борисович ошибался. Это была счастливая и дружная семья, где все любили друг друга, ни в чем не считали себя обделенными, и единственным их горем был позорный уход отца. Они не понимали причин такого поступка и оттого огорчались еще больше. Об этом в семье никогда не говорили.

Однажды — уже в августе. — придя с очередного ночного дежурства, мать сказала вроде бы мимоходом:

— Говорят, папу нашего сегодня с эшелонам на фронт отправляют.

Дети смотрели на мать настороженно и ждали, что будет дальше. То, что она назвала Баклашкина папой, слегка задело их обоих. Папой его давно здесь не называли.

— Может, сходите на вокзал? В одиннадцать отправляют, я слышала. Надо все-таки...

Семенову не хотелось провожать отца, но возражать он не стал. Мать старалась не смотреть на детей, она понимала, как им будет трудно. Она не просила, не советовала — она надеялась.

— Хорошо, — сказала Эльвира. — Ты права, мама, в такое время...

На улицах было пыльно и грязно, появилось много незнакомых, усталых людей, военных и штатских, много машин, повозок, лошадей. Пришельцы из западных районов общались в основном между собой, вроде бы вовсе не замечая местных жителей. Брат и сестра шли к вокзалу: Эльвира в лучшем своем маркизетовом платье, по словам тети Даши, похожая на наливное яблочко, и Семенов — худенький мальчик в ковбойке с красным галстуком, специально надетым матерью, в праздничной вельветовой куртке и со значком «Будь готов к труду и обороне СССР».

Было пять минут одиннадцатого, и они, конечно, успевали на вокзал. Не хотелось, однако, приходить слишком рано, потому что неизвестно, о чем им с отцом говорить. Они повернули на Привокзальную и не-

вольно остановились. По широкой асфальтированной улице навстречу им бежали люди. Вид у них был испуганный, многие нервно смеялись. Вслед за людьми все быстрее и быстрее, с топотом, визгом и хрюканьем двигалось огромное стадо свиней. Крупные, белые, хорошо откормленные, породистые, они заполняли всю улицу, и топот их копыт нарастал. Недалеко от того места, где остановились брат и сестра, улица сильно сужалась, потому что в самую мостовую упирались колонны бывшего епархиального училища, где теперь находился городской банк. Здание банка было окружено палисадником с фигурной металлической оградой. Здесь образовалась пробка, затор, какой получается, когда несколько человек пытаются одновременно проскочить в узкую дверь. Задние напирали. Раздался обратительный визг, потом треснула и повалилась ограда палисадника. Свиньи, которые слегка замедлили свое движение, с новой силой ринулись вперед.

Семенов понял, что свиньи растопчут его своими мелкими копытцами, и похолодел от страха. Тут он услышал крик сестры:

— Сюда! Сюда!

Он оглянулся. Улица за ним совершенно опустела. Двери всех подъездов и калитки оказались наглухо закрытыми. Свинья лавина приближалась.

— Сюда! — еще раз крикнула Эльвира, и Семенов увидел сестру в проеме высокого окна. Она протягивала ему руку.

Толя стал рядом с ней на покатый подоконник. Внизу неслись свиньи. Сверху смотреть на это было еще страшнее. Многие животные почему-то были в крови. Оказалось, что опрокинутая ограда госбанка разрывала им бока. Кровь заливала мостовую, на стенах домов оставались кровавые полосы. Стадо несло вперед, ему не было конца.

— Это как во сне, кошмар какой-то, — сказала Эльвира. — И мне страшно, как во сне. Даже голова кружится и руки слабеют.

Семенов посмотрел на ее круглое лицо и испуганные детские глаза и сказал, как часто говорила мать:

— Ты у нас известная трусиха...

Получилось это как-то фальшиво и неубедительно. Ему и самому было очень страшно.

Наконец поток свиней иссяк, а за ним показались совершенно растерянные люди в новых синих телогрейках и с кнутами в руках. Последним вышагивал очень высокий краснолицый человек с толстым портфелем. Он растерянно оборачивался к людям, которые свисали из всех внезапно раскрывшихся окон, и объяснял, хлопая рукой по пузатому портфелю:

— Племсовхоз мы, свиной племсовхоз. Элита, понимаете... Эвакуировались специальным эшелоном, и вдруг велели выгружаться... Разве мы виноваты... Элита мы...

Конечно, они не были виноваты, эти люди, спасавшие народное достояние. Не были виноваты и те, кто попросил их освободить вагоны для кого-то или чего-то более важного и ценного.

Брат и сестра не думали об этом. Времени до одиннадцати оставалось совсем мало. Бегом они кинулись к вокзалу. И в это время там один за другим раздалось несколько сильных взрывов. Фашистские самолеты бомбили станцию. Их было шесть — пикирующих бомбардировщиков с черными крестами. Они заходили на бомбежку по очереди, с воём пикировали и, сбросив бомбы, на бреющем уходили к западу.

Когда налет кончился и ребята подошли к вокзалу, часы на башне показывали ровно одиннадцать. Известно было только — идут часы или остановились во время бомбежки. На перроне оказалось сравнительно мало народу. Санитары в несвежих белых халатах несли на носилках раненого. Впереди, поминутно оборачиваясь и торопя их, семенила женщина-врач в толстых очках. Раненый громко стонал и ругался.

На ближайших путях не было ни одного поезда. В тупике возле пакгауза горели какие-то теплушки. На первый взгляд, фашистский налет не удался. Но потом Эльвира увидела, что сильно разрушено здание депо, снесена водокачка и на запасных путях разбит состав пассажирских вагонов. Она кинулась к какому-то человеку в железнодорожной форме. Тот не дослушал ее.

— Их утром отправили, — сказал он. — Да, должны были в одиннадцать, а отправили в семь утра. По обстановке. Видите, что делается... Хорошо, что успели станцию разгрузить.

Его голос заглушила сирена воздушной тревоги, ус-

тановленная тут же, рядом с вокзальным колоколом. В небе опять появились фашистские бомбардировщики. Железнодорожник толкнул ребят в какую-то дверь. Они побежали через зал, потом вниз по каменной лестнице и оказались в глубоком подвале. До войны здесь были подсобные помещения, склады и камера хранения. Теперь тут было бомбоубежище и находились начальник вокзала и военный комендант.

Наверху рвались бомбы, в бомбоубежище стоял гул голосов, а у железнодорожников работа шла своим чередом. Стучал телеграфный аппарат, трещали телефоны, начальник подписывал какие-то бумажки, отдавал распоряжения штатским и военным. Из обрывков разговоров брат и сестра поняли, что фронт за последние дни неожиданно быстро придвинулся к Колычу и теперь всюду идет эвакуация наиболее важных городских учреждений и предприятий.

Эльвире не хотелось верить в то, что она слышала. Фронт рядом, город готовят к боям. Эвакуация...

— Физикус! — Семенов дернул Эльвиру за рукав. — Точно, Физикус!

Без сомнения, это был он, «Леонард Физикус с дикими зверями», дрессировщик и иллюзионист. Он был одинок в этом подвале и с трудом протискивался сквозь разношерстную, неуступчивую толпу. Кто знает, может быть, совсем недавно эти люди аплодировали известному в области дрессировщику, а теперь вовсе не хотели узнавать его.

— Прра-щу! — выдыхал Физикус, в такт слогам действуя покатыми плечами. — Прра-шу! Прра-шу!

Майор в роговых очках, военный комендант станции Колыч, вначале никак не мог понять, чего хочет от него этот нервный человек с пронзительным голосом. Майор слышал слова, смысл которых до него почему-то не доходил.

— Повторите, пожалуйста! — Интеллигентный комендант кривил лицо, думая, что так он будет лучше слышать. — Я вас не вполне понял.

— Удав американский! — почти кричал Физикус. — Понимаете — удав!

— Понимаю, — кивнул майор. — Американский!

— Из Южной Америки! — уточнил Физикус.

— Понимаю.

— Еще обезьяны, осел и коза!

— Понимаю.— У майора было мало времени.— Короче.

— Нужен вагон! — крикнул Физикус. — Можно пассажирский, можно товарный.

Майор не стал отвечать словами, а только рукой показал, что об этом и говорить не стоит.

Физикус едва не упал в обморок. Глаза его закатились под лоб, губа отвисла. Майор пожалел дрессировщика.

— Я бы с удовольствием... — сказал он. — Вагонов нет, тяги нет.

Физикус неожиданно воспрянул:

— Полвагона! Я согласен на полвагона.

— Нет! — У майора от злости вспотели очки.

— Уникальный удав! — Физикус навис над комендантом. — Таких удавов в СССР не более трех штук. Умоляю вас, ради науки!

Семенов во все глаза смотрел на Физикуса и ждал, чем кончится этот захватывающий разговор об эвакуации ценных дрессированных зверей. Вблизи Леонард Физикус выглядел не так эффектно, как на сцене. Это был усталый пожилой человек в мятом сером костюме. Только бабочка на голубой рубашке говорила о его принадлежности к искусству.

Майор не хотел больше слушать Физикуса, но тот хватал его за руки, умолял, заклинал и грозил, что будет жаловаться в Москву. Майор заколебался.

— Поймите, товарищ, — сказал он Физикусу. — Мы целый эшелон элитных свиней выгрузили. Элитных свиней оставляем, племенных, понимаете?

— Сравнили! — вскинулся дрессировщик. — Это же уникальный удав, за него валютой плачено! Вы за это ответите!

— Хорошо, — сдался комендант. — На открытой платформе поедете? Антонюк! Есть у нас место на платформе?

Антонюк, очень худой и немолодой уже старшина, из-под больших черных бровей глянул на майора.

— Так миста ж немає, — сказал он. — Там же ж старушки с дитями!

— Надо что-то придумать, Антонюк, — не так уверенно, как раньше, заявил комендант. — Удав уникальный, американский. Из Южной Америки.

— Товарищ майор... — укоризненно покачал головой старшина. — Мы ж им змлю ридну зальшили, зальшимо ж ще цього удава.

Кто-то в толпе засмеялся, но в это время наверху раздался сильный грохот, с каменных сводов полетела чешуя побелки.

Комендант выскочил из-за стола и помчался к выходу, Физикус зло смотрел ему вслед.

Эльвира слышала весь этот разговор и думала: «Что же это, что ж? Половина Украины, вся Прибалтика и Белоруссия в руках врага, а я сижу в тылу. До сих пор нет ответа из военкомата. Ребят давно взяли, а мной пренебрегли».

Эльвира не знала, что находится уже не в тылу, что завтра их город будет передним краем, а еще через день окажется по ту сторону линии фронта.

Александр Павлович Козлов был человеком дисциплинированным. Этим качеством он гордился и его же больше всего ценил в других людях. Однако самое приятное, когда приказ начальства совпадает с горячим желанием подчиненного. Сейчас Козлову представляется именно такой случай.

Александр Павловичу предложили эвакуироваться. Машина должна была заехать за ним через час. Он упаковал два чемодана, увязал веревками большой сундук.

— Всего три места, — говорил Козлов Наталье Сергеевна, тете Даше и деду Серафиму, которые подошли прощаться. — Другие везут с собою все, включая мебель, а я — только самое необходимое... Конечно, есть точка зрения, и она правильная, что врагу следует оставлять пепелища, но мебели это не касается, мебель тут ни при чем. Помните, как сказал поэт Пушкин: «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою».

— Это верно, Александр Павлович, — согласился дед Серафим. — Москва — конечно. Только мы в Ко-

лыче живем, а не в Москве. А что нетерпелив Гитлер, это еще верней. Так и прет.

— Врагу нельзя оставлять ничего сколько-нибудь важного, — поглядывая на часы, продолжал свою лекцию Козлов. — Необходимо взрывать мосты, элеваторы, административные здания, заводы и фабрики. Даже школы и больницы следует взрывать, ибо в них враг может устроить свои госпитали.

— Неужто школы и больницы? — неожиданно для себя самой сказала Наталья Сергеевна. — Школы и больницы взрывать не надо. Больницы — это святое дело. Люди болеют, на войну невзирая. Если взорвать больницу, куда они, бедняги, денутся. Вчера, например, оперировали шестерых. Старику семьдесят лет, аппендикс вырезали, у него уже перитонит начинался. У женщины одной из деревни Пармузино непроходимость была, заворот кишок. Это же смерть, а у нее трое маленьких, две девочки и мальчику шесть лет.

Наталья Сергеевна не решилась бы так прямо возражать Козлову, но прошедшая ночь действительно была очень напряженной — несколько экстренных операций подряд. Кроме того, точка зрения, которую высказывал сейчас Александр Павлович, часто обсуждалась в больнице.

Старейший в городе хирург Лев Ильич Катасонов, у которого Наталья Сергеевна работала операционной сестрой, твердо сказал, что в эвакуацию не поедет и будет работать в операционной, как работал прежде. Сначала с ним жестоко спорили, потом спорить перестали. Лев Ильич не любил возражений, он выдергивал из уха слуховой аппарат, когда не хотел слушать собеседника. Выдернет трубку и, вежливо улыбаясь, извиняется: мол, я вас, к сожалению, не слышу. Старому хирургу шел семьдесят восьмой год, но никто не мог выстоять над операционным столом больше, чем он. Бывало, что молодые ассистенты не выдерживали напряжения, уставали и менялись, а он работал без капли пота на высоком лбу.

Наталья Сергеевна была у него операционной сестрой почти пятнадцать лет и относилась ко Льву Ильичу, как Земля относится к Солнцу. Она всегда была рядом с ним, светила его светом и не мыслила без не-

го своей жизни. Старик высоко ценил Наталью Сергеевну. Он сам ее для себя обучил, но был сдержан в выражении своих чувств. Кстати, Лев Ильич, один из немногих в городе, неизменно обращался к Наталье Сергеевне на «вы». Впрочем, старик со всеми был неукснительно вежлив.

— Школы и больницы нельзя разрушать, — робко повторила свою мысль Наталья Сергеевна. — Вы уж простите, но тут вы перегнули, Александр Павлович.

— Ты, Наташа, смотришь со своей маленькой колокольни, — добродушно объяснил ей Козлов. — Есть, однако, вышки повыше. Есть, понимаешь, точка зрения, а есть кочка зрения. Так вот у тебя — кочка.

Александр Павлович считал себя вправе давать советы жителям двора. Ведь он был почти что инженер, правда, без диплома, к тому же старший по должности и, как он был твердо уверен, по политическому опыту. К Наталье Сергеевне он относился покровительственно и снисходительно. Это проявлялось в тоне, каким он разговаривал с ней и о ней. Чаще всего он высказывал такую мысль:

— Баба она неплохая, добрая, работающая, но бесхарактерная, бесхребетная, без силы воли. В наше время сила воли — все. — Иногда он уточнял себя: — Сила воли, умноженная на разумную гибкость и непримиримость к недостаткам.

Александр Павлович не формулировал точных причин своей снисходительности, но главная — была в том, что он хорошо знал Вячеслава Баклашкина, иной раз выпивал с ним стопку-другую в чайной возле рынка, но не уважал его. Если же человек, которого Александр Павлович не уважал, обижал кого-то другого, то этот другой и вовсе не стоил уважения.

— Точка зрения отличается от кочки зрения, как ученый от грамотного, — сказал Козлов. — Обо всем народе надо думать, о стране.

— Правильно говоришь, Александр Павлович! — воскликнул дед Серафим, который всегда принимал сторону предыдущего оратора, потому что ему было интересно, что скажет следующий.

Однако возражений со стороны Натальи Сергеевны не последовало, весь пыл ее прошел, она застеснялась

своей упрямости, побоялась спорить дальше, чтобы не обидеть собеседника.

— Что-то машина долго не идет,— сказала Наталья Сергеевна, находя повод отойти от Козлова и заняться своими делами. — Пойду и я. Как приедут, услышу.

Александр Павлович взглянул на свои большие часы и удивленно поднял брови. Он не волновался, ибо волноваться на людях — значит терять авторитет.

— Радио, что ли, послушать... — Он перенес приемник с сундука на подоконник, включил в сеть и присоединил антенну. — В последний раз.

Наталья Сергеевна, тетя Даша и дед Серафим очень этому обрадовались. После недавнего воздушного налета радиотрансляция в городе не работала.

Приемник нагревался медленно, а когда нагрелся, сразу закричал на непонятном языке. Кричал он громко и нахально, слова летели, как кирпичи. Никто из присутствующих не знал немецкого языка, но все поняли, что то говорит именно немец, и даже не просто немец, а фашист. Всем стало жутко, что приемник вдруг ни с того ни с сего заговорил не по-нашему, но больше других испугался Александр Павлович. Он кинулся к подоконнику и рванул шнур. Фашист умолк.

— Шкала сдвинулась, — суетливо объяснял Александр Павлович, — настройка... сдвинулась, и все. Увязывали, переносили... Я его сдавать собирался... Шкала сдвинулась.

Александр Павлович в самом деле никогда не слушал фашистское радио, он и не думал об этом: ему вполне хватало сознания, что у него есть радиоприемник — один на всю улицу. Слушал же он только радиостанцию имени Коминтерна, Москву. Как не испугаться, когда приемник вдруг заговорил по-немецки! Может быть, это сам Гитлер говорил, кто знает. Неприятно было и то, что приемник этот следовало сдать еще месяц назад, но Александр Павлович купил его перед самой войной по случаю, и жаль было расставаться с такой ценной вещью. Теперь все это могло обернуться большущей неприятностью.

Он зря беспокоился, никто во дворе не заподозрил Александра Павловича в том, что он специально настроился на волну фашистской радиостанции; он, одна-

ко, все оправдывался, объяснял тете Даше, Наталье Сергеевне и деду Серафиму устройство радиоприемника и как легко сбивается настройка, если невзначай повернуть этот вот винтик.

Наконец во двор въехала гортоповская полуторка. В кузове уже сидели трое, лежали узлы и чемоданы. Супруги Козловы быстро погрузились; Александр Павлович запер квартиру, попросил остающихся приглядывать и пообещал скоро вернуться.

— Наше дело правое! — заявил он, стоя в кузове. — Враг будет разбит, вот увидите.

Исправить впечатление от случившегося ему не удалось. Неловкость чувствовали все. Когда полуторка выехала на угол Луговой и Салтыкова-Щедрина, Александр Павлович увидел Эльвиру. Она стояла с Верой Ивановой, самой близкой своей подругой. Девушки о чем-то спорили и не глядели по сторонам.

— Мы скоро вернемся! — крикнул им Александр Павлович и помахал рукой. — Мы скоро вернемся!

Он и представить себе не мог, как скоро придется ему вернуться сюда.

Разговор с Верой сначала как-то успокоил Эльвиру. Подруга говорила, что видела, как ночью через город в западном направлении прошла большая воинская часть и штук двадцать танков. По ее мнению, немцев решили остановить именно у их города, а эвакуацию проводят на всякий случай. Эльвира поверила этим доводам. Хорошим людям свойственно верить в лучшее. В этом же смысле она истолковала и слова райвоенкома, который совсем недавно сказал ей, что спешить некуда, она еще успеет навоеваться.

Разговор с Верой успокоил Эльвиру, но когда она вошла в свой двор, увидела, что окна квартиры Козловых среди бела дня закрыты ставнями, когда она вспомнила самого Александра Павловича в кузове полуторки и его обещание скоро вернуться, ей стало тоскливо и даже страшно.

«Уехал все-таки. Многие уехали, очень многие. Неужто они глупые, зря срываются из дома и уносятся неведомо куда! — думала девушка. — Неужели они все глупые, а мы с Веркой такие умные?»

— Эля! — позвала мать. — Иди обедать, мы тебя ждем.

Наталья Сергеевна была человеком гордым. Она гордилась тем, что ею дорожат в больнице и что сам Лев Ильич преподносит ей трижды в год цветы — в день рождения, в день ангела и на Восьмое марта. Она гордилась тем, что за пятнадцать лет имела в больнице только благодарности и что ее ставят в пример молодым хирургическим сестрам. Но больше всего Наталья Сергеевна гордилась своими детьми. Вот и сейчас, усадив их обедать, она украдкой любовалась, как спокойно, аккуратно и деловито ребята принялись за еду. Порядок в доме Наталья Сергеевна ценила очень высоко, а к воспитанию привычек относилась как к самому главному.

Разговор за обедом был сдержанным, хотя речь шла о войне и эвакуации, о слухах про бои на западе, выдаче населению по пуду муки на каждого работающего, о том, что некоторые вовсю запасаются картошкой, соли теперь не достать, из круп есть только овсянка.

Про вчерашнее, про то, как не удалось проводить отца, про налет на вокзал, про эшелон элитных свиней, которые пешим порядком двинулись в дальний путь на восток, за столом не говорили. Это все разговоры без пользы, болтовня. Мать не любила болтовни, говорить нужно только о делах.

— Мамочка, — твердо заявила Эльвира, — я хочу тебя предупредить, что завтра я еще раз пойду к военному. Я дам ему три дня сроку. Если не будет ответа, сама убегу на фронт.

— Хорошо, — сказала мать. — Мы это еще обсудим. Время есть.

Наталья Сергеевна поставила перед детьми по гра-
неному стакану горячего вишневого киселя, когда в дверь постучали.

— Войдите, — сказала Эльвира. Она думала, что это ее подруга Верка.

Однако вошла не Вера Иванова, а молодой командир, младший лейтенант.

В петлицах его гимнастерки поблескивали новые «кубики», на широком командирском ремне желтела новенькая кобура.

— Здравствуйте, разрешите представиться, — козырнул он. — Подпоручик Дубровский проездом в свою часть...

Он самую капельку картавил, вернее, грассировал, получалось это у него лихо, на дворянско-гвардейский манер.

— Дефорж! — радостно воскликнула Эля. — Дефорж, откуда?!

Теперь и Семенов узнал командира. Этот парень учился в их школе на класс или на два старше Эли — для Семенова это не имело никакого значения. Иногда Семенов видел этого парня вместе с Эльвирой, потому что оба они были членами комсомольского бюро, вместе выпускали стенгазету старшеклассников и выступали на концертах в школе и на агитпункте.

— Мапочка, — сказала Эля. — Это Витя Дубровский, ты же его видела.

— Пусть Витя вымоет руки, я его покормлю, пока обед не остыл.

— Если можно, я во дворе умоюсь. — Виктор явно смущался. Он никогда раньше не бывал в этом доме. — Эля, слей мне, пожалуйста.

Все вышли к крыльцу. Виктор снял выгоревшую гимнастерку, взял в руки большой кусок хозяйственного мыла. Младший лейтенант был черно-серым от солнца и пыли, тело его под несвежей сиреневой майкой оказалось неожиданно худым и слабым. Узнать в нем прежнего Витю Дубровского, мальчика из благополучной интеллигентной семьи, было действительно трудно. В городе его помнили стройным, спортивным мальчиком в модной заграничной курточке с «молниями». За бледное лицо, картавость и отличные отметки по всем предметам его прозвали Дефоржем. Каждый помнит, что француз Дефорж — персонаж из повести Пушкина «Дубровский». Ничего обидного в этой кличке не было. Можно было, конечно, усмотреть намек на то, что Витя больше походит на Дефоржа, чем на Дубровского. Однако самого Витю это мало заботило, а когда ему надоедали, он внушительно отвечал цитатой из той же повести: «Я не то, что вы предполагаете, я не француз Дефорж, я — Дубровский».

За обедом, который Виктор поглощал деловито и

быстро, он успел рассказать, что у него совсем мало времени, что он здесь оказался случайно, проездом в свою часть, которая должна быть поблизости.

— Представляешь, — Виктор обращался преимущественно к Эльвире, — кинулся к своим, они неделю назад уехали. Я полетел в школу — там никого. Тогда я к тебе... — Он поправился: — К вам.

В этих словах была одна неточность. В школу Виктор не заходил. Прямо из своего дома он помчался в райтоповский двор, чтобы увидеть Эльвиру. Он и сам не знал, почему так получилось. Просто с начала войны он чаще всех своих знакомых вспоминал ее, не очень уж складную, смущающуюся от прямых взглядов, но очень смешливую и острую на язык. Почему-то получалось, что он вспоминал про нее что-то такое, о чем никогда прежде не думал. Вспомнилось, например, как она года три назад принесла ему, редактору стенгазеты, очень странные стихи. Начинались они так:

Зима-чародейка укутала в шубы лесных великанов,

надолго уснувших.

Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть
дней промелькнувших

И, вдруг испугавшись чего-то, смолкает,

Но эхо ее одинокого пенья лесного могучего сна не

сломает...

Да, точно. Эля училась тогда в седьмом.

— По-моему, это гекзаметр, — сказал Виктор, возвращая Эле листок со стихами.

— Ну и что? — спросила она, не понимая. — Разве это плохо?

— Ты же не Гомер, слава богу, — сказал тогда Виктор и стихи в газету не взял.

Виктор управился с обедом быстро, стоя выпил кисель из граненого стакана и спросил Элю:

— Ты меня проводишь?

За воротами он хотел сказать, что, наверное, ни к кому еще так не относился в жизни, как к ней, но не решился. Это было бы очень неожиданно. Ведь они всегда были только товарищами, и про них нельзя было сказать, что они дружили. Это слово на языке школьников их города значило несколько больше, чем оно значит на самом деле.

Они прощались недалеко от стадиона.

— А я твои стихи помню, — сказал он.

— Какие? — удивилась она. — Я стихов не пишу.

— Писала, — сказал он. — В детстве.

— Неужели помнишь? Я и то забыла.

— Помню, — сказал он. — «Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших...»

Он быстро нагнулся, поцеловал ее в губы и быстро зашагал прочь.

Она вернулась домой удивленная и взволнованная. Конечно, каждой девушке приятно, когда она нравится такому парню, как Витя, но Эля и представить себе не могла, что это так.

«Под настроение, наверно. Прощается со школой, а никого больше не нашел. Хорошо, что заехал, — думала она. — Теперь уж точно, что где-то рядом есть крупная танковая часть. Ведь он танкист».

Наталья Сергеевна топила плиту, грела воду, хотела сегодня купать сына. Вдруг она вспомнила что-то и сказала дочери:

— Сегодня утром приходил ваш школьный завхоз, Леонид Семеныч..

— Сергеевич, — поправила Эля.

— Ну да, Сергеевич. Сказал, что просто так. Еще зайдет.

...Солнце садилось, когда Виктор вышел на западную окраину Колыча. Несколько шагов отделяли его от шоссе, и первое, что он увидел, были танки. Только это были фашистские танки. Люки у них были откинуты, однако стволы пулеметов настороженно двигались.

Виктор мгновенно перемахнул через палисадник и, затаив дыхание, замер в высоких кустах шиповника.

«Гранату бы, — думал он, — или хоть бутылку с зажигательной смесью!»

Гранаты у него не было, а в светло-желтой кобуре не было пистолета. Он надеялся получить его в своей части.

На следующее утро по городу разъезжали мотоциклисты с автоматами на груди и в касках, чем-то напо-

минающих шлемы псов-рыцарей из кинофильма «Александр Невский». Фашисты заняли город почти без боя. Они ввели в него свои танки, спустили красный флаг над горсоветом и в упор расстреляли гипсовый памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Они думали, что овладели городом, они верили в это.

Жителям, наоборот, не верилось, что они уже на оккупированной территории. Не верилось, что это могло произойти так быстро и так просто.

В то утро Наталья Сергеевна долго возилась по дому, а когда выглянула во двор, увидела, что дверь в квартиру Козловых слегка приоткрыта.

— Толя, — позвала мать, — сбегай посмотри, что там.

— Я уже смотрел, — ответил сын. — Это Козловы вернулись. Еще ночью. Немцы десант выбросили восточнее города, мост взорвали. Вот они и вернулись, да еще пешком. Дед Серафим видел, как они шли. Вещи им бросить пришлось.

— И когда этот дед спит! — рассердилась мать. — Все видит, все ему надо. Лучше бы жене помогал.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Взрослые и тогда и не предполагают, что дети, их окружающие, понимают все, о чем при них говорят, и даже все, о чем умалчивают. Обрывок фразы, нечаянно услышанной из-за двери, невзначай сказанное слово, взгляд или жест — все это вместе абсолютно произвольно и без всякого напряжения со стороны ребенка создает в его представлении достаточно полную картину того, что от него скрывают, особенно если этот ребенок любит своих взрослых, если у него чуткое сердце и хорошая голова.

Еще тогда, в первые дни оккупации, когда школьный захват Леснид Сергеевич как ни в чем не бывало весело вошел в райтоновский двор, поздоровался с тетей Дашей, подметавшей под своими окнами, бесшашинно помахав рукой деду Серафиму и сказал: «Ну и погодка нынче!» — еще тогда Семенов почувал что-то фальшивое, ненастоящее в его голосе и в этом, не

по возрасту лихом жесте приветствия. Это было тем более странно, что, увидев Семенова, Леонид Сергеевич поздоровался с ним так, как обычно здоровался в школе. Они хорошо знали друг друга, потому что Леонид Сергеевич одно время заменял преподавателя физкультуры, а Семенов любил этот предмет.

— Мама дома?

— Да, Леонид Сергеевич, проходите, пожалуйста.

Однако Щербаков не торопился входить.

— А кто еще?

— Только мама и Эльвира, Леонид Сергеевич.

Щербаков аккуратно потоптался на влажной тряпке у входа и вошел в дом. Едва Семенов собрался пойти следом, как вышла мать и села на крыльце рядом с сыном.

— Зачем он пришел? — спросил Семенов.

— Говорит, важное дело к Эльвире.

— Секретное?

— А кто его знает, может, секретное, а может, личное, — сказала мать.

— Какие же у Эльвиры могут быть от тебя секреты? — спросил сын. Он твердо верил в то, что у них троих не может быть ничего тайного друг от друга.

— Да и нет никаких секретов, — не очень естественно удивилась мать, — с чего ты взял?

— Ты же сама сказала...

— Нет, сынок, это я так просто... Нужно двум людям поговорить. Леонид Сергеевич еще когда заходил, да не застал ее.

Потом Эльвира позвала маму, а мама — Толю.

— Я вот зачем зашел, — объяснил Леонид Сергеевич. — Некоторые люди в связи с приходом фашистов ударились в панику, не знают, как теперь жить. Молодежь беспокоится. — Он посмотрел на Эльвиру. — Это касается тех, кого в армию не взяли, кто не успел или не сумел эвакуироваться. Так вот, я хожу и всех добрых знакомых успокаиваю — чтоб без паники. Эльвиру я, кажется, успокоил. Теперь вам хочу сказать, Наталья Сергеевна, вы тоже не очень паникуйте. Мы ведь на своей земле живем, не на чужой. Это фашисты на чужой земле оказались, пусть они и волнуются. Раз нам пришлось тут жить, надо, выходит, жить точно.

Как это «жить точно», Щербаков не объяснил. Мать внимательно смотрела на Леонида Сергеевича. Он говорил спокойно, без улыбки. Улыбнулся, когда посмотрел на Толю.

— А ты, дорогой товарищ Семенов, должен запомнить на все это время такое положение. Для нашей Родины в данный момент очень важно, чтобы ты любил и берег мать и сестру. Любил и берег.

Семенов ждал, что скажет Леонид Сергеевич дальше, но тот, видимо, кончил свою мысль. Однако уловив его взгляд, он добавил:

— Я не шучу, Семенов. Для каждой страны очень важно, чтобы дети любили своих родителей. Особенно важно это теперь. Представить страшно, что было бы со страной, в которой дети перестали бы любить родителей. Такая страна погибнет, да и не нужна такая страна.

Потом Леонид Сергеевич говорил о том, что у Натальи Сергеевны профессия гуманная и, если доктор Катасонов позовет, надо продолжать работать.

Мать спросила, что будет делать при немцах сам Леонид Сергеевич, на что последовал ответ, который удивил Наталью Сергеевну и Толю и, непонятно почему, рассмешил Эльвиру.

— Думаю открыть свечной заводик, как отец Федор, или погребальную контору «Милости просим».

Вскоре Леонид Сергеевич ушел, оставив на розетке варенье, к которому не притронулся, и недопитую чашку чая.

— Про какого это отца Федора он говорил? — спросила Наталья Сергеевна у дочери.

— Книга такая есть, — ответила та. — Он ее очень любит, «Двенадцать стульев». Это оттуда — и насчет свечного заводика, и насчет погребальной конторы.

— Про нэп книжка? — догадалась мать.

— Про нэп, — подтвердила дочка.

Намерения Леонида Сергеевича не могли не вызывать удивления.

Несмотря на скромную должность, которую он занимал, Щербаков в школе был человеком заметным и уважаемым. Говорили, что он бывший командир Красной Армии, что начинал воевать еще в Гражданскую, чуть ли не в дивизии самого Василия Ивановича Чапа-

ева, потом служил на одной из южных границ, воевал с басмачами в горах Средней Азии и там нашел себе жену — Галину Исмаиловну, которая до него была женой какого-то басмаческого атамана. Вот что знали о Леониде Сергеевиче школьники.

Взрослые знали немногим больше. Говорили, что из-за любви к Галине Исмаиловне он теперь беспартийный и штатский. Говорили, что он не должен был на ней жениться, ибо она в свое время была чуждый элемент. Леониду Сергеевичу предложили вновь вступить в партию, в знак того, что все забыто, но он сказал, что заново вступать не хочет, а будет добиваться, чтобы ему вернули тот партбилет, который в присутствии самого Василия Ивановича вручил ему Дмитрий Андреевич Фурманов.

Семенов хорошо знал Галину Исмаиловну, потому что три года подряд ходил в детсад, где она работала. Галина Исмаиловна была очень худенькая, маленькая, с тонким смуглым лицом и толстыми черными косами, которые делали ее похожей на школьницу. Галина Исмаиловна знала о своем муже то, чего не знал никто, кроме врачей. У него были тяжелые припадки — результат давней контузии, — и случались они обычно тогда, когда он сильно волновался, вспоминая старое. Таких припадков у него было всего восемь или девять, причем четыре в совершенно одинаковой ситуации: он, старый чапаевец, четырежды пытался посмотреть фильм о своем комдиве, и все четыре раза его выносили из кинотеатра без памяти. Всякий раз он терял сознание во время сцены психической атаки. Леонид Сергеевич стыдился своей слабости и после первого случая поехал смотреть «Чапаева» в соседнем рабочем поселке, потом ездил в Псков... Врачи знали о самих припадках, но о том, что старый чапаевец так и не смог досмотреть этот фильм, Галина Исмаиловна не рассказывала никому.

В первый день, в первый час войны Леонид Сергеевич подал заявление в военкомат с просьбой призвать его в армию и одновременно — другое заявление, в горком о приеме в партию. Его пригласили в горком, когда он уже потерял надежду на ответ. Это было в тот самый час, когда фашистские самолеты бомбили станцию Колыч.

Незнакомый человек, которому секретарь райкома уступил свой письменный стол, сказал Щербакову:

— Я знаком с вашим делом и читал ваше заявление. Думаю, что вопрос решится положительно. Со своей стороны обещаю похлопотать о восстановлении всего стажа. Вы довольны?

— Так точно, — по-военному ответил Леонид Сергеевич и встал. — Разрешите узнать, как со вторым моим заявлением, относительно фронта?

— Присядьте, — сказал незнакомец. — Относительно второго заявления я и хотел побеседовать с вами подробно.

Леонид Сергеевич внимательно слушал и вглядывался в лицо собеседника. Это было очень простое и очень усталое лицо, как у многих в эти дни в прифронтовой полосе. На незнакомце был мятый пиджак и косоворотка. На низком подоконнике лежала шинель без петлиц.

— От имени командования должен сказать, что ваша кандидатура нас заинтересовала. Мы еще не можем принять относительно вас окончательного решения. Об этом мы вас известим.

— Когда?!

— Немного погодя.

— Каким образом? — спросил Щербаков. — Ведь со дня на день...

— Мы постараемся найти способ.

Эти слова не понравились Щербакову. Что значит «постараемся найти способ»?

— А если этот способ не найдется? — прямо спросил он. — Я, товарищ...

— ...Дьяченко, — подсказал незнакомец. — Я думал, вас предупредили, с кем вы будете говорить.

— Нет, меня не предупредили, товарищ Дьяченко. И я не претендую на особое доверие. Я его еще заслужу. Еще встретимся, я думаю, на равных. Я верю в это.

Карп Андреевич Дьяченко понимал трагедию этого человека. Ему не доверяли, а он был достоин доверия. Дьяченко знал это, но решал не один он.

— Надеюсь, — скупое сказал Дьяченко, — надеюсь, что я не ошибусь в вас. Давайте договоримся так. Я дам вам несколько частных советов, не от имени командования, а пока от себя лично. Этот разговор ни

к чему нас обоих не обязывает, явок и связей мы друг другу не даем. Хорошо?

Леонид Сергеевич оценил оказанное ему доверие.

— Хорошо, — сказал он. — Я понимаю.

— Я не принадлежу к числу оптимистов, — говорил Дьяченко, — и не думаю, что нам удастся за одну зимнюю кампанию победить Гитлера. Гитлер не Наполеон, но и сейчас не восемьсот двенадцатый год. Нужно беречь силы для длительной борьбы в тылу врага. В длительной борьбе главное — подбор людей. Вот уж поистине — лучше меньше, да лучше.

За окнами горкома был яркий день. Неподвижно стояли деревья, и в широком луче солнца, падающем между тяжелыми шторами, плясали пылинки. За наглухо закрытыми окнами слышались взрывы. Это второй раз за день фашисты бомбили станцию Колыч.

— Теперь о вашем положении в городе... На самое первое время рекомендую оставаться вполне легальным. У вас очень удачное для фашистов политическое лицо: бывший командир, бывший член партии, человек, с их точки зрения, обиженный. Вы таким и будете... Хорошо бы открыть кустарную мастерскую. Есть у вас какая-нибудь производственная профессия?

— Была когда-то, — не очень уверенно сказал Щербаков. — Работал я жестянщиком, медником, кровельщиком.

— Прекрасно! — кивнул Дьяченко. — Станьте кустарем, повесьте вывеску. Они это любят.

— Похоронное бюро «Безенчук и Нимфа»? — Щербаков позволил себе улыбнуться. — Или еще можно: Погребальная контора «Милости просим». — Он почти наизусть знал оба романа Ильфа и Петрова и был убежден, что все помнят эти книги, как он.

— Погребальная контора «Милости просим»? — переспросил Дьяченко. — Нет, это слишком. Это может вызвать подозрение.

— Это из романа «Двенадцать стульев», — подсказал Леонид Сергеевич.

— Да, да, — сказал Дьяченко, — ну, конечно же. — И добавил на прощание: — Прекрасно, что у вас хватает юмора, чтобы вспоминать смешное. В тылу врага страшнее, чем на фронте. На фронте люди вмес-

те, у всех одна цель, одна судьба. В тылу врага люди разные, цели разные и средства к достижению цели разные. В тылу подлости больше, чем на фронте.

Два часа назад Леонид Сергеевич вошел в здание горкома через главный подъезд, а вышел он оттуда через сад. Это было понятно. В горком он входил как обычный гражданин, а выходил в качестве человека, которому отныне предстоит бороться в тылу врага. Пока это была только личная договоренность, пока это было не вполне официально, но в тот момент для Леонида Сергеевича это не имело никакого значения.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Фронт ушел на восток, и гул войны удалился вместе с надеждой на скорое возвращение своих. Немецкая пропаганда работала вовсю, сообщая о победах, победах, победах... У фашистов в этой пропаганде были козыри, и какие! За первые месяцы войны они захватили Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию, Молдавию, часть Украины. На сотни километров в глубь нашей территории проникли гитлеровские полчища.

В Колыче фашисты неторопливо и обстоятельно разворачивали свои тыловые учреждения, подыскивали предателей для «местного самоуправления» и полиции. По чьей-то хитрой подсказке фашистская администрация решила особо выделить и окружить почетом старейшего в городе врача — хирурга Льва Ильича Катасонова. Оккупантам нравилось, что доктор Катасонов ни на день не прекращал работы и в первое утро оккупации явился в больницу ровно в восемь. Он очень рассердился, что отсутствуют многие из его сотрудников.

Жители Колыча узнали об этом по радио, потому что фашисты позаботились в первые же дни наладить городскую радиосеть.

Наталья Сергеевна выслушала сообщение о своем шефе и не удивилась, когда вскоре он прислал за ней больничного конюха. В тот день они вдвоем без ассистента сделали очень сложную операцию — ампутировали ногу девочке, которая подорвалась на mine в десяти километрах от Колыча. И опять фашистское радио сообщило о том, что господин Катасонов есть наивыс-

ший образец русского человека, верного своему долгу, что он честь и совесть русской нации и Германия высоко оценит его заслуги. Сообщалось также, что в знак уважения к господину Катасонову решено не выселять больницу, как предполагалось ранее, а для немецкого военного госпиталя использовать помещение детского санатория «Сосновый бор». Каждый в Колыче знал, что детский санаторий «Сосновый бор» во много раз удобнее, чем городская больница, построенная в конце прошлого века.

Аспидно-черные, глянцевые тарелки репродукторов городской радиосети, которые издавна висели в каждом колычском доме, оказались первыми изменниками, первыми предателями. Они говорили теперь по заданию оккупантов и от их имени. Они пели фашистские гимны, кричали «Хайль Гитлер!» и вообще вели себя нагло. Действительно, кто бы потерпел постояльца, который в любое время суток по собственному желанию вдруг начинает чему-то учить хозяев, чего-то требовать, грозить, обижать, унижать и к тому же постоянно врать и хвастаться. Хорошо еще, что через громкоговорители оккупанты не могли подслушивать, что говорилось в домах, однако и без того черные тарелки были как соглядатаи: в их присутствии люди боялись говорить, что думали.

Люди ненавидели их, но слушали. Они ругали радио, дикторов, композиторов, сочинявших песни для фашистов, певцов, которые пели эти песни, и, отойдя подальше от репродукторов, шепотом передавали друг другу слухи. В этих слухах были страх перед будущим, надежды на лучший исход, а иногда, впрочем, и довольно точные сведения о событиях важных и очень важных. Слухи часто вовсе не отражают реальной жизни, но всегда дают точное представление об умонастроениях людей.

Когда-то к концу лета в Колыч съезжалось много молодежи — студенты, учащиеся техникумов и отпускники. Так было заведено. Приезжали проводить родителей, людей посмотреть, себя показать. От зари до зари было шумно тогда в этом уютном городке, в его парках, садах, на его зеленых улицах. Теперь после десяти вечера на улицах была слышна только чужая речь чужой смех, чужие шаги. Изредка высоко в небе гуде-

ли самолеты, но трудно было понять, чьи они и куда летят, — то ли Москву они будут бомбить, то ли Берлин.

Со дня своего тайного ночного возвращения в райтоповский двор Александр Павлович Козлов стал одним из самых внимательных и чутких слушателей городской радиосети. Он почти не спал по ночам, часто вскакивал с постели, прислушивался к шагам на улице.

Александр Павлович боялся расстрела.

— Таких, как я, они расстреливают запросто. Без суда и следствия. Я же ответственный работник городского масштаба. Таких сразу к стенке.

— Ты же, Саша, беспартийный и не еврей, — проговаривала утешать его Антонина. — А они только коммунистов и евреев.

— Докажешь им! — взрывался Александр Павлович. — Радио слушай, а то гремишь пустыми ведрами да языком машешь без толку. Они расстреливают коммунистов, евреев, активистов, тех, кто нарушает приказы, кто... А я активист. Это все в городе знают.

Антонина сначала верила мужу и боялась за него, потом начали убывать запасы еды, а голод, как говорится, не тетка. Антонина ходила на рынок, кое-что покупала, кое-что меняла, но долго так продолжаться не могло. Муж, которого сама природа определила в добытчики, безвольно сидел у черной бумажной тарелки, худел, желтел, и голос его становился все более слабым и жалобным.

Настал день, когда Антонина сказала Александру Павловичу:

— Хватит сиднем сидеть! Жрать-то уж нечего. Я объявление видела — грузчики нужны на станцию. Может, возьмут тебя.

Александр Павлович не возмутился, что ему, ответственному в недавнем прошлом работнику, предлагают идти на такую работу. Он обрадовался, что может пойти в обычные грузчики. Сила у него, слава богу, есть. Действительно, что это он возмнил себя ответственным! Подумаешь, ну и был техноруком гортопа, точнее, даже не техноруком, а исполняющим обязанности технорука! Подумаешь, ответственная работа! Ну, ездил по ближним лесопунктам, распределял пилы, топоры, телеги, ну, проверял еще качество дров.

Разве он ответственный работник? Козлов понял, что он сам себя считал ответственным работником, и люди почему-то верили ему. Очень утешало Александра Павловича и то, что он никогда не был в партии. То досадное обстоятельство, что он много раз пытался в нее вступить и всегда получал отказ, теперь в его глазах значения не имело. Наоборот! Оказывается, при большевиках он был в числе гонимых, непризнанных.

Так постепенно, находясь в добровольном домашнем заточении и мучительно размышляя о своем будущем, Александр Павлович пришел к выводу, что на кусок хлеба он сможет заработать и при фашистах. Непривычная работа мысли истощила его физически, в результате чего лицо Козлова приобрело некоторые признаки интеллигентности. С этого дня он включил городскую трансляцию на полную мощность и слушал передачи без былого страха.

Однажды вечером ему пришла в голову мысль, что он мог бы пойти на разгрузку не просто рабочим, а к примеру, десятником. Он сказал об этом жене.

— Еще бы, им руководители во как нужны! — отозвалась она. — Во как! Они ведь, чай, не дураки и понимают, что все зависит от кадров. Ты вокруг посмотри: все работают. Наташка как была медсестра, так и есть. Вон про нее и передача была, что, мол, рука об руку с потомственным русским дворянином доктором Катасоновым трудится его верная помощница, простая русская женщина...

— Слышал я, слышал, — скривился Козлов, — но я же не медсестра.

— Ты тоже неплохого происхождения, — отрезала Антонина, — у тебя, чай, комсомольцев в семье нет.

— Это верно, — согласился Александр Павлович. — Я хоть не дворянин, а все же отец мой был урядником.

Весь следующий день Александр Павлович Козлов провел в трудах. Он громыхал чем-то, что-то связывал, упаковывал, лазал по полкам и сундукам. Всю ночь светила шелка в одном из его окон. Утром после бессонной ночи он сел поближе к свету, но так, чтобы с улицы его не было видно, и лезвием безопасной бритвы начал спарывать с трусов голубой галун, а с футболки — букву «Д». Вдруг фашисты увидят эту букву

и подумают, что Козлов состоял в обществе «Динамо», а общество «Динамо», как всем известно, объединяет для занятий спортом работников милиции и НКВД. Поди доказывай потом, что футболку и трусы он приобрел по знакомству в магазине «Спорт и фото».

Часов в девять утра Александр Павлович Козлов, уложив в карманы пиджака необходимые документы, отправился в городскую управу. Он принял решение. К этому моменту у Александра Павловича уже созрело убеждение, что новой власти нужны не только грузчики и десятники. Нужны ей, конечно, и техноруки для организации снабжения города топливом. Недаром сказано у дедушки Крылова: «Оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Так однажды, ссылаясь на великого русского баснописца, писала о невыполнении плана заготовок дров райтоповская стенная газета. Именно со ссылки на басню и решил начать свой разговор с бургомистром Александр Павлович Козлов.

...Все дети любят своих родителей. Во всяком случае, все нормальные дети любят своих родителей. Семенов был нормальным ребенком и любил свою мать. Мало кто из близких представлял себе силу этой любви, а Наталья Сергеевна старалась не думать об этом, потому что тогда ей становилось страшно и за сына и за себя. Причину такой любви она видела в его феноменально ранней детской памяти. Она не понимала, что сама эта память была не чем иным, как проявлением любви.

Семенову казалось, что он помнит себя лежащим в люльке, помнит мать с бутылочкой в руках и сестру Элю в голубом платице. Это были смутные воспоминания, похожие на сон, а может быть, даже и просто сон, навеянный рассказами старших. Однако лет с двух мальчик помнил мать и бабушку Таню вполне отчетливо.

Главное, что он помнил бабушку Таню, которая умерла, когда внуку не было трех лет. К примеру, он помнил, что бабушка делала дома обойные гвозди для мебельной фабрики. Вот она сидит перед машинкой для делания гвоздей. На ней темное платье в мелкий цветочек, на голове белая марлечка. Машинка у бабушки забавная. Главное в ней — колесо, похожее на

руль автомобиля. Справа от машинки коробочка с обычными гвоздиками, слева коробочка с половинками крохотных медных шариков. Полушарик и гвоздик бабушка вкладывала в машинку, вертела колесо, и получался новый гвоздик со шляпкой, похожей на солнышко: в середине сияющей медной шляпки кружочек, а от кружочка лучики расходятся. Иногда бабушка давала Семенову покрутить колесо.

На кухне за плитой до сих пор лежит железная нога, на которой бабушка сама чинила для семьи обувь. Семенов знал, что в кладовке хранится маленький ржавый снаружи бачок, который внутри неожиданно ярко сияет полудой. Это мороженица. Бабушка все собиралась сделать внукам мороженое, да не успела, потому что умерла в тот год, когда с молоком было плохо, а сахару не достать.

Временами Семенов вспоминал про бабушку что-то еще и иногда рассказывал матери. Она прижимала сына к себе, чтобы он не видел ее слез. Вчера мать достала из-за плиты ногу и принялась чинить сандалии сына. И теперь ему пришлось выбежать во двор, чтобы мать не увидела, как он плачет. Именно вчера сын вдруг заметил, что мать с каждым днем все больше становится похожей на бабушку, а Эльвира — на маму. Он и раньше, испытывая почему-то смутную большую тревогу, замечал это сходство, а теперь сердце его сжалось так, что стало трудно дышать.

Сегодня утром, пользуясь отсутствием матери, он сам принялся за стирку, выполоскал и развесил белье на веревках. В общем-то, у них в семье был договор, что после экзаменов за десятый класс стирка и полоскание белья полностью перейдут в ведение Эльвиры; она сама дала ему честное комсомольское, что так будет. Но каждое утро она уходила по своим делам, хотела устроиться на работу. А про стирку не говорила ни слова.

Наталья Сергеевна ввела в семье четкий распорядок; когда у них день стирки, когда банный день, когда мытье полов и так далее.

Семенов решил сделать своим женщинам сюрприз. Он сидел возле бывшей конюшни на дубовой колоде и придиричиво рассматривал — хорошо ли отстиралось белье. Вдруг он вспомнил, как мать вчера чини-

ла сандалии и как на голове у нее была не косынка, как прежде, а белая стираная марлечка. Вспомнив об этой марлечке, Семенов нахмурился, встал с колоды и, разбежавшись, сделал стойку на руках.

— Толь! — окликнул его дед Серафим. — Толь! Семенов! Тебе ведь говорю!

Семенов встал на ноги и посмотрел на деда. «Сейчас опять чепуху какую-нибудь будет молоть, — подумал он, — или начнет спрашивать, что в городе видел, что мать рассказывает».

— Подь сюда, — говорил дед, — подь, дело скажу. Секрет...

Семенов нехотя подошел.

— Ты ночью спал?

— Спал, — ответил Семенов.

— И Эльвира спала?

— Конечно.

— И мать?

Семенов кивнул, но с трудом сдержался, чтобы не сказать деду какую-нибудь дерзость.

— Во-от! — сказал дед. — А я не спал.

— Так вы же после обеда спите, — возразил Семенов, — и утром тоже бывает.

— Не к тому я, — смиренно сказал дед, — не к тому. Я не жалуюсь. Просьба у меня к тебе, Семенов. Выполнишь?

— Смотря какая... У меня белье сушится, скоро снимать надо, а то пересохнет.

Семенов боялся, что дед пошлет его за махоркой или еще куда.

— На забор тебе слазить не трудно? — просительно сказал дед.

— Это пожалуйста, — обрадовался Семенов. — На какой?

— На наш, конечно. Вон там, где мусорный ящик. Ты на ящик влезь, а потом на забор, а с забора погляди, что там внизу.

— Дед Серафим, — покачал головой Семенов, — ты честно скажи, зачем мне на забор лезть. Ты ведь знаешь, что там овраг.

— Знаю, — сказал дед. — Овраг мне ни к чему. А вот что с той стороны за стеной, это может быть интересно.

— Бурьян там и лопухи, — сказал Семенов, удивляясь дедову упрямству.

— А ну как еще что? — Дед многозначительно прищурился. — Ты слазь, Семенов. Я за бельем погляжу.

В конце концов, что стоит влезть на мусорный ящик, оттуда на высокий забор и поглядеть вниз. Главное, не напороться на гвозди или битое стекло.

Когда Семенов влез на забор, он понял, что зря спорил с дедом. Примяв лопухи и бурьян, на склоне оврага валялось множество всяких интересных вещей. Прежде всего бросались в глаза штук тридцать совершенно новых книг в красных переплетах. Многие из них толстые с золотым тиснением, другие потоньше. Брошюр там было — не сосчитать.

«Откуда же они здесь? — подумал Семенов и сразу догадался: — Вот уж не знал, что у них может быть такая уйма книг. А ведь никому не давали, да и сами не очень были похожи на тех, кто больно много читает».

Словно в подтверждение того, что выброшенные вещи принадлежали именно Козлову, Толя увидел на склоне оврага настольный, крашенный под бронзу бюст Сергея Мироновича Кирова, а еще дальше, чуть не на самом дне оврага, деревянный ящик радиоприемника ЭЧС-2.

Толя спрыгнул вниз и первым делом подошел к приемнику. Он перевернул его. Зазвенело стекло разбитых радиоламп. Без них, Семенов знал, приемник работать не может. Однако он взвалил его на плечи, как чемодан, и пошел по тропинке. Хорошо было Козлову выбрасывать все через забор, а вот Семенову теперь приходилось идти кругом, сначала по оврагу, потом по проулку, частью по улице.

В сарае у Семеновых был лично Толе принадлежащий тайник. Это была траншея, которую выкопали, когда решили из конюшни сделать гараж. Траншея была глубокая, с цементными стенами и кирпичным полом.

Когда Александр Павлович подошел к зданию, где еще недавно помещался горсовет и где он бывал неоднократно, у него ослабели колени. Возле подъезда

стояло несколько автомобилей и расхаживал часовой с автоматом. Козлов робко подошел поближе. Он понял, что здесь расположилось не одно, а два учреждения — фашистская комендатура и городская управа.

Часовой с автоматом уставился на Александра Павловича, и пути назад не было. Казалось, стоит повернуться, и автоматчик выстрелит в спину.

Запинаясь, Александр Павлович стал объяснять часовому свои намерения. Он старался вставлять все немецкие слова, которые знал. На язык просилось специально припасенное Козловым обращение «геноссе» — товарищ, но Александр Павлович вдруг испугался произнести это слово в разговоре с представителем высшей расы: фашист ведь мог обидеться. Вспомнилось, что светлейший князь Меншиков из кинофильма «Петр I» обращался к государю «мин херц».

— Мин херц, — сказал Козлов часовому, — мин волен зи арбайтед на дигроссе Германию.

Понял его автоматчик или нет, указал рукой на подъезд, и Александр Павлович быстро поднялся по знакомым шести ступеням. У входа он еще раз оглянулся, слащаво улыбаясь автоматчику, и мелко просеменя в раскрытую дверь. Оказалось, что комендатура занимает второй этаж и часть первого, а городская управа разместилась в трех комнатах налево от вестибюля. В первой комнате Козлова встретила девица с синевато-белой физиономией и волосами цвета лимона. Не то крем с пудрой, не то какая-то другая мазь стягивала кожу ее лица, и когда она начинала шевелить губами, то двигались и нос девицы, и ее уши, и брови.

— Вам кого?

— Я хотел бы поговорить лично с самим господином бургомистром. — Эти слова Александр Павлович заучил еще дома. Лучше всего говорить с «самим», это он знал по опыту.

— Господин главный бургомистр сейчас занят. Я ему доложу.

— Благодарю вас, — сказал Козлов, — нам спешить некуда, мы еще с вами люди молодые.

Он хотел понравиться секретарше. Однако девица с сине-белым лицом никак не отреагировала на его слова. Она скрылась за дверью и, выйдя минут через десять, очень сухо пригласила Козлова пройти.

Как ни перепуган и взволнован был Александр Павлович, но не мог он не сообразить, что главный бургомистр вовсе не был занят делами, а выдерживал посетителя в приемной для поднятия собственного авторитета.

За огромным столом с массивной чернильницей под поясным портретом Адольфа Гитлера в кресле с высокой прямой спинкой сидел бывший продавец магазина «Спорт и фото» Виталька Сазанский.

Дома Александр Павлович много раз репетировал предстоящий разговор с бургомистром, он заготовил и жесты и даже выражение лица. Только это и помогло ему сейчас никак не выразить своего удивления, не хлопнуть Витальку по плечу.

Витальке Сазанскому шел четвертый десяток. Он любил модно наряжаться, хотел, чтобы к нему обращались по имени-отчеству или со словом «товарищ». Однако в городе его звали только по имени. Дело в том, что росту в Сазанском было менее полутора метров и сам он был хиленький, с жиденькой прической на прямой пробор, с тоненькими усиками под тоненьким носом. Здесь под портретом фюрера с усиками Виталька выглядел бы очень комично, если бы не напряженность его мелкого лица, которое вдруг напоминало Александру Павловичу, что и прежде над Виталькой в глаза посмеиваться боялись.

— Виталий... — начал Козлов и запнулся, потому что вдруг забыл отчество Сазанского. Знал и забыл. Вылетело. — Господин Сазанский...

— Можете называть меня просто «господин бургомистр», — поправил его Виталька. — Так пока будет лучше... Я вас слушаю.

Подчеркнутая официальность давно знакомого человека сильно обескуражила Александра Павловича. Он забыл, как хотел начать. А бургомистр откинулся на спинку кресла, и в лице его проступила злость карлика.

— Я слушаю вас, — повторил Сазанский. — Говорите, говорите, я ведь не знаю, зачем вы пришли. Я, в сущности, мало вас знаю. Например, мне интересно, как это вы, член партии и ответственный работник, не удрали с другими и даже явились ко мне на прием.

Не этого ожидал здесь Козлов, не это обещала ему

черная тарелка трансляционной сети. «Неужели я обижал его? — промелькнула мысль. — Кажется, в открытую не обижал. За ту футболку динамовскую и трусы дал пятерку сверху. Куда же больше? И другие так давали, уверен, что не больше. А может, и обидел когда. Кто ж знал, что так обернется».

— Господин бургомистр, — собрав все свое мужество, сказал Александр Павлович, — вы ошибаетесь, я никогда не был членом партии, и комсомольцем не был, вы меня с кем-то путаете, господин бургомистр. И пост я занимал очень скромный, в сущности, инспектор по качеству дров... Я пришел заявить, что хочу работать вместе с вами.

— Разве вы не коммунист? — искренне удивился Сазанский. Уж на него-то в свое время Козлов сумел произвести впечатление. — Тогда другое дело, тогда я готов называть вас «господин Козлов». Садитесь, господин Козлов.

Александр Павлович сел в глубокое кожаное кресло, а Сазанский вышел из-за стола и стал выпагивать вдоль длинной карты СССР.

— Слушаю вас, господин Козлов, слушаю. Старайтесь только ничего от меня не утаивать, ибо я все про вас могу узнать мгновенно.

Александр Павлович и не пытался ничего скрывать. Он честно изложил свои намерения вернуться к делу заготовки топлива, если это нужно для немецкой армии, для городской управы, а также для населения. Он хотел сказать про басню «Стрекоза и Муравей», но сдержался, испугавшись сравнить хозяев с муравьем или, что еще хуже, со стрекозой. Вместо этого он изложил свое сугубо отрицательное отношение к прежней власти и тот бесспорный факт, что его отец, урядник Павел Козлов, был убит взбунтовавшимися фабричными в Смоленской губернии в марте 1917 года.

— Мне кажется, что вы почти искренни, — милостиво заметил Сазанский, — я почти готов вам верить... Но неужели, господин Козлов, вы не чувствуете в себе сил для большего, чем заготовка дров? Смотрите, не упустите время! Меня, например, вы заинтересовали не столько в качестве знатока дров, сколько в качестве знатока леса.

Козлов не понял, какая тут бургомистру разница.

А тот остановился возле карты и стал объяснять, что большевикам конец, что скоро будет взят Ленинград, потом Москва, потом вся европейская часть страны. Бургомистр говорил быстро, громко, отрывисто, с какими-то странными интонациями. Александр Павлович не догадался тогда, что Сазанский старается подражать Гитлеру.

— Крысы бегут с тонущего корабля! Однако бежать надо вовремя. Вы несколько запоздали. Лучшие люди явились к победителям в первый и второй день, а вам еще придется заслуживать доверие.

— Господин бургомистр, — воскликнул Александр Павлович, — жизнью готов ответить!

Сазанский сделал своей крохотной ручкой театральный жест и, как бывший участник самодеятельности, сказал:

— Полноте, полноте, только дураки не понимают, что Германия непобедима. Она протянется от Атлантики до Урала включительно; на базе наших, русских, ископаемых и дешевой рабочей силы создаст могучую военную промышленность и покорит весь мир. Весь мир — это пять континентов и, ей-богу, не хватит чистых арийцев, чтобы управлять народами. Они призывают нас — всех белых людей, кроме евреев, естественно, чтобы управлять черными, желтыми и прочими. Новый мир — это новый порядок, установить который способны только люди одной нации — немцы. Для поддержания крепкого порядка, господин Козлов, понадобятся крепкие люди с крепкими нервами.

Сазанский сел на письменный стол перед Козловым и хлопнул его по плечу.

— Мы сейчас формируем здесь органы нового порядка, если хотите, карательные органы. Вполне вероятно, что я возглавлю полицию нашего города, а может быть, и областную полицию. Нам будут нужны люди. В районный отдел полиции я мог бы рекомендовать вас... Не как знатока дров, а как знатока лесов. Посмотрите еще раз на карту. Представьте себе, сколько сил и средств придется употребить, чтобы на всей этой территории оставить в живых только тех, кто достоин жить. По самым скромным подсчетам, для коммунистов, комсомольцев и евреев понадобится огромное

количество кладбищ и крематориев. А ведь есть еще писнеры, цыгане и разные прочие... Я вижу Россию свободной, я вижу широкие автострады вместо гнусных проселков, вижу аккуратно возделанные поля и тихо шумящие заводы, на которых трудятся те, кто ни к чему более не способен. И я вижу, что управляют рабочими те, кто призван к этому по своим природным качествам, по уму и воле... Представьте, господин Козлов, что может быть прекраснее упорядоченной России! Автострады, автострады, заводы и поля, по ночам освещенные прожекторами, чтобы не было воровства. Теперь относительно браков. Все браки между молодыми людьми переходят в ведение администрации. Прекращается этот безудержный разгул нравов...

Александр Павлович никак не мог избавиться от холодного пота, который первый раз прошиб его еще в разговоре с часовым.

Сазанский продолжал:

— В скором времени все изменится. А пока необходимо расчертить страну на четкие квадраты, разделенные колючей проволокой, и прочесывать, прочесывать, прочесывать, сеять сквозь мелкое сито. Обещаю вам, что много кровушки прольется, прежде чем очистится Россия от скверны...

Лет пять тому назад, отбывая наказание за мошенничество, Виталька Сазанский познакомился в тюрьме с крупным уголовником. Тот попал к немцам в первые дни войны, вместе с ними вошел в Колыч и оказал протекцию своему старому корешу.

Впервые в жизни Сазанский чувствовал, что его боятся. Он говорил и говорил и был похож на сумасшедшего. Однако сумасшедшим он не был, как не был сумасшедшим и сам Адольф Гитлер. Обоих их распирало потому, что вокруг не было никакого сопротивления. Так распирает глубоководную рыбу, вынутую на поверхность.

— Итак, я предлагаю вам войти в состав полиции. Но для этого вам дается испытательный срок.

Бургомистр знал, что занимает свой пост временно. Недаром фашисты возложили на него формирование карательных отрядов. Они считали, что на пост бургомистра следует найти фигуру хотя бы и менее деятель-

ную, но более импозантную. Пусть хоть на десять сантиметров будет повыше ростом. Полтора метра! Это же смех, никакой представительности!

Для Витальки не было тайной, что фашисты только недавно отказались от мысли объявить бургомистром Колыча доктора Катасонова. Еще вчера комендант города Келлер опять заговорил об этом со стариком. Тот решительно отказался и резко выдернул из уха слуховой аппарат, когда комендант попробовал настоять на своем.

— Вам придется, — говорил Сазанский Козлову, — для начала письменно сообщить нам обо всех советских активистах, оставшихся в городе. Каждому вы должны дать хотя бы краткую политическую характеристику. Вы готовы! Не советую долго думать, соглашайтесь... У вас большая семья?

— Я согласен, господин бургомистр, — сказал Козлов.

На прощанье Сазанский дал Козлову пачку фашистских брошюр на русском языке.

— Полезное чтение, вы многое поймете.

Вернувшись домой, Александр Павлович принялся за чтение. Он понял, что многое, о чем говорил Сазанский, почерпнуто из этих брошюр.

Печатному слову, Козлов всегда очень верил.

ПОДОЗРЕНИЯ

Леонид Сергеевич допустил неосторожность. Он помнил, что в разговоре с Дьяченко пошутил насчет погребальной конторы, но у него совершенно вылетело из головы, что он повторил остроту в доме Семеновых.

Семенов же, напротив, хорошо запомнил непонятную ему шутку Леонида Сергеевича. У него не возникло никаких сомнений на этот счет, когда он увидел на заборе объявлений возле рынка тетрадный листок, на котором стояли те самые странные слова. Как и большинство объявлений, извещающих о том, что продается, что покупается, что сдается внаем, это объявление было написано печатными буквами под копирку:

ФАШИСТСКИЙ ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН —
10 СПЛЮЩЕННЫХ КЛАССНЫХ ВАГОНОВ,
8 ПЛАТФОРМ С ТЕХНИКОЙ, СВЫШЕ
500 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЯЖЕК
С НАДПИСЬЮ «ГОТ МИТ УНС» и I ПАРОВОЗ.
СМОТРЕТЬ МОЖНО ВОЗЛЕ РАЗЪЕЗДА
ПАРМУЗИНО ПОД ВЫСОКИМ ОТКОСОМ
ТАК И БУДЕТ!

Погребальная контора
«Милости просим»

Семенов прочитал объявление несколько раз, все обдумал, но дома ни матери, ни Эльвире ничего не сказал.

Вскоре он прочитал еще одно подобное объявление, где сообщалось, какие потери несут фашисты на фронте и как Красная Армия срывает замыслы Гитлера. Подпись была та же: «Погребальная контора «Милости просим».

О листовках заговорили в городе. Даже дед Серафим спрашивал Семенова, не знает ли он чего-нибудь об этом. Семенов отвечал, что слышит про такое в первый раз, никаких листовок не видел и подпись кажется ему смешной.

— Для кого как! — возразил дед Серафим. — Для тех, кто хоронит, это, правда, весело, а кого хоронят — так не очень. Неплохое название подыскали! Мол, приходите, похороним.

Слушая болтовню деда Серафима, Семенов еще раз подумал, что его догадки неслучайны. Потому он и не считал возможным согласиться с разговорчивым дедом.

— Разве это название для партизан, — сказал Толя. — Лучше бы «Мстители» или же «Смерть за смерть!».

— Может, и лучше, — согласился дед, — только «Милости просим» тоже хорошо, с надеждой на победу.

На это — на улыбку надежды — и рассчитывал Леонид Сергеевич, когда решил именно так подписывать листовки своей подпольной группы. Названия группа еще не имела, и никто об этом пока не думал.

Их было четверо. Расширять группу Щербаков пока не хотел, от Дьяченко никаких конкретных указаний не поступало.

В маленьком городе всё и все на виду, все друг дружку знают и видят, кто что делает и кто чем живет. Очень трудно не привлекать внимания, жить, как все, говорить, как все, никак не отличаться в толпе, но делать свое дело. Делать дело и не вздрагивать, когда страшно, не оборачиваться, когда тебе смотрят в спину.

Этому Леонид Сергеевич учил подпольщиков с первого часа, об этом говорил им постоянно. Были, однако, у Щербакова трудности, о которых он никому не хотел говорить. За годы, отделяющие Гражданскую войну и борьбу с басмачеством от Великой Отечественной, сильно изменился сам Леонид Сергеевич. Он уже не был тем лихим и бесшабашным рубакой-кавалеристом, который с налету однажды влюбился в красавицу из байского гарема и, собрав вещички в трофейный фанерный чемодан, сначала на двухколесной азиатской арбе, а потом в бесплацкартном, пропахшем карболкой вагоне увез свою перепуганную невесту из полынных памирских предгорий в сосновую Русь. Холостым парнем Ленька Щербаков умел думать только о деле, только о том, что ему поручали; посторонние мысли не отвлекали его, не мешали сосредоточиться. Все начало меняться, когда он, еще в военной форме, но без знаков различия и оружия, не солдат и не командир, пошел работать жестянщиком в небольшую артель металлистов. Это было еще во Пскове.

Мастерская была на бойком месте, возле рынка, и на глазах у заказчиков Щербаков делал ведра, корыта, тазы, котелки, иногда подряжался крыть железом крыши, ладить водосточные трубы.

В мастерской, где работают несколько жестянщиков, всегда стоит грохот — тут много не поговоришь: руки сами находят на верстаке нужный молоток, оправку или киянку, а глаза свободны и голова тоже. Щербаков вглядывался в лица людей, удивлялся им, иногда радовался, иногда пугался.

Раньше Леонид Сергеевич видел всю Землю разом, как глобус, на котором все просто, все есть, а

чего не видно, то и значения не имеет. Теперь глобус занимал его все меньше, а невидимые на нем люди — все больше. Прежде всего оказалось, что все люди отличаются друг от друга не только, если можно так сказать, по качеству, а по чему-то еще. Притом хорошие люди больше разнятся между собой, чем плохие. Иначе говоря, плохие люди, по мнению жестянщика Щербакова, больше походят друг на друга, чем хорошие.

Только желание понять окружающих людей при-страстило Леонида Сергеевича к чтению книг. Не все книги годились для этой цели, одни писатели слишком хвалили людей, другие слишком уж ругали: и то и другое мешало понять жизнь. И в книгах Леонид Сергеевич заметил то же разделение, что и среди людей — хорошие книги были не похожи друг на друга, плохие — на одно лицо.

Чтобы быть поближе к культурным людям и к книгам, Щербаков и пошел работать в школу завхозом. Ради этого переехал в Колыч и Галину Исмаиловну устроил на курсы.

Наверное, был у Щербакова педагогический талант, которому не удалось проявиться. Ему бы преподавать литературу и историю, а он лишь изредка заменял учителя физкультуры и военрука.

Учил Леонид Сергеевич ребят ходить строевым шагом, поворачиваться через левое плечо, показывал им распиленную трехлинейную винтовку, водил стрелять в городской тир. Учил он ребят военному делу, а самого его война застала врасплох.

Выяснилось это не сразу. Прежде всего он почувствовал, что ему очень трудно думать о смерти. Не о своей смерти, а о смерти вообще. Трудно отдавать себе отчет в том, что девушки из его подпольной группы рискуют жизнью, рискуют ее потерять. У него порой возникали мысли и о том, что среди солдат Гитлера далеко не все фашисты, что есть или должны быть среди них люди честные и порядочные, которых жаль лишать жизни. Разве можно допустить, чтобы вместе с сотней бандитов погибал хоть один порядочный человек. Успокоился Леонид Сергеевич только тогда, когда решил для себя, что ни один действительно порядочный человек не может быть фашистским солда-

том. А людей не вполне порядочных или слегка порядочных Щербаков порядочными не считал.

Особенно много думал он об этом, когда готовил крушение воинского эшелона у разъезда Пармузино. После того как крушение произошло, возникло сразу очень много новых забот. Фашистов взорвали их же минами, никто из наших не пострадал. Операцию можно было считать очень успешной.

Леонида Сергеевича беспокоило, как бы подобные успехи не вскружили подпольщикам головы. Да, пока удавалось пускать фашистов по ложному следу, но с каждым днем, с каждой новой диверсией и с каждой новой листовкой росла вероятность того, что фашисты их нащупают. Дело не в ошибках, не в потере бдительности, не в возможном предательстве, а просто в том, что работать в оккупированном городе, не оставляя никаких следов, вещь невозможная. Зная это, Леонид Сергеевич тщательно разрабатывал каждую операцию, остерегался привлекать к делу новых людей и свято соблюдал все многочисленные правила конспирации.

Можно себе представить его удивление, огорчение и даже страх, когда к нему домой пришел ученик пятого класса Семенов и сказал:

— Леонид Сергеевич, примите меня в ваш отряд.

— Какой такой отряд? — не очень натурально удивился завхоз и, едва совладав с собой, переспросил: — В пионерский, что ли? Про такие отряды при немцах я пока не слышал.

— Леонид Сергеевич, я все знаю, — сказал Семенов.

— Что ты знаешь?

— Не сердитесь на меня, но я правда все знаю, — сказал Семенов. — Правда, Леонид Сергеевич.

Семенов не решился пойти со своего козыря и тянул время. Это было его ошибкой, потому что Леонид Сергеевич успел принять решение.

— Я правда все знаю, — повторил Семенов.

— Был в древности такой ученый, звали его Сократ. — Леонид Сергеевич сделал последнюю попытку уйти от разговора. — Так вот этот самый Сократ сказал слова, которые стали крылатыми...

— Леонид Сергеевич, — Семенов склонил голову

к плечу, — не надо со мной шутить, я, правда, все знаю.

— ...Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Этой своей скромностью он прославился больше, чем своей ученостью.

— Погребальная контора «Милости просим». Понятно? — шепотом сказал Семенов, рассчитывая, что теперь Леонид Сергеевич сдастся.

Он ошибся. Леонид Сергеевич остался совершенно спокойным и возразил фразой, которая обескуражила Толю.

— Понял я, понял! А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? Гроб — он одного лесу сколько требует...

Леонид Сергеевич еще долго сыпал какими-то непонятными фразами про Безенчука, а также насчет кистей и глазету. Наконец он спросил:

— Так ты это хотел сказать?

Понятно, что Семенов не мог уверенно отвечать, что он имеет в виду именно какого-то Безенчука, про которого никогда не слышал. Он молчал.

Убедившись, что противник смят и повержен, Леонид Сергеевич придвинул мальчику стул и строго сказал:

— А теперь выкладывай, что тебе в голову взбрело и что ты знаешь на самом деле.

Семенов честно рассказал о том, какие подозрения вызвала случайно оброненная Щербаковым фраза, и о том, что так подписываются теперь партизанские листовки. Еще он говорил, что не может такой человек, как Леонид Сергеевич, примириться с оккупацией. Из всего этого выходило, что отряд у Леонида Сергеевича все-таки есть и остается только принять туда Семёнова. Он внятно и четко изложил все это, а когда умолк, то понял, что его аргументы, в сущности, ничего не доказывают и что вообще все это одна фантазия. Леонид Сергеевич окончательно убедил его в этом, рассказав содержание интересной книги, которую должен знать каждый культурный человек. Из этой-то книги и взяты слова, которые, конечно, кого хочешь могут ввести в заблуждение своей странностью и нелепостью.

— Видимо, партизаны тоже читали эту книгу и

так называли свой отряд,— сказал Леонид Сергеевич,— тут ничего удивительного нет. А ты небось и Эльвиру спрашивал?

— Нет,— сказал Семенов.— Она человек неплохой, но очень скрытная. Если б она и была в вашем отряде, у нее ничего не выпытаешь. Еще и обсмеет.

— Ну, это зря,— строго сказал Леонид Сергеевич,— смеяться тут не над чем. Каждый может ошибиться. Ты расскажи ей о нашем разговоре и передай, что смеяться над тобой не надо. Надо уважать друг друга. Над этим смеяться грешно. А вообще я тебе доверяю и в Гражданскую войну взял бы к себе ординарцем.

На прощанье Леонид Сергеевич подарил Толе книжку «Принц и нищий» с такой надписью: «Т. Семенову, которому я абсолютно доверяю! Л. С. Щербаков».

По дороге домой Семенов отчетливо понял, что Леонид Сергеевич все же обманул его. Он не мог бы сказать, почему он пришел к такому выводу. Он не обижался на Щербакова, но точно знал, что Леонид Сергеевич связан с погребальной конторой «Милости просим». И Эльвира, кажется, тоже.

Александра Павловича не торопились принимать в полицию. Ему поручали слежку за разными малоинтересными людьми, учили писать донесения. Иногда Виталька давал немного денег, немецкого повидла или бутылку вина и уговаривал:

— Погодите, господин Козлов, даже я сам не утвержден начальником полиции. Обратите внимание: утверждение бургомистра проходит за день-два, а кандидатура начальника полиции согласовывается в нескольких инстанциях и визируется генералами службы безопасности — СД. И, пожалуйста, не болтайте никому, что я вас беру в заместители. Во-первых, это затруднит вам работу, а во-вторых, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

У себя во дворе Александр Павлович постепенно начал обретать былую уверенность. Все чаще он выходил по вечерам на крылечко для просветительной работы среди населения двора, а попутно и для сбора

сведений. Антонина устроилась на работу в солдатскую столовую, и тетя Даша сказала по этому поводу, что Козловы, хотя и толстые, но в любую дыру пролезут, потому что скрозь сальные... Она даже отказалась мыть у них полы, хотя Антонина сулила ей за это пятьсот граммов белого хлеба. Видимо, по совету супруги и не в меру разговорчивый дед Серафим очень осторожничал в своих беседах с Алексеем Павловичем.

— Ну, что скажешь, дед? — начинал Козлов. — Во оно как обернулось...

— Да-а, — говорил дед, — это точно...

— Ведь никто и не ожидал! — говорил Козлов.

— Да уж где там...

— А ведь, может, это и к лучшему все? Кто знает!

— Уж, конечно, никто не знает, Это вам лучше знать...

— А ты-то сам как думаешь?

— Да чего уж я думаю, коли баба портки отняла? Без порток много не надумаешь.

— При чем тут портки, дед? Думать-то надо головой!

— Да уж это кто как... Я, например, больше глазами да ушами думаю. Чего увижу, что услышу, про то и думаю.

— Трудно тебе, дед, — горько вздыхал Александр Павлович, — трудно, когда человек не имеет своего мнения по актуальнейшим вопросам насущной политики.

— Конечно, — соглашался дед. — Мне трудно, тебе трудно и Гитлеру, может быть, трудно. Такая жизнь трудная пошла.

С дедом Серафимом просветительная работа не получилась, и сведений, полезных Сазанскому, тут быть не могло.

Однажды Александр Павлович без приглашения, по-соседски зашел к Семеновым. До войны за много лет ни разу не заходил, а тут явился. Хозяйка мыла пол, и Александр Павлович, перешагнув через ведро, уселся на вымытой половине. Перед Натальей Сергеевной у Козлова был должок. Не он ли недавноставлял ее на путь истинный относительно работы при оккупантах, а теперь не за горами время, когда сам

наденет повязку полицаю. Можно было и не оправдываться перед какой-то медсестрой, но Александр Павлович любил, чтобы его поступки и суждения находили всеобщую поддержку и одобрение.

— Я вот все думаю,— говорил Козлов, сидя на венском стуле посреди комнаты,— насколько легче живет простой, необразованный человек, нежели образованный и умный.

Наталья Сергеевна из вежливости перестала мыть пол, бросила тряпку в ведро и с мокрыми руками села на табуретку.

Александр Павлович продолжал:

— Помнишь, Наташа, говорил я тебе про точку зрения и кочку зрения? Так вот, если посмотреть на вещи шире, то выяснится, что и на старуху бывает проруха. Оказывается, ты была права, когда не хотела эвакуироваться, а я был неправ, когда ругал немцев. Оказывается, это у меня была кочка зрения, если посмотреть на вещи шире.

Александр Павловичу очень давно нравилось выражение «если посмотреть на вещи шире». С его помощью можно было болтать что угодно, с чем угодно соглашаться, против чего угодно возражать. «Если посмотреть на вещи шире...»

Александр Павлович болтал и болтал, поглядывая на смущенную хозяйку, на скромную обстановку и белые стены. Вдруг он увидел фотографию Эльвиры в рамочке из морских ракушек. Эля была с комсомольским значком, и Александр Павлович вспомнил, что не худо бы прощупать Наталью Сергеевну насчет дочери. Расспрашивал он неумело, очень встревожив и насторожив мать. А узнал он только то, что знали все: работает Эльвира швей-мотористкой, работа нетрудная.

Ушел Козлов так же неожиданно, как явился, и Наталья Сергеевна вынуждена была домывать пол остывшей водой. Для ее рук это было вредно.

Всю ночь она не спала.

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Больница, где работала Наталья Сергеевна — два красных кирпичных корпуса с большими пыльными окнами, выходящими в липовый парк, — находилась в

центре города. Одной стороной больница примыкала к кафедральному собору, который фашисты постарались открыть сразу после захвата города. По другую сторону был Парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Липы в больничном саду опадали, и пыльные сухие листья шуршали под ногами редких посетителей и больных. Здесь никто теперь не подметал. В больнице находились только самые тяжело больные и еще те, кому некуда было уйти.

Не уговорив доктора Катасонова стать бургомистром, фашисты не интересовались больше ни больницей, ни врачами. Они все больше нажимали на «культуру»: устраивали танцы, крутили свои фильмы, организовывали богослужения. На колокольне, с которой еще в двадцатых годах были сняты колокола, повесили два рельса разной длины, чтобы по воскресеньям жители наслаждались благовестом. В церковь ходили старушки, на танцы—несколько девиц легкого поведения. Девицы так ярко красились и так криливо одевались, что весь город знал их.

Вот и сегодня воскресенье. Ярко раскамуфлированная фашистская радиомашинка, которая иногда проезжала по городу с объявлениями, въехала в растворенные ворота парка. Семенов знал, что при помощи этой машины как раз и устраиваются танцы, потому что хоть для какого-нибудь оркестра не могут набрать музыкантов: играть для фашистов и их подруг охотников нет.

«Долго так продолжаться не может,— думал Семенов.— Все люди, которые, вроде меня, мирно ходят по городу, на самом деле мечтают об одном и том же. Каждый понимает, что если один советский человек ценой собственной жизни убьет одного немца, то победа бесспорно будет за нами. Арифметический подсчет: в СССР сто семьдесят миллионов населения, в Германии же, как сказала Эльвира, всего восемьдесят. Сто семьдесят минус восемьдесят. Арифметика в нашу пользу». Но Семенов понимал и другое. «Ведь воюют не все люди, в армии, допустим, пятая часть населения. Значит, тридцать четыре минус шестнадцать. Всего шестнадцать миллионов советских людей долж-

ны пожертвовать собой — и фашизму конец. Всего шестнадцать миллионов. Всего!».

Семенов лично был готов к самопожертвованию и не сомневался в других. Главное, однако, — пожертвовать собой не зря.

Итого следует уничтожить всего шестнадцать миллионов фашистов, и у них не будет никакой армии. А у нас еще останется целых восемнадцать миллионов. От этой арифметики настроение улучшилось, и Семенов стал с интересом рассматривать приказы немецкого командования, расклеенные на стенах домов, на афишных тумбах и заборах. Приказов было множество. Жителям задалось: иметь огнестрельное и холодное оружие, собираться группами в общественных местах, выходить на улицу после десяти часов вечера, пускать на ночлег незнакомых людей, иметь радиоприемники, держать голубей и т. д. В конце каждого такого приказа были жирные строчки, извещающие жителей, что за неповиновение — смерть. Разница была лишь в том, что за одни преступления полагается только расстрел, за другие же — виселица.

Семенов заметил, что в немецких приказах, напечатанных русскими буквами, много орфографических и синтаксических ошибок. Он обрадовался. Значит, грамотные типографские рабочие не хотят служить оккупантам.

Он увидел огромный красочный щит, прислоненный к колоннам клуба промкооперации. На щите был изображен высокий стройный человек в синем фраке, в петлице которого вместо хризантемы красовалась свастика. У ног фашиста вилась змея. Текст гласил:

!!!

ЛЕОНАРД ФИЗИКУС

(Иван Митрофанович Пузайчук)

С ДИКИМИ ЗВЕРЯМИ ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ГИГАНТ-УДАВ

УКРОЩЕНИЕ ЗВЕРЕЙ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!

Прежде всего Семенов отметил два «п» в слове «Европа», и это было тем более странно, что в слове «Россия» явно не хватало одного «с». Потом внимание

Семенова привлекли имя, отчество и фамилия, взятые в скобки. После недолгих размышлений Семенов понял, что Леонард Физикус боялся, как бы фашисты не подумали, что он еврей. Поэтому он и объясняет всем, что Физикус он лишь в цирке, а в жизни — просто Иван Митрофанович.

Постояв возле театра, Семенов пошел дальше. Однако настроение испортилось. Вначале он не понимал причины, по которой у него испортилось настроение, а потом понял. Оказывается, далеко не все люди готовы жертвовать жизнью в борьбе с фашизмом. К примеру, Ивана Митрофановича Пузайчука из списка приходилось сразу же вычеркнуть.

Семенов обогнул театр и в переулке неожиданно столкнулся с Эльвирой. Он удивился, потому что думал, что она на работе.

Сестра не торопясь шла навстречу в нарядном платье, шерстяном жакете и в туфлях на высоких каблуках.

— Ты что здесь делаешь? — строго спросил он.

— Привет, Семенов! — сказала Эльвира.

(Семеновым сестра называла Толю очень редко. Это означало, что она любит брата и гордится им. Например: «Неужто две пятерки, Семенов?» или: «Сам все выстирал? Ну, ты даешь, Семенов!» В данном случае «Привет, Семенов!» было ни к чему, утром они виделись.)

— Ты что здесь делаешь? — опять спросил Семенов. — И жакет у тебя Веркин.

— Точно, Веркин, — сказала Эльвира. — От тебя ничего не укроется.

— А зачем?

— Думаем сегодня на танцы пойти или в театр. Лучше, конечно, в театр, — сказала Эльвира.

— На Физикуса? — возмутился брат. — Он же предатель! И ты его тысячу раз видела, он же каждый год из области приезжал.

— А разве это важно? — сказала Эльвира. — Важен повод повеселиться. Ты еще маленький и не понимаешь. К тому же, говорят, у Физикуса совершенно новая программа. А по окончании танцы.

Семенов заметил, что Эльвира смотрела поверх его головы. Он обернулся и увидел, что на углу прохажива-

вается самая красивая девушка их школы — Вера Иванова.

— Иди,— сказал Семенов.— От тебя я этого не ожидал.

Эльвира поцеловала брата и побежала к подруге.

— Маме не говори!— крикнула она на прощание.

Он и не собирался говорить об этом матери. Она только огорчится. Имело, конечно, смысл поговорить об Эле с Леонидом Сергеевичем. Но эта мысль навела Семенова на совсем новые предположения.

В тот вечер в здании клуба промкооперации должен был выступать не один Физикус, в тот вечер фашисты организовали смешанный русско-немецкий концерт. Вход — по пригласительным билетам. В первом отделении — Леонард Физикус, представитель России, во втором — артистки разъездного немецкого кабаре. И зрители должны были быть смешанные. Немецкие офицеры, эсэсовцы и простые солдаты приглашались в клуб вперемишку с «честными и порядочными» русскими, которых отбирали по спискам, предварительно согласованным и выверенным Виталькой Сазанским.

Придя за полчаса до начала концерта, Семенов увидел у подъезда множество людей, легковые автомобили офицеров и усиленную охрану. Несколько русских в толпе у колонн старались держаться уверенно и нагло расхаживали на виду у всех, зато другие прятали глаза от прохожих, которых здесь, на их счастье, было мало. Ни Эльвиры, ни Веры Ивановой Семенов пока не видел.

«Может быть, они уже там, внутри?» — подумал он и подошел ближе, чтобы заглянуть в вестибюль.

— А ты что тут делаешь, Семенов? — окликнул его Александр Павлович. — Сюда детей не пускают.

У него было отличное настроение: его приняли в полицию, дали повязку и с этого дня таиться не имело смысла.

Семенов оглядел повязку и не удивился. Он вообще не умел удивляться превращениям плохих людей. Подумаешь, превращение! Был трус, стал подлец. Был подлец, стал негодяй, стал полицей.

«Может, он видел, как Эльвира прошла в театр,— подумал Семенов.— Он поставлен здесь, чтобы наблю-

дать». Он хотел спросить Козлова про Эльвиру, но в последний момент почему-то передумал.

— Хочется небось внутрь попасть? — спросил Александр Павлович. — Хочется?

— Да не очень, — честно признался Семенов. — Я этого Физикуса сто раз видел. Он у нас в школе на зимних каникулах выступал. Двадцать копеек за билет.

— Ну, какая у него в школе программа! — хмыкнул Козлов. — Тут ведь другое дело. Хочешь, пропущу?

Если бы Семенов во что бы то ни стало рвался в театр, если бы подошел к Козлову с просьбой пропустить его, тот наверняка ответил бы отказом, чтобы таким образом проявить свою власть. Но Семенов ни о чем не просил Козлова, и проявить свою власть тот мог только одним способом — предложить мальчику пройти без билета.

— Скажу одно слово — и пропустят! Будешь сидеть на галерке. — Не спрашивая согласия, Александр Павлович подвел мальчика к контролю. — Это мой сосед, а мать у него с Катасоновым работает. Пусть на галерку пройдет. Места там должны быть.

В вестибюле толпились фашисты со своими девицами, но ни Веры, ни Эльвиры Толя не увидел.

«Наверно, билетов не достали, — подумал он. — Ну и хорошо, матери спокойней».

Зазвонил звонок, и Семенов стал подниматься по лестнице. Он не раз бывал в этом клубе, и каждый раз на галерке. Сегодня он оказался среди полицаев и немецких автоматчиков, поставленных для наблюдения за зрительным залом сверху. Оглядев своих соседей, Семенов свесился через плюшевый барьер.

В зале было много серого и черного. В сером — солдаты германской армии, в черном — эсэсовцы. Русских было очень мало, до удивления мало. В ложах справа и слева было сплошь черно: черные мундиры с серебряными погонами, шнурками, значками и другими финтифлюшками.

Немцы — народ дисциплинированный. Все сидели на своих местах задолго до третьего звонка. Вскоре заиграла музыка и медленно поднялся занавес.

На сцену вышел маленький усатенький человечек,

в котором Семенов с удивлением узнал продавца из магазина «Спорт и фото». Усатик произносил речь от имени русского населения города Колыча, но Семенов его не слушал, потому что говорил тот вещи довольно известные, вещи, о которых постоянно говорили репродукторы городской сети. Единственное, что отметил Семенов, — наиболее важные и подлые приказы читал по радио именно этот человек: он узнал его голос.

Бургомистр говорил слишком долго и поэтому аплодировали ему не сильно. В ложах справа и слева едва подносили ладонь к ладони, не хотели уставать.

«Наверно, очень большое начальство», — подумал Семенов.

Потом на сцену вышел Леонард Физикус, ведя за руку усталую мартышку. Он показывал фокусы, которые Толя видел несколько раз. По очереди с мартышкой Физикус доставал из большой вазы предметы. Их было так много, что уместиться в вазе они явно не могли. Весь город знал, что их подсовывают сзади или через люк в полу. Сегодня Физикус и мартышка достали из вазы живую курицу, двух кроликов, белую мышь, несколько цветастых платков, колоду игральных карт, пару белых голубей и, наконец, огромный шелковый флаг со свастикой. Торжественно установив флаг на авансцене, Физикус удалился под звуки марша. Зрители долго аплодировали флагу, а когда кончили, то опять появился Физикус.

На шее дрессировщика висел огромный удав. То ли в предчувствии наступающей зимы, собираясь впасть в спячку, то ли из-за плохого питания, то ли из-за отсутствия репетиций, удав никак не хотел обвиться вокруг хозяина. Физикус нервничал, потел, втаскивал удава на свои покатые плечи. Наконец удав обвился вокруг дрессировщика и грустно свесил голову над оркестровой ямой.

— Вот он — страшный удав коммунизма! — воскликнул Физикус. — Удав коммунизма душил нас, но пришли освободители — немецкая армия — и вызволили нас из беды! Ура!

Удав выпустил Физикуса, тот шагнул к рампе и низко поклонился.

— Вот гад! — довольно громко прошептал Семенов, позабыв, что рядом полицаи.

Ведь совсем недавно этого самого удава Физикус показывал на утреннике в этом самом клубе, но называл его тогда «удавом капитализма».

Аплодисменты были жидкие. В ложах совсем не аплодировали, даже рук не поднимали. А Физикус все кланялся, переходя из одного угла сцены в другой. Кланялся он снисходительно, будто все просят его повторить замечательный номер с удавом, а он медлит — может быть, и повторит, а может, не захочет.

В тот момент, когда аплодисменты вовсе иссякли и Физикус направился к кулисам, в ложе справа от сцены полыхнул взрыв. Следом, с интервалом в полсекунды полыхнула взрывом левая ложа. Тут погас свет, и в полной темноте рвануло еще три раза подряд в партере.

Выбраться из театра Семенову удалось не скоро. У всех проверяли документы, а всех русских к тому же обыскивали. Семенов был вне подозрений, потому что сидел вместе с полицией на галерке.

Он понимал, что мать уже знает о взрыве, и побежал не домой, а к ней в больницу.

ЗАЛОЖНИКИ

Доктора Катасонова вызвали из дому.

Лев Ильич молча оделся, принципиально не спрашивая, что произошло, кто в кого стрелял. И по дороге в больницу, и готовясь к работе в операционной, он спрашивал только о количестве раненых, о тяжести ранений, отдавал распоряжения о первой помощи, о размещении в палатах, об очередности подготовки больных к операции. Он видел, что кто-то из нянечек и медсестер рвется рассказать ему о диверсии в клубе, и предупредил это.

— Меня не интересует политика. Есть, слава богу, разделение труда. Одни стреляют, другие лечат раненых. Мне поздно интересоваться чужими делами... Наталья Сергеевна, будьте любезны, кто у нас первый на очереди.

Наталья Сергеевна знала, что больные здесь отличаются не по именам, фамилиям, полу или возрасту, а по ранениям или заболеваниям.

— Я думаю, ранение мягких тканей спины, осколками задета бедренная кость и предплечье,— сказала она.

— Тяжелее нет?

— Этот — самый тяжелый.

В городскую больницу доставили только русских. Военнослужащих гитлеровской армии и офицеров СС отправили в загородный госпиталь, расположившийся в бывшем детском санатории. Говорили, что всего пострадало около шестидесяти человек, убитых более двадцати, среди них трое русских полицаев, охранявших ложи начальства.

Среди тяжелораненых русских оказался и Леонард Физикус — Иван Митрофанович Пузайчук. Это о нем говорила Льву Ильичу Наталья Сергеевна, его первого и положили на операционный стол.

Дрессировщик был бледен и слабо стонал. Рана в предплечье оказалась не опасной, хуже было с мягкими тканями бедра, с тем самым местом, которое, как говорится, ни самому посмотреть, ни людям показать. Леонард Физикус лежал ничком на операционном столе, доктор Катасонов обрабатывал рану: в ней было много заноз — осколков деревянного настила сцены.

— Заморозьте меня, заморозьте,— просил Физикус. — Я не переношу физических страданий, я умру от них.

Доктор Катасонов будто и не слышал этих просьб. Во-первых, он знал, что больной не умрет, во-вторых, был хирургом старой школы и к обезболиванию прибегал лишь в самых необходимых случаях.

— Заморозьте меня, пожалуйста. Я этого не переживу,— со слезами умолял Физикус.— Разве вам трудно?!

Наталья Сергеевна жалела дрессировщика, хотя знала, что боль не такая уж сильная, а новокаина — средства для обезбоживания — у них оставалось мало. Наталья Сергеевна всегда жалела тех, кто жаловался.

Лев Ильич оперировал молча, но иногда чуть слышно хмыкал. Это он вспоминал про то, что и сам мог бы оказаться в клубе, и некому было бы его оперировать.

...Приглашения на этот смешанный концерт рассылались всем, кого фашисты хотели привлечь на свою сторону. Их вручали под расписку, как повестки о явке на регистрацию, да и разносили их полицаи. Катасонову приглашение вручил лично Сазанский. Доктор предупредил, что вряд ли придёт.

— Я не люблю эстрадных представлений и легкой музыки. Так и передайте коменданту. Если бы симфонический концерт—Гайдн, Моцарт или...—Доктор подумал, что его отказ звучит слишком убедительно и даже угодливо, что такая мотивировка может понравиться коменданту. Он знал, что фашисты ненавидят музыку Мендельсона, и потому добавил:— Передайте господину коменданту, что с удовольствием послушал бы Мендельсона. Запомнили? Мендельсона.

Физикус плакал, слезы текли по его бледному морщинистому лицу, а он проклинал смешанный концерт и объяснял, что вынужден был выступать там, потому что звери его, особенно удав, нуждаются в калорийной пище. Хорошо жонглерам— у них жизни нет, шарики, булавы и зонтики есть не просят. Подумайте сами, каково нынче дрессировщику, если у него тигры, львы или удав, а жратвы нет.

Когда становилось очень больно, Физикус переставал жаловаться и подвывал. Его тонкий голос был слышен в коридорах и даже в кубовой, где, то засыпая, то просыпаясь в ожидании матери, на жестком деревянном диванчике сидел Семенов. Поговорить с матерью пока не удалось. Когда он прибежал в больницу, в операционной уже вовсю шла работа.

Семенов сумел все обдумать и успокоиться. В первых, не следует говорить о том, что видел сегодня возле клуба Эльвиру, и притом вместе с Верой Ивановой. Ни в коем случае нельзя рассказывать, что Эльвира собиралась на концерт. А раз так, то нельзя говорить и о том, что он сам был в театре.

Семенов не имел никаких оснований думать, что Эльвира имела отношение ко взрывам в клубе, и все же, непонятно почему, он думал именно об этом.

Как ни странно, диверсия, произведенная неизвестными злоумышленниками во время русско-немецкого концерта в клубе промкооперации города Колыча, произвела неожиданно сильное впечатление на фаши-

стов. Депеши, простые и шифрованные, полетели во все концы. Из Берлина потребовали срочного и подробного донесения. Дело не только в том, что жертвами диверсии оказались один важный чин СС, несколько старших войсковых офицеров и ведущий хирург армейского госпиталя, племянник самого Гимmlера доктор Гофман. Дело было в том, что об успешных пропагандистских мероприятиях среди населения старинного русского города Колыча было доложено «наверх», было написано в газетах и именно в Колыче фашисты решили продемонстрировать свою лояльность по отношению к местному населению и лояльность населения к себе.

По всей оккупированной территории Советского Союза и вообще во всех ранее оккупированных странах Европы фашисты чинили зверские расправы с мирными жителями. В городах и селах, где прошли их передовые части, воздвигались виселицы, а огромные противотанковые рвы становились братскими могилами для тысяч и тысяч ни в чем не повинных стариков, женщин и детей.

Маленький Колыч был выбран, чтобы доказать миру обратное. Почтальоны городов гитлеровской Германии уже раскладывали в ящики газеты с сообщением о том, что в городе Колыче состоялся совместный концерт, где русские плечом к плечу с немцами пели и танцевали.

Дело было еще и в том, что взрыв в клубе промкооперации оказался самой первой или одной из первых подобных диверсий партизанской войны 1941—1945 годов. Потом взрывы в театрах, кинозалах, ресторанах, кабаре и дансингах преследовали фашистов до конца их дней, но взрыв в маленьком и тихом Колыче был первым.

Пока Лев Ильич и Наталья Сергеевна в городской больнице, а немецкие врачи и медсестры в военном госпитале оказывали помощь раненым, в комендатуре города шло экстренное совещание. Комендант Келлер, его заместитель капитан Ролоф и несколько эсэсовцев вместе с переводчиком уточняли списки, представленные Сазанским. Списки были подготовлены давно и предназначались для того, чтобы исподволь и постепенно убирать из города всех, кто мог оказаться лич-

ностью вредной или нежелательной при проведении длительного пропагандистского эксперимента. В списки включались все члены семей коммунистов, все оставшиеся комсомольцы, все, кто занимался общественной работой, а кроме того, все, кто так или иначе не понравился новому начальству. Всего в списке оказалось более тысячи человек.

— Будем гуманны, — сказал майор Келлер и на цифре 620 поставил галочку. — Обычно мы берем заложников при облавах. Здесь поступим по справедливости. Мы возьмем заложников из числа людей, все равно обреченных, и будем казнить их группами. 620 человек — исходная цифра, по десять за каждого пострадавшего. Сначала мы казним каждого десятого из шестисот двадцати, еще через несколько дней каждого восьмого, затем каждого шестого, каждого четвертого, каждого второго... Мы не будем разыскивать конкретных виновников взрыва, мы заставим само население выдать бандитов... Господин Сазанский, с этого часа ваш несчастный город остается без бургомистра. Назначаю вас ответственным за арест заложников и проведение дальнейших воспитательных мероприятий.

По предложению капитана Ролофа решили объявить по радио, что в связи с розыском диверсантов населению до особого распоряжения запрещается выходить из своих домов.

Список советских активистов, проживающих в районе улиц Луговая, Салтыкова-Щедрина и Овражная, составлял Александр Павлович Козлов. Еще недавно это казалось ему никчемной работой, которую Виталька Сазанский выдумал, чтобы проверить его, Козлова, лояльность. Однако сегодня на исходе сумасшедшей бессонной ночи Виталька вручил Козлову им же составленные списки, дал трех автоматчиков и приказал:

— К тринадцати часам, господин Козлов, ваши сорок шесть человек должны быть доставлены на стадион «Буревестник». Именно сорок шесть, и ни одним меньше. — Он смотрел на Козлова снизу вверх. — А насчет диверсии в клубе вы напишите мне письменное объяснение. Мне кажется, что у вас глаза бегают.

Козлов был уверен, что его непричастность к взрыву доказана, вопрос исчерпан. Сгоряча эсэсовцы надавали по морде многим из дежуривших полицейских. Вскоре, однако, саперы обнаружили провода, которые тянулись из подвала театра в сторону городского сада. Установили, что мины диверсанты заложили дня за два до концерта, когда никакой охраны в клубе еще не было. Причем же здесь Козлов?! Ведь он стоял снаружи, и притом только в день концерта. Знал Александр Павлович и то, что собаки-ищейки сначала взяли след диверсантов, а возле рынка его потеряли.

— Так напишите объяснение, господин Козлов, — повторил Виталька.

Требование Сазанского огорчило Александра Павловича еще и потому, что он чувствовал свою беспомощность и понимал, что Сазанский куражится над ним.

Полицаи с автоматчиками усаживались в грузовики и отбывали в разные концы города. Александр Павлович ждал своей очереди и нервничал, он не мог отогнать жуткую мысль, что где-нибудь в архивах обнаружат документы о том, что он, Козлов А. П., несколько раз просился в партию. Да, да, просился, и настойчиво.

Впрочем, думать было некогда. Сев в кабину, Александр Павлович включил карманный фонарик и развернул список, три странички машинописного текста: слева номер по порядку, затем фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес, чем скомпрометирован. Взгляд Козлова упал на фамилию — Чинилкина. Чинилкина Дарья Васильевна.

Тетя Даша попала в список случайно. Она не была ни активисткой, ни тем более комсомолкой, просто издавна не ладила с Козловыми — с самим Александром Павловичем и его женой. Усмехнувшись собственной власти над жизнью и смертью людей, Козлов вначале пожалел соседку, а потом успокоил себя: «Лес рубят — щепки летят».

Вслед за Чинилкиной в списке значилась Семенова Эльвира Вячеславовна, год рождения 1923, комсомолка. Относительно Эльвиры все было в порядке. Комсомолку он обязан был записать — долг есть долг. Плохо только, что все это в своем дворе. Однако он тут ни при

чем. Его дело указать, а забирать будут автоматчики.

...Было ровно шесть часов утра. Шел холодный осенний дождь. Низко висели тучи, и казалось, до рассвета очень еще долго. На городской площади и в домах города Колыча включились репродукторы городской радиосети.

«Внимание! Внимание! Передаем приказ германского командования. В связи с розыском большевистских диверсантов, устроивших подлую провокацию во время дружеского концерта, в течение всего дня населению запрещается выходить из своих домов. Каждый, захваченный на улице без специального пропуска, будет расстрелян на месте...»

Леонид Сергеевич Щербаков считал, что операция прошла успешно. Он еще не знал, что более двадцати фашистов убиты и среди них эсэсовский генерал. Он не знал, что в самом Берлине негодуют из-за срыва важнейшего пропагандистского мероприятия. Для Леонида Сергеевича сейчас главное было в том, что участницы этой диверсии — три десятиклассницы из его школы — живы и невредимы. Создавая свою крохотную группку, Леонид Сергеевич исходил из того, что в ее составе могут быть только абсолютно проверенные люди, те, кого он знает лично, кому может доверять во всем.

А кого он знал в этом городе? Он знал учителей своей школы. Но мужчины сразу ушли в армию, многие эвакуировались. Остались только пожилые, слабые, обремененные семьями. Он знал мальчиков из старших классов. Ребята ушли на фронт в первые дни войны. А девушек-старшеклассниц Леонид Сергеевич знал только как завхоз. Под его началом в школе перед праздниками устраивалась генеральная уборка да еще субботники весной и осенью.

В первый день фашистской оккупации, перебирая имена девчат из десятого класса, Леонид Сергеевич прежде всего вспомнил об Эльвире Семеновой. Историю ее семьи Щербаков знал от своей жены и однажды собирался даже пойти к Вячеславу Баклашкину, усты-

дить его за то, что предал детей. Тогда Галина Исмаиловна отговорила его.

Ученики часто не догадываются, какими глазами смотрят на них педагоги, о чем думают. У Леонида Сергеевича и Галины Исмаиловны своих детей не было. Если бы у них была возможность выбирать, они взяли бы сразу двоих — сестру и брата, Эльвиру и Анатолия Семеновых. Леонид Сергеевич сказал однажды об этом своей жене, и та с ним согласилась.

Ни в коем случае не предложил бы Щербаков вступить в отряд Вере Ивановой. Иванова казалась ему слишком холеной и надменной. Она знала себе цену, и мальчишки ухаживали за ней класса с седьмого. Однако Леонид Сергеевич понимал, что Эльвира все равно обо всем расскажет Вере, потому что они были самыми близкими подругами.

Третьей в группе Леонида Сергеевича была Надя Андреева, худенькая, беленькая, аккуратная и очень тихая. Надя была комсоргом десятого класса и членом учкома.

До сих пор девушкам поручались наиболее простые вещи. Они собирали сведения, необходимые для диверсий, писали и расклеивали листовки. Когда Леонид Сергеевич готовил взрыв эшелона у разъезда Пармузино, девочки доставляли ему туда взрывчатку.

Операцию в клубе Леонид Сергеевич в основном готовил сам. Это он заложил мины и сделал проводку. Но у разъезда Пармузино Леонид Сергеевич сам же и включил взрыватель. Теперь он поручил это Эльвире и Вере. К счастью, все сошло хорошо.

Леонид Сергеевич сидел за столом и поверх занавески смотрел в мокрое окно. Там, за стеклом, было холодно. Город спал. Не лаяли собаки, и петухи почему-то еще тоже молчали. За спиной Леонида Сергеевича на двуспальной никелированной кровати спала Галина Исмаиловна, Гюльнора, дочь Исмаила, единственная узбечка в этом городе на западе России. Не оборачиваясь к жене, Леонид Сергеевич точно знал, как она лежит — на левом боку, без подушки, и как лежат ее волосы — огромная копна черных волос, и какие молодые у Галины Исмаиловны руки...

«Внимание! Внимание!» — сказал репродуктор. Леонид Сергеевич подкрутил гаечку, чтобы было по-

тише. «Передаем приказ немецкого командования. В связи с розыском большевистских диверсантов, устроивших подлую провокацию во время дружеского концерта...»

«Не найдут, — успокоил себя Щербаков. — Девчат, во всяком случае, не найдут».

Откуда ему было знать, что фашисты вообще отказались от поисков подлинных виновников. Они прекратили эксперимент в городе Колыче и перешли к обычной своей тактике — массовому террору. Леонид Сергеевич не знал, что в список 620 заложников попала вся его группа, все три девочки. Они были комсомолки. Они комсомолки, этого достаточно.

Леонид Сергеевич вышел на кухню, аккуратно оторвал листок календаря, отделив часть его на сигарку; из кожаного кисета он насыпал махорки, поглядел на ходики. Двадцать минут седьмого. Он закурил, потом разжег керосинку, поставил на нее тяжелый медный чайник.

Захотелось разбудить жену и рассказать все, о чем думает. Он заглянул в комнату. Свет из кухни упал на постель. Галина Исмаиловна спала на левом боку, поверх кружевного пододеяльника лежала ее тонкая смуглая рука.

Они завтракали, когда за окном остановилась машина и послышалась немецкая речь. Леонид Сергеевич отставил тяжелую фаянсовую кружку с горячим чаем и встал. В правом кармане брюк лежал парабеллум, отличный немецкий пистолет, из которого Леонид Сергеевич ни разу не стрелял. В Гражданскую ему приходилось стрелять из разных винтовок, из револьвера типа «наган», из кольта и даже из маузера. Маузер был тогда в моде, и достать такое оружие удавалось не каждому. В кармане пальто, висевшего у двери, Леонид Сергеевич держал гранату. Он приготовился к сопротивлению и знал, что не дастся живым.

В дверь постучали.

— Открой, Галя, — сказал Леонид Сергеевич, — если ко мне, пусть проходят сюда, а ты подожди на улице. Мало ли что может быть.

Она понимала, что может быть.

Леонид Сергеевич напряженно вслушивался в разговор у входной двери.

Важно, чтобы Галя была подальше от стрельбы и еще — дай бог! — чтобы не было припадка. Щербаков боялся, что в самый ответственный момент он может потерять сознание. Он не боялся смерти, он боялся, что припадок помешает ему умереть, как того хотел. Скоро Галина Исмаиловна вошла в комнату в сопровождении фашистского автоматчика.

— Какая-то странная история, — растерянно сказала она. — Наш квартальный полицай явился с немцами и требует, чтобы я немедленно отправилась с ними в детский садик. Он говорит, что искали заведующую и не нашли. Им нужно открыть помещение, а дверь они ломать не хотят.

В комнату просунулась большая голова Юрки Гордеева, квартального полицай.

— Здравсте, Леонид Сергеевич! — радостно приветствовал он Щербакова. — Простите, что такое дело. Фрицы эти в садике хотят койтору свою разместить какую-то, а дверь ломать не желают. Они порядок любят. Пусть супруга ваша откроет им, а садик-то все равно без пользы.

Юрку Гордеева Леонид Сергеевич знал хорошо. В прошлом году бросил школу, уйдя из восьмого класса, в котором остался на третий год. Это была потеря для школьного спорта. Гордеев участвовал во многих спортивных соревнованиях в городе и даже в областной спартакиаде. У него были зеленоватые неподвижные глаза с длинными ресницами. Крупная голова с крупным выпуклым лбом казалась совсем детской.

— Мы щас, Леонид Сергеевич, — улыбался Гордеев, — у нас вон машина стоит. Чик-чирик — и готово!

Галина Исмаиловна нашла ключи от детского садика, накинула платок, сняла с вешалки телогрейку.

— Не волнуйся, Леня, я быстро.

Все получилось не так, как ожидал Леонид Сергеевич. Вроде бы зря тревожился, зря напрягся, зря боялся припадка. Арест без обыска казался ему бессмысленным. И потом, кто бы мог заподозрить Галину Исмаиловну в том, чему виною был сам Леонид Сергеевич?

«Хорошо, что хватило выдержки, — думал Леонид Сергеевич. — Какое ужасное совпадение! Я мог бы погибнуть сам, погубить жену и всю группу».

Леонид Сергеевич никак не предполагал, что его тихая жена попала в число шестисот двадцати заложников только потому, что была председателем месткома у себя в детском саду. Никогда Леонид Сергеевич не поверил бы, что за ключами от детского сада могут приехать три вооруженных солдата да еще один полицейский. Однако у Юрки Гордеева было такое глупое лицо, что Леонид Сергеевич не считал его способным на подобную хитрость.

К двум часам дня все шестисот двадцать заложников были собраны на стадионе «Буревестник», пересчитаны, переписаны и под конвоем автоматчиков с собаками отведены за березовую рощу в гравийный карьер, который отныне должен был стать их тюрьмой. Карьер представлял собой глубокую яму с одним только выездом, недалеко от которого стояло похожее на барак здание конторы. Над карьером были оборудованы долговременные пулеметные гнезда.

В половине третьего городское радио объявило, что жители могут выходить на улицу и заниматься своими делами.

Наталья Сергеевна шла медленно. В глазах у нее мелькали и роились черные точки, в левом боку болело, плечо и рука были как не свои. Семенов шел рядом с матерью и все время спотыкался, потому что не мог оторвать взгляда от ее лица. Он понимал, что мать думает об Эльвире, думает так же, как он, но знает больше.

Вчера еще было сухо, но дождь, начавшийся ночью, не переставал. Они шли, не разбирая дороги, и ноги у обоих были в грязи по щиколотку. В райтоповском дворе первым увидели деда Серафима.

Он стоял под дождем в суконных штанах и в зимней шапке. Наверно, давно стоял он так, потому что совершенно мокрая рубашка облепила его огромный живот и брюки тоже были совсем мокрые.

— Бабу мою взяли, — сказал дед Серафим. — Приехали и взяли. Александр Павлович с двумя фрицами, третий в машине. Партизан ищут. Видно, такой хитрый у них порядок для следствия. — Дед Серафим делал умозаключения для того, чтобы успокоить се-

бя. — Хитрый порядок. С каждого двора берут одну девку молодую, одну бабу старую. Хитро делают... Знают женскую натуру. Все одно — какая-никакая баба, а проболтается. Они баб вместе собирают, а потом подслушивают. Бабы что хошь выболтают...

Наталя Сергеевна двинулась к своему крыльцу. Семенов поддерживал ее, чтобы не упала.

— А Козлов говорит, к завтраму всех невинных выпускают. Или к послезавтрему... — крикнул вслед дед Серафим. — Уж он знает... — И добавил неожиданно для себя: — Подлюга...

В квартире Семеновых все было на своем месте. Когда брали Эльвиру, обыска делать не стали.

Наталя Сергеевна легла не раздеваясь. Семенов накапал ей валерьянки, она покорно выпила. Лежала молча. Сын приготовил поесть, мать отказалась.

За окнами шел дождь. В доме было тихо. Молчала и черная тарелка репродуктора:

Поздно вечером Виталька Сазанский сообщил населению города, что немецкое командование взяло шесть-сот двадцать заложников, по десять за каждого пострадавшего в клубе промкооперации.

«О дальнейшей судьбе заложников будет объявлено особо», — сказала тарелка.

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА

Она словно бы и не помнила, что должна идти на работу. Сначала долго лежала, потом наконец встала и медленно копошилась по хозяйству. Начинала одно дело, не закончив, бралась за другое, а то вдруг садилась и смотрела прямо перед собой ничего не видящими глазами.

В двенадцатом часу на больничной таратайке в райтоповский двор приехал Лев Ильич Катасонов. Никогда прежде не бывал у своей операционной сестры. Теперь приехал, потому что узнал об аресте Эльвиры. Он суетился, но спешил сам и торопил свою верную помощницу.

— Поедемте, Наталя Сергеевна, надо что-то делать. Нельзя терять время.

Мать послушно собралась. Они уехали, и Семенов

остался один. Ни с кем, кроме доктора Катасонова, он ни за что не отпустил бы мать из дому. Доктор же знал, что делал.

Всю дорогу до больницы Лев Ильич молчал, но возле самых ворот вдруг попросил повернуть к комендатуре.

Угрюмые автоматчики пропустили его беспрепятственно. Старик поднялся на второй этаж, куда указывала стрелка с аккуратной готической надписью. Ему сказали, что майор Келлер отсутствует. В приемной дежурили два одинаково плешивых и толстомордых писаря. Доктор объяснил, кто он, попросил немедленно связать его с комендантом.

Лев Ильич с трудом говорил по-немецки, потому что в последний раз был в Германии в конце прошлого века, когда защищал диссертацию в Берлинском университете. Старший из писарей предложил доктору лист бумаги и сказал, что заявление будет сейчас же передано коменданту. После мгновенного колебания Лев Ильич сел за стол.

Совсем недавно он дал себе слово ни по какому поводу не обращаться к оккупантам с просьбами. Он хотел делать вид, будто ничего не изменилось, будто фашистов и нет совсем. Сейчас он нарушал данное себе самому слово. К тому же Лев Ильич лгал. Доктор писал, что он хорошо знает дочь своей операционной сестры, часто беседовал с нею и на этом основании заверяет власти, что девочка не интересуется политикой и ни в чем противозаконном замешана быть не может. Еще Лев Ильич писал, что лично ручается за Эльвиру Семенову и просит коменданта дать ему право присутствовать на допросах, ибо девушка не достигла еще совершеннолетия.

Лев Ильич понимал серьезность момента и потому преступил все свои правила. Он подписался так, как никогда не подписывался: «Доктор медицины Берлинского университета, русский дворянин Лев Ильич Катасонов».

В больнице он вел себя с Натальей Сергеевной так, будто ничего не случилось. Сразу же нагрузил работой, поручил заново стерилизовать перевязочный материал, халаты, простыни, инструменты. Время от времени он уходил к себе в кабинет и звонил в

комендатуру. Ему вежливо отвечали, что майор Келлер еще не появлялся.

Между тем майор Келлер давно сидел за своим столом, и заявление доктора Катасонова лежало справа от него вместе с другими прочитанными бумагами. Комендант был хороший службист. Прочитав заявление Катасонова, он прежде всего взял список тех, кого должны были казнить первыми. В этом списке было 62 человека, и искать там нужную фамилию было легче, чем в общем списке. Комендант омрачился, увидев, что Семенова Эльвира Вячеславовна в нем значится. Он считал, что в данном случае ничем не может помочь маститому хирургу. Было бы крайне несправедливо, чтобы вместо Семеновой Эльвиры Вячеславовны казнили кого-то, чье имя стоит в общем списке непосредственно после Семеновой или непосредственно перед ней. О том, чтобы казнить одним человеком меньше, не могло быть и речи.

В три часа дня радио сообщило, что ровно через час на стадионе «Буревестник» будут повешены первые заложники. Населению объявили также, что день следующей казни будет назначен в ближайшее время.

Лев Ильич позвонил в комендатуру еще раз. Ему опять сказали, что майора нет. На сей раз это была правда. Келлер только что отбыл к месту казни. Лев Ильич зашел к Наталье Сергеевне в стерилизаторскую, проверил давление в автоклаве, сделал какие-то замечания, а потом не удержался и сказал так, как говорил после самой тяжелой хирургической операции:

— Мы сделали все, от нас зависящее, — это главное. Остальное в руке божьей.

Стадион находился вне городской черты. Объявление по радио было сделано довольно поздно, поэтому родственники и друзья всех шестисот двадцати, кого взяли в качестве заложников, бросив свои дела, побежали к стадиону.

Это было большое зеленое поле на опушке прекрасной березовой рощи: трибуны с одной лишь стороны, а вокруг — низенькая ограда из штакетника.

Семенов бежал впереди всех, он в числе первых оказался на стадионе и видел все. Он видел, как их вели

со связанными руками к длинной-длинной виселице, поставленной параллельно трибунам. На трибунах было полным-полно фашистов, многие с фотоаппаратами.

Когда все было кончено, перед Келлером поставили микрофон. Он говорил медленно, переводчик внятно его переводил, а мощные репродукторы радиомашин далеко разносили их слова.

Комендант объяснял населению, почему им избрана такая система наказания, что система заложничества применялась во все времена, и пообещал, что дальнейшие казни заложников могут быть и прекращены, если горожане сами поймают и выдадут властям всех большевистских диверсантов.

Леонид Сергеевич к самой казни опоздал. Он вбежал в ограду стадиона и издали сразу увидел свою жену. Она висела высоко над землей спиной к нему. Во всем городе только у нее были такие черные, такие тяжелые косы. Леонид Сергеевич поспешно отвел глаза. На другом конце виселицы он увидел Элю Семенову. Щербаков узнал ее крепкие ноги в подростковых туфлях без каблуков. Он внезапно почувствовал тяжесть в затылке, в глазах медленно полетели цветные круги. Это начинался приступ.

Комендант Келлер продолжал объяснять населению свою точку зрения в вопросе о казнях.

В половине пятого Лев Ильич Катасонов еще раз позвонил в комендатуру. В соответствии с данными ему указаниями, писарь, дежуривший у телефона, ответил, что комендант Келлер так и не появлялся, но, как удалось выяснить, просьба доктора запоздала, ее нужно было подать вчера, ибо заложница Семенова уже казнена. Он очень сожалеет, а господин комендант сожалеет еще больше.

...Комендант Келлер говорил и верил в значительность каждого своего слова. Он был высок ростом и выглядел моложе своих лет. Ему давно исполнилось сорок, а на вид было не более двадцати пяти.

Комендант Келлер говорил, а Леонид Сергеевич протискивался ближе к трибуне. Семенов увидел его и

сразу понял, что сейчас произойдет: такое лицо было у Щербакова. Толя видел, как опустилась в карман рука Леонида Сергеевича.

Через мгновение раздался выстрел.

Первым упал Келлер, потом еще кто-то, потом еще.

— Отличный пистолет парабеллум, — шептал Леонид Сергеевич, — отличный пистолет!

А думал он о том, что приступ опрокинет его через несколько секунд.

Две последние пули Щербаков оставил для себя. Так он победил свою болезнь.

Немецкий врач из военного госпиталя, длинный черный человек в роговых очках, присутствовал на стадионе по долгу службы, — во время казни обязательно должен быть врач.

Очкастый первым очутился возле Келлера. Одна пуля пробила коменданту легкое, другая попала в живот и задела позвоночник.

— Немедленно в русскую больницу, только в русскую, — приказал врач, — у нас нет хороших хирургов.

Вообще-то говоря, хирург госпиталя, молодой врач, мог делать несложные, ординарные операции. Но раны Келлера были слишком серьезны, его мог спасти только очень опытный и смелый хирург. Таким был врач, который погиб во время взрыва в клубе промкооперации.

Коменданта Келлера доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии. Капитан Ролоф, как старший по званию, заступил на его место и распорядился, чтобы раненого немедленно отнесли в операционную и положили на стол.

Немецкий врач вбежал в кабинет Льва Ильича, когда тот собирался уходить и, стоя у вешалки, надевал свои сверкающие, чисто вымытые нянечкой галоши. Темно-синее драповое пальто доктора уже было застегнуто на все пуговицы.

— Прострелено левое легкое, явный пневмоторакс, — рассказывал немецкий врач Катасонову, — вторая пуля прошла вблизи белой линии и, по моим предположениям, застряла в позвоночнике.

Десятки лет доктор Катасонов вырабатывал в себе привычку прежде всего думать о больном, и даже не

о больном, а о самой болезни. Когда его будили среди ночи для экстренной операции, одеваясь, или шагая по ночному городу, или едучи на извозчике, он четко представлял себе, какие мышцы, какие фасции ему придется рассечь, какие для этого понадобятся инструменты, какие медикаменты. Он и сейчас не интересовался, кто ранен.

Лев Ильич снял галоши и расстегнул пальто. Он собрался послать нянечку за Натальей Сергеевной и даже подумал, как хорошо, что она не знает еще о смерти Эльвиры. Да, он подумал так, потому что операционная сестра должна работать с полной отдачей.

Капитан Ролоф сказал:

— Командование отблагодарит вас. Майор Келлер имеет огромные связи. Кроме того, он богатый человек.

Льву Ильичу показалось, что он ослышался. Он прижал к уху слуховой аппарат.

— Кто ранен?

— Комендант Келлер и еще двое, — объяснили ему. — Тех отвезли в госпиталь.

Лев Ильич никогда не видел коменданта Келлера и понял, что ни в коем случае не хочет видеть его.

— Комендант Келлер? — переспросил он.

— Да, да... стрелял неизвестный партизан... две пули. Одна пробила легкое...

Лев Ильич не помнил лица Эльвиры, и оно не встало перед ним в эту минуту. Он знал, как наступает смерть при повешении, но и об этом не вспомнил сейчас. Не вспомнил он и о том, как его сегодня дурачили в комендатуре. В отдельности всего этого не существовало. Было что-то другое, что вбирало в себя все.

Лев Ильич застегнул пуговицы пальто.

— Господина майора Келлера, — сказал он по-немецки, — я оперировать не буду.

— Но почему?! — крикнул Ролоф.

В своем длинном пальто старый врач сел на белый больничный табурет и повторил:

— Господина Келлера я оперировать не буду. Оперируйте его сами.

Откуда-то из-за эсэсовских спин появился Сазанский.

— Лев Ильич! — воскликнул он. — Почему вы отказываетесь? Вы такой прекрасный хирург, и вы сами

утверждали, что для вас нет ни красных, ни белых, ни русских или немцев, только больные и страждущие.

Катасонов не удостоил его ответом.

— Но, доктор, — пытался убеждать его Ролоф, — господин Сазанский прав. Там умирает человек, истекает кровью. Ведь есть врачебная этика, клятва Гиппократ!

Услышав про врачебную этику, старик прижал к уху слуховой аппарат.

— Поймите, — вторил Ролофу очкастый врач, — человек умирает. Не комендант, не майор, а просто человек. Неужели вы откажетесь?

Лев Ильич встал с табурета. На лице его было страдание.

— Да, — сказал он, — я нарушаю врачебную этику, поступаю неправильно...

— Наконец-то! — выкрикнул Ролоф.

А Лев Ильич закончил:

— ...но майора Келлера я оперировать не буду.

Ролоф выхватил пистолет.

— А ну, быстро, русская свинья! — крикнул он старику. — Если ты сейчас же не пойдешь в операционную, я пристрелю тебя, как взбесившуюся собаку!

— Делайте что хотите, — сказал Катасонов и спрятал в карман слуховой аппарат. Он направился к вешалке и снова стал надевать галоши.

— Взять! — скомандовал капитан Ролоф. — Завтра повесим его на стадионе. Будет шестьдесят третьим!

Трудно сказать, сумел бы доктор Катасонов спасти жизнь коменданта Келлера или нет. Три молодых армейских врача провозились с ним до поздней ночи. Комендант умер, ни на минуту не придя в сознание.

Виталька Сазанский не отпустил своих полицейских по домам. Они сидели в дежурке и ждали указаний. Под утро Александра Павловича осенило.

— Господин Сазанский... — начал он.

— Я вам не господин Сазанский, а господин начальник полиции, — поправил тот Козлов.

— Господин начальник полиции! — снова начал Козлов. — А ведь я знаю, почему доктор отказался оперировать Келлера.

— Ну?

— Потому что его любимая операционная сестра — мать одной из казненных. Это соседка моя — Наталья Сергеевна Семенова. Мы в одном дворе живем.

— Что ж ты, кретин, молчал?!

— Только что догадался.

Сазанский одернул на себе мундир и поднялся в комендатуру. Вскоре за Натальей Сергеевной ушла машина.

Семенов спал тяжелым сном. Когда его разбудили, в глазах был туман и мысли путались.

Он увидел фашистов в мокрых блестящих плащах, покорно одевающуюся мать и странную белесоватость за окнами. Что происходит, он не понимал.

Семенов окончательно проснулся и все понял лишь тогда, когда хлопнула наружная дверь, отъехала машина и на полу он увидел много мокрых следов, грязь и черные лужицы воды.

Он бросился к окну. Дождь переходил в снег.

«ЭХ, ЮШЕЧКА С СЕЛЬДЕРЮШЕЧКОЙ...»

Дни шли за днями, приближалась зима. Жить становилось все страшнее. Каждый день люди ждали, что будет объявлено о казни следующей группы заложников, но репродукторы пока молчали. Между тем в Берлине в главном управлении имперской безопасности СД было решено уничтожить заключенных концлагерей более скрытно, чтобы это не бросалось в глаза, что их будут уничтожать в уединенных местах, подальше от населенных пунктов.

Были и другие слухи. Говорили, например, что всех заложников гравийного карьера отправят в Германию для работы на подземных заводах.

Семенову об этом рассказывал дед Серафим. Они остались вдвоем в райтоповском дворе, потому что Александр Павлович Козлов с женой переехал в большую квартиру доктора Катасонова на Воскресенской (бывшей Советской) улице.

Дед Серафим предложил Семенову объединиться: вдвоем полегче. Тетя Даша успела запастись картошки, у Семеновых оставалась крупа. Поначалу готовкой занялся дед, но это дело, как и всякое другое, у него не

получалось. Стряпухой стал Семенов. Чаще всего они варили картошку, потому что если варить ее очищенной, то получается сразу и первое и второе. На первое — бульон с нежным, как иней, пушистым осадком, на второе — круглая картошка, которую можно есть с солью и репчатым луком. И первое, и второе хорошо приправить постным маслом, однако его в бутылке оставалось граммов триста, и Семенов на всякий случай спрятал ее для матери. Так они каждый день и обедали.

Семенов помнил, что когда-то давно мама заправляла такую воду из-под картошки укропом. Веселое это было время! Картошка варилась на примусе, а вокруг него мать устраивала хоровод. Семенов крепко держался за мамин подол, он приплясывал и подпевал за мамой: «Эх, юшечка с сельдерюшечкой, поцелуй меня, кума, кума-душечка!» Эля с ними не танцевала, стеснялась, наверно.

Дед Серафим часто прерывал его щемящие воспоминания разговорами о еде. Он фантазировал на тему — где чего можно было бы достать и как бы это было хорошо. Иногда дед предавался воспоминаниям.

— В нэповское время, — говорил он, — чем только у нас на станции не торговали, особенно к московскому поезду. Мясо жареное выносили во какими кусками! А куры! Корочка твердая, а под ней жир, словно пух — белый и мягкий. А неваляй пробовал? Снаружи курятина, а снутри — кусок масла сливочного. Каклета жареная, а масло в ей тугое, куском лежит, на языке только и плавится... Ты небось и солянку не ел никогда? По глазам вижу, что не ел. Делается солянка так. Что в ресторане остается на тарелках, все кидают в котел, потом добавляют туда перцу, лимон, маслин и еще чевой-то. Хоть и знаешь, что объедки, а вкусно! Колбасные кусочки попадают, сосиски... Это около рынка в трактире. Мы при нэпе туда ходили с Дарьей...

Тут дед умолкал на полуслове. Когда он вспоминал о жене, лицо его кривилось и говорить он больше не мог.

Однажды дед пришел домой в сильном возбуждении.

— С бабами-почтальоншами про Дарью говорили. Сведения имеются, что из карьера всех в Германию угоняют. Сегодня, понял? На станции, говорят, состав стоит. Вагоны-теплушки под людей оборудованы, с решетками. Скот с решетками не возят... Сходим вечером, — предложил он, — запрячемся где, может, увидим: ты свою, а я свою.

Привокзальную площадь снег покрывал тонко, как простыня. Все, что было под снегом — крупный булыжник мостовой, пучки травы вдоль дорожного бордюра, перья замерзших цветов на клумбах возле ресторана, — угадывалось без ошибок. Снег лежал тонким слоем, чистый, но вовсе не голубой, как под Новый год, а какой-то бледный, потому, наверно, что сквозь него проступала стынущая земля.

И большая луна не заставила сверкать этот снег, похожий на влажную простыню. Люди топтались по этому снегу, и он не скрипел у них под ногами.

Впрочем, если бы он сверкал и скрипел, люди на привокзальной площади не замечали бы этого. Здесь без всякого уговора между собой собрались родственники заложников гравийного карьера, в большинстве женщины. Они принесли с собой узлы теплых вещей и еду в надежде передать это своим, тем, кого угоняют на чужбину.

Люди на привокзальной площади разбивались на группки, они стояли в подворотнях домов, и у палисадников с голыми прутьями кустов, и в скверике под черными ветвями лип. Дед Серафим ходил от группки к группке, со всеми заговаривал, подбадривал, подмигивал, суетился. Передачу для Натальи Сергеевны и тети Даши они соорудили общую, в одном узле, который дед Серафим время от времени оглядывал и перекладывал из руки в руку.

Семенов не участвовал в разговорах взрослых, он ходил вслед за дедом или стоял чуть в стороне.

По слухам, заложников должны были провести в шесть часов вечера, однако шел уже десятый, близился комендантский час, а этап все не появлялся. Каждый знал, что после комендантского часа пребывание на улице без специального пропуска карается смертью, но никто не хотел уходить отсюда. Пока не прогонят, постоим, думали несчастные, а прогонят с улицы, во

дворах спрячемся. Неужто не проводим близких своих, неужто не простимся?

Большие сомнения в толпе посеяла высокая худая женщина интеллигентного вида. Она сказала:

— В прошлый раз, в сентябре, этап военнопленных вели через товарную станцию. Их вечером загнали в разрушенное депо, а утром погрузили в теплушки. Может, и наших через товарную поведут?

— Это верно, — подтвердил кто-то. — Тогда все. Тогда зря мы стоим.

Люди все обсуждали это, когда на привокзальной площади появилась бывшая райисполкомовская «эмка». Наполнив воздух отвратительным сладковатым запахом эрзац-бензина, она подъехала к бывшему железнодорожному ресторану, где теперь помещалось кабаре для господ офицеров германской армии. Над подъездом ресторана желто светилась единственная на всю площадь лампочка, но большая луна, хотя и собиралась зайти за тучу, ярко освещала все вокруг.

Высокий, крепкий человек в длинном кожаном пальто с повязкой полицая на рукаве выскочил из правой передней дверцы и ловко распахнул заднюю.

На широкие гранитные ступени шагнул крохотный человек в фуражке с высокой тульей, в сапожках тридцать третьего размера и с плетью в руке.

В подворотне, где стояли дед и Семенов, кто-то сказал:

— «Спорт и фото».

Так продолжали называть Витальку Сазанского, когда он стал бургомистром, так теперь называли его на должности начальника полиции, так жорой называли и саму полицию.

«Спорт и фото» вошел в широкую с медными ручками дверь кабаре, а сопровождавший его человек в кожаном пальто стал прохаживаться возле машины.

— Никак, Александр Павлович, — сказал дед, приложив руку козырьком, будто свет луны слепил его. — Точно. Он.

Александр Павлович ходил важно, лениво, и длинное кожаное пальто на нем то благородно-тускло блестя платиновым светом луны, то желтело золотым светом кабаре.

— Была не была, — сказал дед и пошел через площадь.

Его хотели остеречь, кто-то крикнул, чтобы он вернулся, но дед бросил через плечо:

— Это сосед мой, понятно? Сколько лет вместе жили.

Никто не слышал, о чем дед говорил с Козловым, но все видели: человек в длинном кожаном пальто довольно долго и терпеливо толкует старику что-то и пока вроде бы не сердится. Издали дед Серафим походил на ежа, вставшего на задние лапы. Разговор кончился неожиданно: старик, похожий на ежа, протянул полицая руку и тот в ответ протянул ему свою, не погнушался.

Обратный путь дед Серафим совершил под нетерпеливыми взглядами людей, удивлявшихся всему виденному и завидовавших такой смелости.

— Айда, — сказал дед Семенову. — Не будет этапа. Он говорит, что им из этой ямы пока никуда не выйти. Александр Палыч врать не будет. Чего ему мне-то врать: я для него не фигура. Эй, бабы! — крикнул дед Серафим на всю площадь. — Айдайте отсюда, не будет этапа! Мне заместитель «Спорт и фото» знакомый, он точно сказал.

Дед решительно зашагал домой, и Семенов двинулся следом.

— Козлов врать не будет, — уверенно рассуждал дед. — Он говорит: «Не топчись, дед, без толку. Есть у тебя шанс старуху повидать: кого после комендантского часа на площади словят, того в карьер. Вот там и свидитесь». Не врет, значит. — Дед шел быстро и говорил громко: — «Заметём, говорит, всех, кто по-за углам прячется, — и в яму, в карьер». Что ни говори, а он нам сосед сколько лет. Зря дура моя с ними цапалась. Кабы знать, дружить надо было — помыть полы, постирать бесплатно, не убыло бы от нас. Он ведь задолго до войны с Гитлером связался, может, специально даже подослан был и работал себе тихонько по снабжению. Такие люди всегда по снабжению. Помнишь, как он радио слушал немецкое? Не зря это.

Семенов мог возразить, что Козлов тогда не выбро-

сил бы приемник с приходом оккупантов, но мысли его были заняты другим.

— Глупые мы, Семенов,— говорил дед.— А думаем, что умней всех. Козловы вон когда все знали, а хитрили, под русских маскировались, книжки красные читали, сам в гимнастерке под ремнем ходил... Я ему сейчас спасибо сказал и руку его поганую пожал, да поздно уж.

— Я вернусь, дед. Как хочешь, а я вернусь,— сказал Семенов, когда они подходили к дому.— Меня не поймают, я мелкий.

Он не дал деду времени для ответа и побежал назад.

На этот раз он решил проникнуть на станцию кружным путем. Он снова обогнул вокзал, юркнул под сгоревшие летом товарные вагоны и по-пластунски прополз метров триста.

Все шло хорошо, его никто не заметил, хотя на станции было довольнолюдно, у выходных стрелок маячили автомашины, маневровый паровозик без видимого смысла толкал куда-то теплушки, по перрону ходили какие-то люди.

Семенов испугался, когда вдруг увидел, что находится очень близко от водокачки. Он замер, внимательно вглядываясь в два темных окна. На водокачке никого не было. Немцы сами разрушили ее во время одного из первых налетов на станцию Колыч, а теперь сами и восстанавливали. Семенов заметил новую, еще не крашенную дверь, подполз ближе, встал и взялся за блестящую ручку. Дверь сильно заскрипела, и Семенов юркнул внутрь.

Привыкнув к темноте, он увидел сварочный аппарат, обрезки металлических труб, свежеструганные доски и много стружек на полу. По новенькой светлой лестнице он поднялся на один марш и выглянул в окно. Станция была как на ладони.

Ему повезло. Немцы со дня на день собирались пустить водокачку, и тогда на ней наверняка стоял бы пост охраны. Пока же для заправки паровозов водой фашисты использовали пожарную машину с помпой. Машина эта так и стояла на перроне.

«Передача-то вся у деда осталась,— вспомнил мальчик.— И продукты и вещи».

Не было надежды, что он сможет еще раз так же удачно пройти через весь город в оба конца. А если за это время и уйдет этап?

Возле окна плотники сбили из двух досок узенький верстачок. Семенов прилег на нем, положил шапку под голову, смотрел в ночь и ждал, когда появится колонна заложников. У него не было часов, он не знал, сколько времени прошло после десяти вечера, но жизнь на станции постепенно замирала. С грохотом прошел в сторону фронта длинный товарняк, и снова все утихло. Похоже, что Козлов не обманул деда.

Проснулся Семенов от криков на немецком языке и от лая собак. Он сразу сообразил, где находится, вспомнил все и увидел, что из ворот разрушенного депо в шеренгу по пять человек выходят люди.

Нет, Александр Павлович Козлов и в самом деле не обманул. Это были не заложники, а пленные, новая группа пленных, которых доставляли по узкоколейке со старых заброшенных торфоразработок. В городе знали, что там находится большой лагерь военно-пленных.

Было раннее утро, вернее, раннее зимнее утро с серым холодным светом, который, падая с холодного темного неба, отражался в грязном снегу и становился еще более серым и холодным.

Состав теплушек стоял близко от водокачки, пленных вели сюда, и Семенов видел их жесткие, грязные шинели, землистые лица и ноги, обмотанные ватным тряпьем. Конвоиры торопили пленных, собаки лаяли, паровоз пыхтел.

Конвоиры считали пленных по шеренгам, в каждой шеренге по пять человек. Десять пятерок отделяли от общей колонны и ставили перед теплушкой с широко распахнутой дверью. Всего таких теплушек Семенов насчитал двадцать три.

В ожидании погрузки пленным почему-то не разрешили стоять или сесть на землю — их поставили на колени, но так, чтобы ни в коем случае не нарушали стройности рядов. Часть конвоиров с собаками на поводках нырнули под вагоны и создали заслон позади состава, другие конвоиры с молоденьким офицером во главе проверяли прочность вагонов. Тяжелыми деревянными молотками на длинных рукоятках они

обстукивали стены и полы теплушек, боялись — не подпилены ли доски. Наконец проверка вагонов кончилась, молодой офицерик доложил об этом по-жилому, и тот по-русски дал команду:

— Встать!

И тут оказалось, что подняться с колен после такого долгого стояния совсем не просто. Люди вначале становились на четвереньки, а распрямившись, стояли нетвердо, растирали колени руками. Особенно долго копошился один несчастный в последней шеренге у второй теплушки. Вид его был очень нелеп: полы шинели обрезаны много выше колен, на голове — грязная пилотка, вывернутая на уши. Товарищи помогли ему встать с земли, но он тут же повалился опять. Конвоир, стоявший возле водокачки, громко засмеялся; человек в вывернутой пилотке оглянувшись на фашиста, и Семенов сразу узнал это птичье, почти черное лицо. Он узнал это лицо той острой детской памятью, которая всегда так удивляла и даже пугала его мать.

У Семенова сжалось сердце. Не за этим он шел сюда, не этого ждал и хотел.

— Шнель! Шнель! — торопили конвоиры пленных. Погрузка началась.

Вячеслав Борисович Баклашкин в толпе других пленных пытался взобраться на высокий пол товарного вагона. Люди подсаживали друг друга; те, что взобрались, протягивали руки, чтобы помочь остальным.

— Шнель! Шнель! — торопили конвоиры и делали вид, что вот-вот спустят своих свирепо лающих овчарок.

— Папа! — сквозь стекло крикнул Семенов и, поняв, что отец не услышит его, толкнул раму окна и еще раз крикнул в промозглый утренний шум: — Па-па!

Кто-то из пленных обернулся на крик, но отец не слышал его. Он пытался влезть в теплушку, но едва мог оторвать от земли слабые ноги.

— Папа! — еще раз изо всех сил крикнул Семенов.

Теперь многие слышали этот крик, многие стали смотреть по сторонам, но только Баклашкин не слы-

шал сына. Не ждал он, что кто-нибудь назовет его так.

Сердце Семенова разрывалось от жалости к отцу — не только к этому, несчастному, слабому и беспомощному, но и к тому далекому, который стыдился сына и убегал от него по праздничной, майской улице в белых парусиновых полуботинках.

— Баклаш-кин! — не уставал звать отца Семенов. — Баклаш-кин!

Отец забрался в вагон и тревожно закрутил головой, не понимая, кто может звать его здесь таким голосом.

Семенов по пояс высунулся из окна.

— Я здесь, папа!

Теперь Баклашкин увидел его.

— Сын! — крикнул он. — Сыночек!

Однако Семенов не слышал этих слов, а лишь угадал их не по губам даже, а по выражению лица. Шумно шла эта погрузка: свирепо лаяли овчарки, орали конвоиры, с грохотом начали задвигать двери дальних теплушек. Если бы у мальчика была с собой краюшка хлеба или вареная картофелина, он побежал бы к вагону, чтобы все отдать отцу, но у него не было ничего, и он крикнул еще:

— Мы победим, папа! Победим!

Он понимал, что видит отца в последний раз, и все простил ему.

Прогрохотала в железных пазах дверь последней теплушки, разнеслась вдоль вагонов последняя длинная команда на немецком языке, без гудка рванул паровоз, и через минуту или две стало тихо и пусто. Конвоиры сняли общее оцепление, ушел патруль, стоявший ночью у выходных стрелок станции Колыч.

В последующие недели горожане часто говорили о ночных этапах военнопленных и еще о том, что всех больных и слабых в лесном лагере на бывших торфоразработках фашисты расстреливают.

Годом позже, когда сын забыл свое настоящее имя и фамилию, его отец, Вячеслав Баклашкин, умирая от цинги в концлагере Захсенхаузен, вспоминал промозглое утро на станции Колыч, серый снег на путях,

свирепый лай собак и сквозь все это незнакомый детский голос: «Папа!»

Ему казалось, что на самом деле этого не было, что он это придумал сам себе в утешение.

В НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ

Над гравийным карьером дул ветер. Он нес тяжелый снег, и полицаи из охраны радовались, что на ночь их заменили пулеметчиками из регулярной фашистской части. Пулеметчики завидовали полицаям, которые могут до утра уйти в барак. Они завидовали даже и тем, кто там внизу. Внизу люди голыми руками выскребали себе ниши, где можно укрыться от непогоды, наверху же была только колючая проволока и ветер.

Дул ветер, летел мокрый снег. Казалось, будто огромная яма с людьми на дне одна на всем свете, и нет в мире ничего, кроме нее да редкой березовой рощи, да еще стадиона «Буревестник» с длинной виселицей, которая теперь пуста и ждет новых жертв.

Беленный известкой конторский барак поодаль от карьера виделся в снежной мгле как призрак. Его грязно-белые стены и толевая крыша расплывались в метели. Окна в бараке были плотно занавешены.

Возможно, что никто из полицаяев не вспомнил бы, что завтра 7 ноября. Но неожиданно прикатил Сазанский с Козловым. Машину свою начальник полиции отослал обратно, сказав, что заночует здесь.

— Эта ночь особая, — сказал Сазанский полицаям. — В эту ночь я призываю вас всех к особой бдительности, ибо возможны провокационные вылазки советских диверсантов, партизан и отдельных фанатиков. Долг мой быть с вами, друзья, на самом опасном участке. На этот счет я располагаю важными агентурными данными.

Мягко говоря, начальник полиции искажал факты. Агентурные данные носили противоположный характер. Комендант Ролоф, например, больше боялся за внутригородские объекты, за охрану железнодорожной станции, мостов, казарм, самой комендатуры, гестапо, телеграфно-телефонного узла и т. д. Сводки сообщали, что партизаны именно так и делают, что

этого в советский праздник следует опасаться больше всего. Сводки информировали и о том, что партизаны во время налетов на населенные пункты казнят предателей прямо у них же дома, в их теплых постелях. Вот почему Сазанский не хотел проводить эту ночь ни в собственной квартире, ни в комендатуре. Он про себя называл это предчувствием, но никому про него не говорил.

В бараке ему казалось надежнее в эту ночь: над карьером несколько пулеметных гнезд и, если партизаны захотят освободить заложников, то прежде напорются на них. Во всяком случае, сегодня предчувствие толкало Сазанского именно сюда, где прежде он бывал не часто и где теперь всю ночь мог быть не один. Он принял решение, когда в дополнение ко всем слухам и сводкам собственными глазами увидел на пыльной витрине закрытого теперь магазинчика «Спорт и фото» коротенькую листовку, написанную под копирку. Неприятно было, что подпись под ней стояла прежняя: «Погребальная контора «Милости просим», а текст содержал призыв и намек: «Смерть немецким оккупантам и предателям! Да здравствует 7 Ноября!»

Указание на конкретный день, 7 Ноября, показало Сазанскому даже не просто намеком, а конкретной угрозой. И не следует забывать, где партизаны приклеили свою листовку. Сазанский ни в коей мере не был фаталистом, он считал, что береженого бог бережет.

Конечно, барак не крепость, но ничего лучшего начальник полиции не смог придумать. Еще Сазанский знал, что не следует говорить полицаям, что он считает их барак более безопасным местом. Он знал, что этих здоровенных мужиков, каждый из которых мог прибить Витальку к земле ударом открытой ладони, надо держать в вечном страхе. Страх был главным их чувством и главной движущей силой. Из восьми полицаяв, бывших здесь, семь начали свой путь к фашистам с обычного дезертирства. Струсив однажды, они прятались от своих, а оказавшись на оккупированной территории, из страха перед немцами пошли на страшную службу в полицию. Ведь и своего теперешнего заместителя — А. П. Козлова — Виталька

запугал. Если бы не страх перед Виталькой из «Спорт и фото», пошел бы Александр Павлович опять по линии заготовки дров и не было бы в городе такого исполнительного и представительного полицая, не было бы у начальника полиции такого верного холоуя. Из восьми полицаяев в том бараке Юрка Гордеев пошел в услужение к фашистам по влечению сердца. В этом могучий, ясноглазый бандит был сродни своему щедрому начальнику. Ему нравились фашистские порядки потому, что он легко мог себе представить, как нужны его безжалостные кулаки новому начальству. Он хотел найти одного-единственного хозяина и нашел его в коменданте Келлере, и потом в коменданте Ролофе. Юрка досадовал только на то, что между ним и комендантом стоит Сазанский. Он надеялся, однако, что это временно.

Свое пребывание в бараке в ночь на 7 Ноября начальник полиции начал с речи о бдительности, потом проверил личное оружие полицаяев и сделал выговор Гордееву за то, что автомат у него давно не чищен. Умело сочетая политику кнута и пряника, Сазанский сообщил, что в зимний период полицаям выдадут теплую форму и увеличат продовольственный паек. Потом он взял у Козлова из рук кожаный докторский саквояж и торжественно достал оттуда две бутылки французского виноградного вина.

— Сейчас мы разопьем это все вместе, — потирая крохотные ручки, сказал он. — За верную, так сказать, службу, за вечную, друзья мои, дружбу!

Сазанский не увидел радости в лицах своих подчиненных. Сам он был человеком непьющим и не понимал, сколь оскорбительно предлагать по сто граммов кисленького французского вина каждому из этих дюжих, промерзших и к тому же трясущихся от страха мужиков.

Однако вино было разлито по алюминиевым кружкам, и Сазанский, стоя, повторил свой простой и, как он полагал, очень прочувствованный тост:

— Поднимем бокалы, друзья мои! За нашу трудную службу, за верную дружбу и за нашего фюрера Адольфа Гитлера, ура!

Полицаяи сказали «ура» и безразлично выплеснули иностранную кислятину в свои большие прокуренные

рты. В это время за спиной у Сазанского с грохотом упала доска. Он выхватил пистолет, но не успел выстрелить. Из-за щелястой, сделанной из горбылей перегородки появился приземистый человек с отечным лицом и слезящимися глазами. На голове у него был вылинявший буденовский шлем с опущенными отворотами.

— Это наш дневальный, — поспешил объяснить Сазанскому кто-то из полицаев.

— Мобилизовали, чтоб шестерил, — добавил Юрка Гордеев. — Глухой он.

Сазанский и сам узнал глухого. Этот больной одинокий человек и до войны был сторожем и истопником в конторе. Зимой и летом он ходил в буденовском шлеме, застегнутом под подбородком.

Испуг, вызванный появлением дневального, испортил впечатление от первого тоста. Сазанский сделал знак, и Александр Павлович достал из докторского саквояжа еще одну бутылку.

— Господин начальник, — сказал Гордеев, видя, что Сазанский и сам колеблется, разливать ли вино по кружкам, — у нас на это вино и закуски нет. Разрешите, я в город слетаю.

— За закуской? — спросил Сазанский.

Кто-то из полицаев не удержал злого смешка, но Гордеев невозмутимо подтвердил:

— За закуской и за прочим! — Глаза его лучились радостным желанием всем сделать приятное.

— Самогону принеси, — вдруг понял свой тяжкий промах Сазанский. — Самогону, истинно русского черного хлеба, огуречиков соленых, грибочков...

— И чего-нибудь мясного, — не удержался Козлов. — Сала, например.

Как все люди, Семенов любил праздники. Но он издавна любил, чтобы в праздники была плохая погода, чтобы было холодно, чтобы дождь был или снег. Тогда никуда им не нужно было идти и никто не приходил в гости. Обычно они сидели втроем — мать, Эльвира и он, — чаще всего на кухне у плиты. Грелись, ели что-нибудь вкусное, пили чай с вареньем. Кухня у них была просторная, светлая, и с бабушкиных времен

на двух подоконниках стояли цветы: герань, столетник и ванька-мокрый. Горшочки были обливные, а на них — бумажные кружева.

Сегодня, в канун двадцать четвертой годовщины Октября, за окном была непогода, холод и снег. Топилась плита, но не было возле нее матери и Эльвиры, Семенов сидел вдвоем с дедом Серафимом.

— Кормют их, кормют! — утешал Семенова дед. — Люди же знают. Жмых им дают. Лошадь дохлую недавно сволокли. Если б не кормили, они бы давно померли. Человек без пищи сдохнет — чай, не верблюд. — Дед успокаивал Семенова как мог. — А ты и не знаешь, тама ли она. Может, она не в карьере. Говорят ведь, что ее в гестапе держат, в подвале, в комендатуре ихней. Тама, говорят, важные люди сидят, не моей дурехе чета. Им каждый день суп дают. С вермишелью. И твоя тама не пропадет заодно. Им, говорят, хлеб дают пеклеванный.

Дед совсем плохо переносил голод и потому все время говорил о еде. Едва коснувшись этой темы, он мог развивать ее бесконечно. Дед худел, сморщивался и старел. Глаза у него были, как у больного ребенка, беспомощные и жалобные. Семенов старался не смотреть на деда, чтобы самому не раскиснуть. Теперь, живя с ним вместе, он понял, почему тетя Даша терпела лентяйство своего мужа и его болтовню, почему была и строга с ним, и баловала его. Он был ей вместо ребенка.

Дед подремывал, сидя у остывающей плиты. Временами он начинал сопеть и посвистывал носом, потом на минуту просыпался, говорил две-три фразы и скоро вновь засыпал. Так бывало каждый вечер, так было и сегодня, в канун годовщины Октября.

Когда дед в очередной раз проснулся, Семенов взял его под руку и отвел в комнату. Спал дед на Эльвириной кушетке.

Семенов взял с этажерки книгу «Принц и нищий», погасил свет и вернулся на кухню. Семенов еще не читал «Принца и нищего», но слышал от других, что это очень интересная книжка. Он открыл ее на первой странице и прочел слова, написанные наискось под заглавием густыми фиолетовыми чернилами: «Т. Семенову, которому я абсолютно доверяю! Л. С. Щербаков».

Семенов понимал, что Леонид Сергеевич не кривил душой, когда писал это. Они ведь и в том разговоре поняли друг друга. И речь к тому же шла о личном доверии бывшего чапаевца к ученику пятого класса, а не о том, имеет ли право командир партизанского отряда разглашать тайны военного значения. И вспомнилось Семенову, что говорил ему Щербаков о любви детей к своим родителям, о том, как это важно и что представить страшно будущее страны, где дети перестали бы любить родителей. Леонид Сергеевич говорил, что такая страна погибнет, да и кому нужна такая страна.

Книга, подаренная Леонидом Сергеевичем, судя по всему, была интересная. Семенов принялся читать про то, как в один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в семье Тюдоров родился другой мальчик, который стал наследником престола. Одного мальчика звали Том, другого — Эдуард.

Семенов отложил книгу и задумался. Посидев немного с книгой на коленях, он встал, растопил плиту, взял с полки большую зеленую эмалированную кастрюлю, накидал в нее самой лучшей, отборной картошки, залил водой и поставил на огонь.

«Пусть будет в мундире. Тоже неплохо. В такой день можно, — думал он почти вслух. — Если уж не сегодня...»

Он нашел спрятанную от деда початую бутылку мутного постного масла, сунул ее в один карман брюк. В другой карман положил несколько мелких луковок. Потом он завернул в газетку соли и тоже положил в карман.

Картошка сварилась. Семенов слил воду, завернул кастрюлю в старый, оставшийся от бабушки клетчатый шерстяной платок и завязал его углы наверху, чтобы удобно было нести.

Семенов оделся тепло, хорошо застегнулся на все пуговицы своего бобрикового пальто, из которого сильно вырос, погасил свет в кухне и вышел во двор.

Темень, ветер и мокрый снег обрадовали его. Он спустился с крыльца, но, вспомнив, что ночью дед проснется и встревожится, вернулся домой, зажег на кухне свет и написал деду записку.

Семенов шел быстро. Настроение у него было отличное, потому что он решился и решение это казалось правильным. Никто и не заподозрит, что в такую ночь кто-то решится проникнуть в карьер. А он проберется, проползет со стороны стадиона и спрыгнет, даже не спрыгнет, а скатится со склона. Не все же стены там отвесные. Он представлял себе, как они втроем — мама, тетя Даша и он — будут сидеть кружочком и есть картошку, макая ее в постное масло с мелко крошеным луком. «Нож забыл, — подумал Семенов, но успокоил себя: — У них есть, наверное».

Иногда по улицам проезжали фашистские патрульные машины, Семенов нырял тогда в подворотни, прятался за палисадники. Никто не замечал его, потому что снег шел все сильнее, хлопья были крупные и свет автомобильных фар, отражаясь от них, слепил тех, кто сидел в машине.

«Картошка еще не остынет, — думал Семенов. — Она долго тепло держит. И платок бабушкин теплый». Ему тоже было тепло, он расстегнул верхнюю пуговицу своего пальто, больше похожего теперь на куртку, и зашагал еще быстрее. Дальше был стадион, и миновать его Семенову хотелось стороной. Однако крюк тоже делать не стоило — потеря времени. Да и снег стал идти потише.

Семенов старался не смотреть на виселицу и всего один раз невольно оглянулся туда. На поле чуть брезжил свет, и Семенову почудилась человеческая тень под виселицей. Будто сидит человек неподвижно, голова запрокинута вверх, к перекладине, будто он внимательно на нее смотрит.

Перед гравийным карьером был кочковатый пустырь, поросший высокими, матерыми сорняками. Семенов пригибался все ниже к земле, а в конце концов пополз, толкая впереди себя кастрюлю с картошкой. Ползти было трудно, он спешил, сердце колотилось, в ушах звенело. Вдруг Семенов почувствовал кого-то совсем рядом с собой и обернулся.

В двух шагах позади него стоял коренастый человек с повязкой полиции на левом рукаве.

...В бараке маялись. Обещание выпивки настроило полицейских на определенный лад, а Гордеева все не было.

Пробовали рассказывать анекдоты — ничего смешного, новенького на ум не приходило. Сели играть в домино — игра не клеилась, не было никакого азарта. Думалось больше про то, что Сазанский с Козловым незря прикатили и неизвестно, чем кончится эта проклятая мокрая ночь.

Сазанский лежал на канцелярском столе, под головой у него была чья-то шинель, в руках какая-то брошюрка в серой обложке. Возле каждого полиция лежала такая же брошюрка о новом порядке, который Гитлер хотел установить в мире, но читал один Сазанский. Впрочем, может быть, и он не читал, а только делал вид.

— Может, споем? — косясь на Сазанского, предложил полицаям Козлов.

— А про кого?

— Это уж вы сами решайте, — сказал Козлов. — Можно «Степь да степь», можно «Калинку», можно «Ты ж мэнэ пидманула...»

— Тверезые только артисты поют да еще пионеры, — сердито сказал кто-то. — Нашел тоже хор Пятницкого...

Очень уж им хотелось напиться в эту ночь, напиться и ни о чем не думать.

Все обрадовались, когда хлопнула дверь тамбура, а потом растворилась и обитая дерматином дверь барака.

Однако первым вошел не Гордеев, а мальчуган в бобриковом пальтишке. В одной руке мальчик нес мокрый клетчатый узел, в другой — новенький голубенький патефон.

Сазанский удивленно сел на столе, но брошюру из рук не выпустил.

— Разрешите доложить, господин начальник полиции. На подступах к карьере был обнаружен и выслежен мной большевистский лазутчик. Схвачен на месте преступления. — Гордеев самую капельку кривлялся, докладывая по всей форме, но ему и в самом деле хотелось быть отмеченным. Кроме того, он слегка выпил.

Его-то и видел Семенов сквозь снежную пелену на пустом стадионе. Там Гордеев сделал небольшую остановку, съел здоровенный кусок колбасы и сильно от-

пил из бутылки с самогоном. Гордеев знал, что если все будут есть и пить поровну, то ему может не хватить. У него аппетит был лучше, и пьянел он не так скоро.

— За бдительность мне бы стаканчик с холоду, — добавил Юрка, увидев, как много в бараке народу.

— Посмотрим, — сухо сказал Сазанский, ему не нравился развязный тон Гордеева. — Что это у него в руках?

— Патефон! — сказал Гордеев. — Это я заставил его нести. Прихватил, понимаете, патефон на случай веселья. В одной руке у меня сумка хозяйственная, в другой патефон — обе заняты. А когда я поймал его, то пришлось себе одну руку для оружия освободить. Вдруг бежать. вздумает!

— Обыщите арестованного, господин Козлов, — приказал Сазанский.

Александр Павлович сразу узнал Семенова, понял, что тот пытался пробраться к карьере, чтобы передать матери поест. И гитлеровские солдаты и полиция часто ловили возле карьера родственников заложников. Люди пытались узнать что-либо о своих, увидеть, передать передачу. Некоторых прогоняли, других арестовывали, третьих просто расстреливали на месте.

«Дурак, — подумал про Семенова Александр Павлович. — Матери его здесь и нет, а он прется. До чего глупы люди!»

Козлов сразу узнал Семенова, но на всякий случай сделал вид, что случилось это только тогда, когда он подошел совсем близко к мальчику и снял с него ушанку.

— Ба! Кого вижу?! Неужто сосед мой? Здравствуй, Семенов! Ну и настырный ты, однако! Прямо как по пословице — яблоко от яблони недалеко падает.

Полицаев Семенов интересовал мало. Они внимательно следили за тем, как Юрка Гордеев достает из здоровенной хозяйственной сумки две бутылки самогона, кусок сала размером с лопату, литровую стеклянную банку соленых огурцов, половину большого круга копченой колбасы и молочного поросенка с огнестрельной дыркой в голове.

Козлов развязал хорошо ему знакомый платок Семеновых и поднял крышку.

— Картошка в мундирах, — сказал он.

— Небось остыла, — огорчился кто-то.

— Вроде теплая, — ответил Козлов.

— Подогреть можно, — сказал кто-то еще.

Из одного кармана у Семенова Александр Павлович извлек бутылку постного масла, из другого — лукавки.

Масло никого не заинтересовало, его поставили на подоконник, зато лук вызвал общее оживление.

— Лук — это хорошо! Сало, лучок, огурчики — лучшая закуска.

Козлов похлопал Семенова по карманам, еще раз внимательно оглядел и доложил своему начальнику:

— Ничего опасного у арестованного не обнаружено. Я его лично хорошо знаю. Он из опасной семьи. Сестра его Эльвира повешена как заложница, а мать у доктора Катасонова работала. Та самая.

— Понятно, — сказал Сазанский. — Я так и понял все, когда услышал, что это ваш бывший сосед.

Козлов отвел Семенова за перегородку. Окна там не было, а выход только один — в самый барак. Сквозь широкие щели между горбылями в кладовку проникал свет, и Семенов увидел на нарах какого-то недвижимого человека в буденовке.

Семенов сел у него в ногах и стал смотреть в щель между горбылями. У полицаев царило оживление, один резал колбасу, другой — хлеб, третий раскладывал перед каждой кружкой по три картофелины из зеленой кастрюли Семеновых. Гордеев сидел спиной ко всем над круглым цинковым тазиком и разделял поросенка.

Александр Павлович очистил одну картофелину и протянул ее Сазанскому. Тот безразлично оттолкнул руку Козлова и спросил:

— А соль у вас есть?

— Гордеев, — спросил Александр Павлович в свою очередь, — соль принес?

— Забыл! — бодро ответил тот. — Хрен ее знает, как забыл. Сало зато соленое есть и огурчики.

Семенов вспомнил, что соль, отсыпанная в газетный кулечек, до сих пор у него в кармане. Козлов почему-то не обратил на это внимания. «Хорошо хоть,

что у них соли нет, — подумал Семенов. — Пусть без соли картошку едят».

Однако полицаи сильно не печалились. Они уже выпили по одной, по первой, «по маленькой», весело переговариваясь, острили.

Юрка Гордеев вдруг поднял голову от тазика и крикнул во всю глотку:

— Глухой!

Человек, дотоле неподвижно лежащий на нарах, слегка шевельнулся.

— Глухой! — опять крикнул Гордеев.

Человек в буденовке приподнял голову и подобрал под себя ноги в подшитых валенках.

— Глухой! — Голос Гордеева звучал все более требовательно.

Человек в буденовке встал с нар и двинулся на зов.

«Наверное, это его кличка, — понял Семенов. — Может, он тоже арестованный?» Семенов опять прильнул к щели.

— Глухой! — еще раз позвал Гордеев.

Полицаи смотрели на своего дневального с интересом и чего-то ждали. Тот подошел ближе и тихо спросил:

— Чего надо?

— Не слышу, — сказал Гордеев и показал на свои уши.

— Зачем звал? — громче повторил дневальный.

— А я не звал, — засмеялся ему в лицо Гордеев. — Я петь собрался. — И он засрал во всю глотку:

Глухо-ой не-ве-до-о-мой тайгою,
Сиби-и-ирской дальней стороно-ой
Бежал бродя-а-ага с Сахали-ина...

Полицаи хохотали от всей души.

Глухой медленно повернулся и, шаркая валенками по грязному полу, побрел обратно в кладовку. Он сел рядом с Семеновым и грустно сказал:

— Это они давно придумали. Не сейчас. Я ведь знаю наперед, как будет, а делаю вид, что не знаю. Они меня бьют, если я не играю с ними.

— Глухо-ой! — будто в подтверждение этих слов, крикнул теперь Александр Павлович. — Глухо-ой!

Каждому полицаяу хотелось сыграть в эту игру.

Они пили, слушали патефон, сами пели, но время от времени кто-нибудь вдруг истошно орал:

— Глухо-ой!

И человек со слезящимися глазами, медленно шаркая валенками, шел к своим мучителям.

Патефон был хороший, новенький, пластинки тоже. Без шипенья неслись песни, которые Семенов слышал совсем недавно, но это недавно было теперь за пропастью, которую никому уже не переступить.

Ну-ка, чайка,
Отвечай-ка:
Друг ты или нет.
Ты поди-ка,
Отнеси-ка
Милому привет...

Это перед самой войной был фильм про моряков и про любовь.

Семенов старался не думать про снежную, мокрую ночь и карьер, на дне которого были мама и тетя Даша. Он думал о том, что люди, которых он видел теперь перед собой, еще недавно ничем не отличались от других людей, ходили по тем же улицам, ели тот же хлеб, пели те же песни, что и все остальные, и все же, наверное, чем-то очень отличались от остальных. Конечно, отличались, как же может быть иначе? Семенов вспомнил, что дед Серафим говорил ему об Александре Павловиче, когда они возвращались со станции. Дед, конечно, ошибался: никогда прежде Козлов не был связан с фашистами, не был он их шпионом. и не собирался им быть. И ничего он не знал наперед. Ничего не знал, дурак подлый, ему и знать ничего не надо — он всегда ко всему приспособится и присосется.

На подоконнике, недалеко от двери кладовки, лежало несколько немецких автоматов. Как хорошо, если бы один из них оказался здесь, в кладовке! Тогда все было бы просто: осторожно раздвинуть доски, вставить дуло вот в эту щель, прицелиться чуть выше стола, за которым сейчас пьют и жрут полицаи, нажать гашетку и повести дулом слева направо, а когда поведешь справа налево, то взять уже чуть ниже стола.

Семенов не сомневался, что рука у него не дрогнет, однако автоматы лежали далеко от двери. Схватить

один из них и юркнуть обратно в кладовку было невозможно. Да и дверь скрипела ужасно.

«Это невозможно,— думал Семенов.— Это невозможно! Но если бы каждый советский человек, выбрав удобный момент, мог ценой собственной жизни уничтожить десять предателей, то война кончилась бы очень скоро». Его мысли вновь завертелись вокруг тех оптимистических подсчетов, которые он впервые сделал на площади перед клубом, когда увидел новую афишу Леонарда Физикуса, на которой дрессировщик был во фраке и вместо хризантемы в петлице красовалась свастика.

Пластинок было всего две: одна — про чайку и про сердце девичье, другая — про Андрюшу и про Сашу, но заводили их почти непрерывно. Полицаи все пьянели и все грустнели, поэтому Семенов удивился, когда Сазанский вдруг заорал:

— Глухой!

«Неужто они опять свою игру затеяли?» — с ненавистью подумал Семенов.

— Глухой!

— Господи, — прошептал глухой, спуская ноги на пол, — как им не надоест!

— Глухой! — опять крикнул Сазанский.

Тот не торопился. Тогда Сазанский схватил пустую бутылку из-под заграничного вина и бросил ее в перегородку.

— Глухой! — еще раз крикнул он. — Я тебе песенку буду, я тебе пулю всажу! Печка стынет, дрова волоки.

Глухой стал набирать на руку поленья, но они выскальзывали и падали на пол.

— Я помогу, — вскочил Семенов, — вы сидите, я быстро.

Он набрал поленьев и понес их к печке. Он прошел в полуметре от подоконника, где лежали автоматы, но старался не смотреть на них, чтобы не выдать себя взглядом.

— Правильно начинаешь жизнь! — одобрил Семенова начальник полиции. — Молодежь должна быть умнее, чем старики. За послушной молодежью есть будущее.

Никто не слушал Сазанского, потому что самогон

упорно возвращал полицаев к собственным тревогам и надеждам.

Семенов присел к печке, открыл дверцу.

— Там все прогорело,— сказал он.— Разжечь?

— Разожги,— милостиво согласился Козлов.— Мы ведь понимаем, что ты по глупости закон нарушаешь.

— Я и соли могу достать,— угодливо сказал Семенов, глядя на свою зеленую кастрюлю, где лежал теперь разделанный Гордеевым молочный поросенок.

— Давай, давай... — кивнул Козлов.

Не спеша, деловито Семенов уложил в печке дрова, полил их из банки бензином, сунул клочок газеты и спросил, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Спички есть?

Ему дали спички, дрова занялись сразу, но Семенов не спешил. Он подождал, пока пойдет тепло, потом будто вспомнил про соль, сходил за ней в кладовку и посолил закипавшую воду в кастрюле с поросенком.

Полиции обступили плиту, нюхали варево, грели руки у огня.

— Я сейчас еще дров принесу,— сказал Семенов и деловито зашагал в кладовку. На одном подоконнике стояла отобранная у него бутылка масла и несколько забытых полицаями его же мелких луковок. Семенов взял их и отнес к плите.

— Бросьте в суп,— сказал он, протягивая лук.— Вкусней будет.

Когда Семенов проходил мимо лежащих на другом подоконнике автоматов, он протянул руку, взял верхний и не обернулся назад. Ему было страшно оглянуться.

Полицаям, к счастью, было не до него. Кто-то опять завел патефон, кто-то разлил вонючий самогон по алюминиевым кружкам.

В кладовке Семенов перевел дух. Автомат оказался удивительно тяжелым. В нем было много металла и тоже было из какого-то тяжелого дерева. Глухой, до сих пор безучастный ко всему вокруг, сидел на нарах вытаращив глаза и смотрел на мальчика с ужасом. Семенов подошел к той самой щели между горбылями, которую облюбовал заранее.

Полицаям было не до него. Юрка Гордеев снял рубаху и показывал им свои бицепсы.

— Ты ткни,— говорил он каждому по очереди.— Ты пальцем ткни!

Полицаи восхищались, а Гордеев показывал мышцы живота.

— Ты сюда ткни! — говорил он. — И вы, господин начальник полиции, не побрезгуйте...

— Пшел вон, дурак, — обозлился лилипут Сазанский. — Козлов, заведите патефон.

В пятый или в шестой раз Александр Павлович слушал эту пластинку, и никто не мог бы поверить, что она так бережит его каменную душу.

Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу,
Саша, ты помнишь этот вечер,
Тот майский вечер, каштан в цвету...

Именно так все и было, когда Саша и Тоня Козловы, смуглые и крепкие, в мае 1938 года по профсоюзной путевке отдыхали в Сочи.

Именно так все и было: парк возле самого моря, теплый вечер мая и каштаны, цветущие розоватыми фонтанчиками.

...Как незаметно текут года, а-а!..

Певица пела с приторным лживым надрывом, а Козлов думал о мудрости этих слов и о том, что он-то нигде не пропадет, любые трудности преодолеет.

«Как странно,— думал Семенов глядя на него сквозь щель между горбылями,— я всю жизнь звал этого человека по имени-отчеству — Александр Павлович. Вот он сидит у пустого саквояжа, с которым раньше ездил в район доктор Лев Ильич Катасонов. Доктора повесили, а Александр Павлович пьет водку и слушает патефон. Неужели он на самом деле ничего не боится?»

Семенов вставил в щель дуло автомата, прицелился, обернулся на забившегося в угол глухого, еще раз прицелился и нажал на спуск.

«Слева направо, справа налево... Ниже надо брать», — думал он, с расстояния в пять метров расстреливая полицаев. Ему показалось, что в тот мо-

мент, когда он нажал на спуск, Козлов обернулся и увидел нацеленное на него дуло.

Автомат перестал вздрагивать, наступила полная тишина. Кончились патроны. Дуло застряло в щели. Семенов изо всей силы рванул автомат на себя и тут же бросил его на пол.

Он вышел из кладовки, взял с подоконника другой автомат, со стола буханку хлеба, дрожащей рукой сунул в карман бутылку с постным маслом. Он открыл дверь тамбура, сделал шаг, и... страшный удар свалил его с ног.

Гордеев промахнулся, и полено, которое он занес над головой мальчика, задело его по касательной. Зато оно раскололо кадку для воды, стоявшую в тамбуре.

Пулеметчики у карьера слышали стрельбу в бараке и подняли тревогу. На место происшествия в сопровождении взвода эсэсовцев прибыл сам комендант Ро-лоф.

«НЕ ПОМНЮ...»

Дед Серафим, как это и предвидел Семенов, проснулся ночью и забеспокоился. Иногда мальчишка и раньше среди дня исчезал, как сквозь землю проваливался, но возвращался он всегда довольно быстро. Теперь же его не было среди темной метельной ночи. Записка, которую дед нашел на кухне, встревожила еще больше.

«Понес нашим передачу. Уверен, что все будет хорошо. Спи, дедушка, спокойно, не волнуйся».

До позднего ноябрьского рассвета дед Серафим в одном исподнем бродил по выстывающей квартире, а часам к десяти оделся и пошел в комендатуру. Он все для себя понял и решил, что просто кинется Козлову в ножки и будет Христом-богом умолять за мальчишку. А Козлов не поможет, пойдет к самому коменданту: тоже ведь человек, не даст ребенка мучить.

Дед ходил возле комендатуры взад и вперед, совсем не думая, что привлекает этим чье-то внимание. «Не пропустить бы Александра Павловича, — думал он. — Не пропустить, когда на службу пойдет или выйдет оттудова. Тогда прямо в ножки к нему, чтоб все

видели. На людях ему трудно отказать будет. Выпустит мальчишку».

Эсэсовцев, простых солдат и офицеров возле комендатуры крутилось много, приезжали, уезжали, говорили по-своему, громко хлопали дверями разноцветных машин, но никого из знакомых русских полицейских не было.

Часов в двенадцать дед увидел Антонину. Она шла быстро, деловито. Дед подумал, что можно бы и ее просить за Семенова: Антонина на мужа имела очень большое влияние. Только вот захочет ли она? Больно уж шумная и злопамятная. Пока дед раздумывал, Антонина скрылась в дверях комендатуры. «Наверно, обедать вместе с мужем будет, — догадался дед. — У них, говорят, во дворе столовка хорошая».

Потом дед увидел, как Антонина с каким-то немцем села в легковой автомобиль, а Александр Павлович все не появлялся.

Часа в три пополудни комендант Ролоф встал из-за своего большого письменного стола и с чашечкой горячего кофе в руках подошел к окну.

— Послушайте, Вилли, — сказал комендант своему помощнику, молодому безусому эсэсовцу. — Не кажется ли вам, что этот старик шляется здесь с самого утра? Уверен, он что-то знает, и его следует допросить. Распорядитесь, Вилли.

Капитану Ролофу перевалило за пятьдесят. Рыжий, щуплый, с лицом, похожим на кукиш, он всегда был настороже, всех и во всем подозревал. Ролоф происходил из ревельских, эстонских, немцев, в Германию репатриировался в начале тридцатых годов. Он просился в СС и в действующую армию специально для того, чтобы попасть на свою бывшую родину, в Таллин, и свести там счеты со многими, кого он считал личными врагами и врагами Германии. В Колыче у Ролофа личных врагов нет, но русских он не любил так же, как эстонцев.

Дело с уничтожением полицейских в бараке возле гравийного карьера, в непосредственной близости от нескольких пулеметных гнезд, где дежурили опытные солдаты СС, казалось Ролофу более сложным и опасным, чем об этом говорили первые результаты следствия. Не зря же это случилось именно в ночь на

Седьмое ноября, не об этом ли говорила листовка, которую несколько дней назад показывал Ролофу Сазанский. По рассказу полиция Гордеева получалось, что девять взрослых мужчин мог уничтожить из автомата слабенький русский мальчик, случайно оказавшийся в том бараке. Гордеев был вчера сильно пьян. От него и сегодня несло самогоном на три метра вокруг. Видимо, полицейай успел опохмелиться, ибо все разговоры вокруг ночного происшествия сворачивал к тому, что теперь начальником полиции должен стать именно он, и Ролоф пообещал ему это, ибо других кандидатур все равно не было.

Глухой сторож карьера — второй свидетель этого дела — отрицал все. Он ничего не видел, ничего не слышал, никого не знает. Ролоф очень розозлился и пугнул сторожа криком и пистолетом, но это ни к чему не привело: глухой упал на колени и завыл.

Даже личность малолетнего партизана установить пока не удалось. После удара по голове мальчишка пришел в себя довольно скоро, но не хотел отвечать ни на какие вопросы. С подобным упрямством Ролоф уже встречался в России, но надеялся, что этого маленького бандита он заставит говорить. Оставалось еще невыясненным, откуда Козлов знал арестованного. Гордеев утверждал, что Козлов говорил об этом Сазанскому, а Сазанский даже хвалил этого партизаненка, говорил, что он правильно делает, помогая топить печку. На упрек Ролофа, что следовало лучше запомнить этот разговор, Гордеев резонно ответил: «Если б я их хорошо слушал, я бы там теперь лежал. Я при первом выстреле ласточкой в нижний угол двери нырнул. Я вратарем стоял за школьную команду, у меня реакция, как у тигра».

Надо было допросить вдову Козлова, однако Ролоф сообразил это не сразу, а лишь тогда, когда она уехала к месту происшествия, чтобы организовать похороны по русскому обряду. Разговор с Антониной у Ролофа был неприятный, она требовала компенсацию за трагически погибшего мужа, а Ролоф вынужден был прямо ей сказать, что этого не будет, не предусмотрено правилами.

Ролоф решил, что вдову Козлова он вызовет для опознания преступника завтра, но не верил, что это

даст результат. Кроме того, она наверняка опять станет требовать компенсацию за смерть мужа.

— Господин комендант, — в кабинет вошел Вилли, — разрешите доложить? Ваше предположение оказалось правильным. Старик по фамилии Чинилкин разыскивает мальчика по фамилии Семенов, который ночью отправился в карьер, чтобы повидать свою мать. Старик утверждает, что пришел сюда, чтобы просить заместителя начальника полиции Козлова отпустить мальчишку на свободу.

— Значит, старик еще ничего не знает?

— Так точно.

— А Козлова он откуда знает?

— Говорит, что жили в одном дворе и что Козлов тоже знает этого мальчика и будто бы любит его.

— Любил, — строго поправил подчиненного Ролоф. — Козлов больше никого любить не может. Даже свою жену.

Комендант посидел молча, подумал и распорядился:

— Старика не выпускать, готовить к очной ставке. На квартире у старика и во всем дворе провести тщательный обыск. Возьмите собаку.

Обыск в райтоповском дворе дал блестящие результаты. Собака, которой дали понюхать вещи Семенова, повела эсэсовцев к деревянному сараю. Под полом, в узком кирпичном погребе, были обнаружены сочинения Маркса, Ленина и Пушкина, большое количество тонких брошюр, неисправный радиоприемник в буковом ящике, а на нем аккуратно нарезанные листы тетрадной бумаги, карандаши и копирка. На одном из листов копирки читался текст: «Смерть фашистам... здравствует 7 Ноября!»

Этой улики Ролофу было вполне достаточно, чтобы утвердиться в своей догадке: мальчишка не случайно оказался в бараке, он выполнял задание разветвленной организации. Но обыск в самой квартире дал еще одну не менее вескую улику. Там была изъята книга «Принц и нищий», сочиненная Марком Твенем, с надписью на титульном листе: «Т. Семено-

ву, которому я абсолютно доверяю!» И четкая подпись: «Л. С. Щербаков».

Комендант Ролоф легко установил, что это тот самый Щербаков, который убил коменданта Келлера на стадионе. Было установлено также, что за время оккупации мальчик несколько раз приходил к бывшему завхозу школы.

При всей своей подозрительности Ролоф понимал, что дед Серафим вовсе ничего не знал о тайной деятельности мальчишки и о его связях. Дед был допрошен тщательно, всесторонне, и только после этого Ролоф устроил очную ставку.

Неискушенный в полицейских порядках, дед как только увидел Семенова, так заговорил сам:

— Господи! Родименький, что это соделали с тобой, стреляли, что ли? Говорил тебе — не суйся к ним, не лезь... И лицо все черное...

Семенов сидел на облезлом венском стуле, прямой и безмолвный. На деда он не смотрел.

— Не молчи, Семенов, не молчи! Они ведь мучить будут...

— Значит, вы знаете этого человека? — прервал деда комендант и указал на Семенова.

— Знаю, — охотно подтвердил дед. — С первых мокрых пеленок... Да ты не молчи, милый. Все уж теперь. Они все вызнают...

Ролоф опять прервал старика, он обратился к Семенову:

— А ты знаешь этого человека?

— Нет, — сказал Семенов. — Не знаю.

Комендант засмеялся злорадно. Это глупое упорство он наверняка теперь сумеет сломить.

— Назовите себя, — приказал он старику.

— Чинилкин Серафим Павлович, — послушно отозвался дед и опять стал умолять Семенова не противиться силе и рассказать все. Дед плакал. Слезы текли по дряблым небритым щекам, плечи вздрагивали, как у ребенка. Он понимал, что фашисты замучают мальчишка, и никакие тайны не казались ему сейчас важнее этой детской жизни.

Дед подписал протокол, и Ролоф приказал отпустить его.

— Иди, старик, иди. — Комендант похлопал его

по слабому плечу. — Ты святой человек! У тебя хорошее русское имя — Серафим! Серафим — по-русски значит ангел?

— Бога нет, — назло немцу твердо сказал дед, хотя сам он в этом сомневался.

На другой день была очная ставка с Антониной Козловой. Как Ролоф и ожидал, та прежде всего хотела добиться денежной компенсации за геройски погибшего мужа. Единственное, что пообещал комендант, это перевести вдову на работу в привокзальное кабаре, где обеспечение было много лучше, чем в обычной столовой. Потом ввели Семенова, и Ролоф спросил Антонину:

— Вы можете подтвердить, что это действительно Семенов Анатолий и что он жил с вами в одном дворе?

Антонина с готовностью подтвердила.

— Вы не ошибаетесь? — спросил Ролоф.

— Конечно, нет. Вся семья у них такая бандитская. Сестру вы, слава богу, повесили, а мать с доктором Катасоновым работала.

Ролоф подошел к Семенову.

— Признавайся! — сказал он.

Семенов молчал.

— Ты Семенов?

Мальчик молчал.

— Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

— Не помню... — сказал Семенов.

— Ты зря упорствуешь, — сказал Ролоф, — совершенно зря. Где твоя сестра?

— Не знаю.

— Как ее зовут?

— Не помню.

При Антонине Козловой комендант Ролоф впервые ударил мальчика сам. Упорство бесило его прежде всего потому, что казалось совершенно бессмысленным. И еще бесило коменданта то, что у него не было самого сильного оружия для борьбы с упорством. Буквально за несколько дней до случившегося он сам отправил Наталью Сергеевну Семенову из местного гестапо в областной город. Там готовили показательный суд над саботажниками и Семенову затребовали для этого. Очная ставка с матерью могла, по мнению ко-

менданта, дать много. Было два верных способа воздействовать на преступников. Первый — избивать мать в присутствии ребенка, и тогда ребенок во всем сознается. Второй — избивать ребенка в присутствии матери, тогда та расскажет все, что знает. Увы, матери под рукой не было.

Мальчика пытали разными способами, но допросы были похожи один на другой.

— Как фамилия?

— Не знаю.

— Твоя фамилия Семейков?

— Не знаю.

— А может быть, ты — Иванов?

— Может быть.

— А может быть, ты — Ролоф?

— Да, Ролоф.

Комендант получал нагоняи от начальства и по ночам просыпался от обиды. Он не узнал ничего о связях с партизанами, не услышал новых имен. Мальчик отрицал все, даже само собой разумеющееся. Между тем Берлин требовал решительных и радикальных мер в борьбе с партизанским движением. Еще в октябре 1941 года главное командование сухопутных сил германской армии выпустило «Основные положения по борьбе с партизанами». Берлин указывал, что партизаны срывают снабжение фронта, дезорганизуют тылы, нарушают коммуникации. Берлин давал указания, а Ролоф не умел их выполнять.

Оккупантам становилось все труднее. Что и говорить, на местах об этом знали больше, чем в Берлине. В том же Колыче и вокруг него постоянно увеличивалось количество диверсий. Все чаще летели под откос эшелоны, все опаснее было на автомобильных дорогах, все больше листовок появлялось в городах и селах. Фашисты были уверены, что все партизанские отряды так или иначе связаны между собой и имеют единое руководство.

Они ошибались тогда. В начале зимы 1941/42 года единого руководства партизанским движением еще не было. Было другое: единое стремление защитить Родину, спасти ее от унижения, покарать оккупантов. Единое руководство было создано несколько позже, и тогда партизанские армии в тылу врага превратились

в силу, с которой так и не сумела справиться вся гитлеровская военная машина.

Шел декабрь. До полусмерти замучив мальчика, комендант Ролоф попросил свое областное начальство прислать в Колыч для очной ставки мать Семенова. В ответ он получил приказ отправить туда сына.

Там сами хотели разобраться с мальчишкой. Они верили коменданту, который утверждал, что «этот мальчишка есть звено, уцепившись за которое, можно вытянуть всю цепь большевистского подполья».

Историки Великой Отечественной войны подсчитали, что к концу 1941 года на оккупированной фашистами советской территории было создано более двухсот партизанских отрядов, в которых воевало девяносто тысяч бойцов. Принципам формирования партизанских отрядов специально обучали опытных командиров Красной Армии, создавали организаторские отряды, которые переправляли через линию фронта. Однако очень многие партизанские отряды создавались прямо на месте во вражеском тылу. Организаторами таких отрядов становились коммунисты, комсомольцы и беспартийные активисты.

Командир партизанского отряда Карп Андреевич Дьяченко много лет был хозяйственным и партийным работником. Только в самой молодости пришлось ему когда-то воевать в степях Украины против Петлюры. Когда его оставили в немецком тылу для организации партизанского движения, Дьяченко надеялся, что будет заниматься в основном политической работой, а для военного руководства найдется человек более опытный, желательнее кадровый командир. Все сложилось иначе. Вот уже несколько месяцев Карп Андреевич руководил самым большим в этом крае партизанским отрядом. Люди доверяли ему, и сам он все больше и больше проникался верой в свои силы. Рос его отряд, рос список боевых дел. Огорчало Карпа Андреевича, что еще не удается объединить все движение Сопротивления в области, что многие группы действуют некоординированно и потому терпят большой урон. Правда, с каждым днем разобщенность от-

дельных отрядов уменьшалась, надежды на централизацию становилось все больше.

В начале декабря Дьяченко установил регулярную связь с Большой землей и стал получать задания от командования Красной Армии.

Первым вопросом, который задала Большая земля, было: «Можете ли организовать прием транспортного самолета?» Дьяченко понимал, как это важно, и ответил: «Сможем, сообщите требования к площадке для посадки и взлета».

К 15 декабря 1941 года партизаны закончили строительство лесного аэродрома. Большая земля обещала прислать партизанам продукты, оружие, боеприпасы, новую радиоаппаратуру и свежие газеты.

«Подготовьте больных и раненых для отправки на Большую землю, — сообщили Дьяченко, — и постарайтесь добыть «языка» из числа обер-офицеров или генералов германской армии».

Карп Андреевич про себя решил, что не может принять с Большой земли самолет, пока у него не будет достаточно интересного «языка».

В штабную землянку вызвали четверех молодых командиров. Перед Дьяченко лежала карта. Он указал четыре дороги, на которых следовало устроить засады и ждать проезда крупных фашистских военных.

— Они нужны нам только живые, — подчеркнул Дьяченко, — и желательно вполне здоровые.

Младший лейтенант Виктор Дубровский встал.

— Разрешите обратиться, товарищ командир?

Дубровскому не пришлось воевать в регулярной армии. Наверно, поэтому он и в партизанах строго соблюдал устав.

— Я просил бы направить меня в отсюда. — Он указал район Колыча.

Дубровский не первый раз просил направить его в район родного города, и Дьяченко не первый раз отказывал ему. Отказал и теперь.

— От нас до Колыча чуть не триста верст, — сказал он, — да и какие там могут быть «языки»! Нет, Витя, все четыре группы будут действовать только вблизи областного центра. Тут опасней, но больше шансов взять крупную птицу. — Он четко обозначил задание каждой группы и на прощание сказал Дуб-

ровскому: — Обещаю тебе, пойдешь в Колыч, только не в этот раз.

Оставшись один, Дьяченко опять склонился над картой. Он размышлял о том, что в Колыч давно бы надо послать человека, только вряд ли это должен быть Дубровский. Вряд ли. Скорее всего, это должен быть кто-то другой. Дубровского, без сомнения, многие помнят и могут легко узнать в таком маленьком городке.

Вначале Карп Андреевич рассчитывал, что именно в районе Колыча будет находиться штаб его партизанского отряда, но случилось иначе. До Колыча три сотни километров, несколько магистралей, регулярно охраняемых фашистами, а вокруг маленького городка лагеря военнопленных и охранные войска. И все-таки Карп Андреевич решил, что сразу же после Нового года он лично пойдет в Колыч. Перехваченное фашистское донесение свидетельствовало о том, что в Колыче не перестают действовать группы Сопротивления. Интуиция и жизненный опыт подсказывали Дьяченко, что одной из тамошних диверсионных групп руководит школьный завхоз Щербаков. Такой человек не станет дожидаться специальных указаний; он действует по обстановке и, судя по отрывочным сведениям из Колыча, действует отлично.

Декабрьская метель несколько дней кряду бушевала над лесами. Партизанам, ушедшим на поиски «языка», это было на руку, но те, кто находился вблизи лесного аэродрома, трудились по двадцать часов в сутки: летное поле заметало, и Дьяченко боялся, что, когда кончится метель и приведут «языков», он не сможет принять самолет.

Виктор Дубровский решил во что бы то ни стало вернуться в лагерь первым и обязательно с генералом, на худой конец — с полковником. Трое суток его группа сидела в засаде, намеченной Дьяченко.

Трое суток метель то усиливалась, то ослабевала, но никак не прекращалась. За это время мимо партизанской засады прошли две обозные команды, где старшим по званию были фельдфебели. Отбивать их не имело никакого смысла. Прошла мимо партизан и од-

на боевая часть. Это была колонна тяжелых танков. Может быть, во главе этой части стоял вполне осведомленный гитлеровский обер-офицер, но захватить его можно было только при помощи столь же сильных танков и артиллерии.

На четвертые сутки Виктор вспомнил, что «победителей не судят», и, пользуясь метелью, среди ночи провел свою группу за городскую черту. Это было в ночь на понедельник, а в 9.30 утра фельдфебель контрольно-пропускного пункта на западной окраине города увидел серый «оппель-адмирал» полковника интендантской службы Ормана. Полковник ведал снабжением группы войск и часто разъезжал на своей шикарной машине. Фельдфебель отдал полковнику честь и удивился, что тот сидел не на заднем сиденье, как всегда, а рядом с шофером. Увидев, что сзади сидят несколько человек, фельдфебель заподозрил неладное и побежал к телефону, чтобы предупредить следующий контрольно-пропускной пункт, который находится в десяти километрах.

Однако машина полковника Ормана так далеко не доехала. «Опель» стоял на опушке леса, мотор работал. Когда командир фашистского дорожного патруля в недоумении осторожно открыл дверцу машины, в лицо ему ударил взрыв.

Виктор прокладывал лыжню, следом за ним шел жилистый фельдшер Гриша Костюченко. Он тащил на плечах полковника Ормана.

Младший лейтенант Дубровский был слегка суеверен и потому то и дело плевал через левое плечо. Когда он оборачивался, чтобы плюнуть, встречался взглядом с полковником, и это придавало ему сил.

Пока все шло прекрасно. Машину они бросили в ста метрах от места, где накануне оставили свои лыжи, а мина, заложенная под переднее сиденье «оппеля», сработала громко. Но для верности все-таки хорошо время от времени плюнуть через левое плечо...

— Давай, давай, — кричал Дубровский Грише, — у полковника небось уши мерзнут!

Грише это казалось шуткой, ему было жарко. А у

полковника действительно мерзли уши, потому что в спешке партизаны потеряли его шапку.

— Нажимай, Дубровский!— сзади кричал Костюченко.

Метель, притихшая было к утру, усилилась, и Витя надеялся, что она быстро заметет их лыжню.

Это была не первая удачная операция бывшего танкиста. И всякий раз он вспоминал тот страшный вечер, когда он стоял в чужом саду и мимо него по улицам советского города шли фашистские танки. Они шли с открытыми люками, а у Виктора не было ни гранаты, ни бутылки с зажигательной смесью, и желтая кобура его была пуста...

«Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших»,— вспомнил Виктор стихи Эльвиры Семеновой. Он рассмеялся радостно и, обернувшись, крикнул Грише:

— Давай, давай!

Партизаны шли без остановки семь часов, и когда сделали привал, оказалось, что полковник Орман все-таки отморозил себе уши.

Виктор коротко доложил Карпу Андреевичу о выполнении задания, и тот, едва дослушав его, распорядился, чтобы на Большую землю передали: «Можете присылать самолет. «Язык» есть. Радируйте, встретим».

Дубровскому хотелось подробно рассказать командиру, как они почти наугад выбрали приличный особнячок, как проникли в заснеженный фруктовый сад, как осторожно выдавили стекло венецианского окна, выходящего на веранду, и в каком смешном трикотажном колпаке с кисточкой спал полковник. Однако Карп Андреевич решительно его остановил:

— Ладно, Виктор. Пока хватит. Потом как-нибудь, под другое настроение.

Виктор встал по стойке «смирно». Он не хотел скрывать обиду. Ведь он не хвастает, не просит награды, просто рассказывает, как все было.

— Слушаюсь!— сказал он.— Попробуюсь рассказать под другое настроение.— И, повернувшись налево кругом, сделал два шага к двери.

— Не всем так везет, как тебе,— сказал Дьячен-

ко.— Вчера вернулась с задания вторая группа. Разгромили две эсэсовские машины с конвоем, потеряли трех человек. Думали, там важная шишка едет. Оказалось, эсэсовцы сопровождали мальчика лет десяти. Еще живой. Пытали его, понимаешь? Пытали,— еще раз повторил Дьяченко.

Теперь Виктор понял, почему командир так невнимательно отнесся к его и вправду чуть хвастливому рассказу.

А Дьяченко добавил:

— Между прочим, взяли его у областного города, но на Колычском тракте. Есть основания думать, что мальчик из Колыча.

— А он где, Карп Андреевич? Может быть, я его знаю?

— Стоит ли спешить,— возразил Дьяченко.— Поди поспи, а вечером заглянешь к медикам.

— Есть!— Виктор вышел из землянки командира и направился прямо к медикам. Он шел, думая, что Дьяченко удивился бы, узнав, что младший лейтенант и в самом деле пошел спать.

В землянке у медиков в отличие от остальных землянок было окно. Встроенное в слегка покатую крышу, оно походило на парниковую раму. Непосредственно под окном стоял операционный стол, а правее, на высоких полках, лежал очень худенький мальчик. Он лежал раскинувшись, и под тонким байковым одеялом угадывался весь его скелет.

Дубровский подошел поближе. Мальчик равнодушно поглядел на него и прикрыл глаза.

— Можно мне поговорить с ним?— спросил Виктор врача.

— Попробуй...— сказал тот.— Только это бесполезно.

— Здравствуй,— сказал Дубровский.

— Здравствуйте...

— Как тебя зовут?— спросил Дубровский, чувствуя, что где-то видел мальчика.

— Не знаю,— ответил мальчик.

— А фамилия?

— Не помню.

Виктор догадался, что мальчик до сих пор думает, что он у немцев.

— Ты понимаешь, где ты находишься?

— Понимаю.

— Где? — невольно повысил голос Дубровский.

— В лесу, — сказал мальчик и отвернулся.

Виктор увидел его профиль — открытый лоб, прямой нос с горбинкой, высокую верхнюю губу. Этот профиль Витя знал очень хорошо. Это был профиль Эльвиры!

Витя вспомнил, что у Эльвиры был братишка и что он видел его в те полчаса. Правда, начисто вылетело из головы, как этого братишку звали.

Мальчик лежал к нему в профиль, и Дубровский все больше убеждался, что это не случайное сходство.

— Я сказал тебе — напрасный труд, — буркнул врач за спиной у Дубровского. — Я не специалист по нервным болезням, но это напоминает амнезию, как она описана в учебниках. Можно предположить, что она травматического характера. Его били по голове. И можно думать, что самовнушенная.

— А что такое амнезия? — обернулся Виктор к врачу.

— Патологическая потеря памяти. Бывает — навсегда. Амнезия описана довольно подробно. Различают, например, полную амнезию, тотальную и частичную, или, как ее еще называют, частную. Частичная распространяется избирательно на события определенного характера или времени. К счастью для человечества, мало кому удастся избавиться от прошлого таким именно образом. — Врач старался придать своим словам характер сухой академической справки, но голос его срывался, в горле пересохло. Он лучше других знал, что это значит. Он продолжал: — В данном случае, если хочешь знать, причину амнезии установить особенно трудно. Она могла наступить сразу после травмы черепа. Потом мальчик сам гасил в себе любые проблески памяти. Сознательно он это делал или подсознательно — тут невозможно найти грань. Ведь он был в гестапо, и его пытали...

— Да, — сказал Виктор, — такое лучше не помнить... Только и нарочно не забудешь.

— Не утомляй его, — сказал врач. — Поболтали, и хватит.

— Еще несколько вопросов, — сказал Витя.

— Десять минут,— согласился врач, взглянув на часы.

Виктор подошел совсем близко. Он был уже абсолютно уверен, что перед ним брат Эльвиры и, конечно, это его он видел в тот день, когда забегал в райтоп.

— Я тебя знаю,— твердо сказал Дубровский,— Твоя фамилия Семенов.

Мальчик ответил:

— Не помню...

— Ты же Семенов, Семенов,— настаивал Виктор.— Мы в одной школе учились — ты был в третьем или в четвертом. Я тебя помню, и ты должен меня помнить. Я в «Ревизоре» Хлестакова играл.

— Не помню,— ответил мальчик,— я вас не помню...

— Ну вспомни же, вспомни!— молил Дубровский.— Я к Эльвире приходил. Эльвиру ты помнишь?

— Не помню...

— Я был в летней гимнастерке, с одним кубиком, желтая кобура...

Виктор не сомневался, что перед ним брат Эльвиры. Он мучительно пытался вспомнить, как его зовут: Женья... Вася... Игорь... Вова...

— Я тебя знаю, я только забыл, как тебя зовут,— убеждал он мальчика.

— Я тоже забыл...— тихо ответил мальчик.

— Ну вспомни, вспомни,— умолял Виктор.— Вы жили на Луговой, рядом с Салтыкова-Щедрина. У тебя сестра есть, Эльвира. Я ее друг — Дубровский, Витя. Понимаешь, Дуб-ров-ский. Эля меня Дефоржем звала. Меня в школе дразнили: «Я не француз Дефорж, я — Дубровский».

— Не помню я...— устало произнес мальчик.

Из всего «Дубровского» Виктору вспомнилась теперь почему-то всего еще одна фраза, составленная из пяти русских и одного французского слова.

— Я не могу dormire в потемках,— сказал он мальчику.— Вспомни, я Дубровский, ты Пушкина читал? Помнишь?.. Я не могу dormire в потемках... Ну, пожалуйста, вспомни! У тебя сестра есть, Эльвира... Это помещик говорит, Пафнутийч: «Я не могу dormire в потемках». Помнишь?

— Хватит,— строго сказал врач.— Немедленно

уходи. Неужели ты не видишь, что ему плохо от твоих вопросов.

Виктор схватил в охапку полушубок и выскочил на мороз. Быстро темнело, в дальней землянке кто-то играл на балалайке, со стороны кухни тянуло подгоревшей кашей.

Самолет с Большой земли прилетел звездной ночью. Летчики сразу увидели ориентиры: всего один разворот над сигнальными кострами, резкое снижение и стремительная посадка с внезапно притихшими двигателями.

Когда самолет остановился и его догнала поднявшаяся за хвостом снежная пыль, первым шагнул Карп Андреевич Дьяченко.

Три летчика в теплых шлемах, меховых куртках и унтах спрыгнули на землю. Карпу Андреевичу они показались ужасно знакомыми, похожими на известную фотографию Чкалова, Байдукowa и Белякова после их знаменитого перелета Москва — Америка через Северный полюс. Летчики и сами знали про это сходство и стремились к нему еще больше.

Они были немногословны, улыбчивы, чуть-чуть снисходительны к восторгам в свой адрес. Летчики угощали партизан папиросами «Казбек» из твердых довоенных коробок, давали прикуривать от шикарных зажигалок. Партизаны, даже некурящие, закурили теперь: каждая папироса — часть Большой земли, частица невозвратно далекой довоенной жизни.

Самолет разгрузили быстро. В глубь леса унесли новую рацию, боеприпасы, продукты, газеты и книги.

Три партизана подвели к самолету полковника Ормана. На всякий случай большая ушанка была надета на нем задом-наперед, чтобы глаза не видели ничего вокруг. Казалось, что голова свернута раз и навсегда. Полковник крутил ею и свинцово-серо светился в ночи погонями и значками.

Потом появился партизанский доктор. Он нес на руках большой сверток одеял, внутри которого, как личинка в коконе, лежал Семенов.

— Дай помогу, — просил, идя за ним следом, Виктор Дубровский. — Дай помогу...

Доктор не оборачивался. Нести Семенова было легко: он весил не больше двух пудов. В самолете было холоднее, чем в лесу. Может быть, доктору так казалось, но он побежал за другими одеялами.

Виктор Дубровский подошел к Дьяченко.

— Может, погодим? — сказал он.

— Что? — не понял тот.

— Может, погодим пацана отправлять?

— Нет, — отрубил командир отряда, но, взглянув на Виктора, счел нужным объяснить: — Во-первых, врач считает, что жизнь мальчика в опасности. Во-вторых, у нас нет медикаментов и специалистов по этим болезням. В-третьих, у меня нет времени обдумать твоё предложение. Самолет улётит через десять минут.

Дубровский посмотрел в глаза командира и понял, что просить бесполезно. Дьяченко был непреклонен. У него было еще и «в-четвертых», о котором он никому не хотел говорить: фашисты нацупали местоположение отряда и придется переходить на новое место.

Прибежал врач с одеялами и сказал пилоту, что мальчика нельзя надолго оставлять одного, и если будет холодно, то придется его еще раз укутать.

— А документы на него есть? — спросил летчик.

— Нет, — сказал Дьяченко. — Документов нет, а сам он не помнит ни фамилии своей, ни имени.

— Фамилию я знаю точно, — сказал Дубровский. — Его фамилия Семенов, а имени и отчества я вспомнить не могу. Запишите условно: Семенов Алеша... Кажется, все-таки Алеша.

Сказав это, Виктор вдруг вспомнил, что знал отчество Эльвиры. Он однажды, дурачась, назвал ее Эльвирой Вячеславовной, а она неожиданно обиделась. Потом только он узнал, почему обиделась Эльвира.

— Значит, Семенов. Без имени и без отчества, — говорил летчик, записывая что-то на скрипящей кожаной планшете.

— Нет, — поправил его Дубровский. — Имя запишите Алеша, а отчества не надо. Слишком много условностей: условное имя, условное отчество...

Небо с запада стало быстро завлакиваться, полет снежок, и командир экипажа сказал, что хорошо бы линию фронта пройти над облаками.

Когда самолет исчез за лесом, снег шел всюду. Пар-

тизанам было жаль, что он засыпает след самолетных лыж. Хотелось, чтобы командир дал команду и на завтра готовить площадку для приема самолета, однако Дьяченко об этом ничего не сказал.

Он смотрел на восток, где не было еще никаких следов рассвета, и молчал.

Молча же он повернулся и пошел в лес.

ЭПИЛОГ

Если вам, дорогой читатель, захочется узнать о событиях какого-либо конкретного прошлого, не ленись пойти в библиотеку и взять там подшивку газет того времени. Потом вы можете читать толстые тома, изучать архивные материалы, подлинные документы эпохи. Для серьезного исследователя это обязательно. Однако самое первое и потому самое сильное впечатление дадут вам только газеты.

Шел апрель тысяча девятьсот сорок третьего года.

В начале этой повести я вынужден был привести несколько тягостных газетных сообщений первых месяцев войны, зато теперь с радостью могу рассказать, какие вести приносили газеты в сорок третьем.

12 января. Освобождение захваченных фашистами курортных городов Кавказа. Вновь советскими стали Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Георгиевск.

16 января. Присвоение воинского звания генерал-полковника Говороу Л. А. и Рокоссовскому К. К.

17 января. В последний час. 1. Успешное наступление наших войск южнее Воронежа. 2. Ликвидация окруженных фашистских войск в районе Сталинграда близится к концу.

В том же номере газеты приказ о введении новой формы одежды. Установлено ношение погон.

19 января. Войска Ленинградского фронта и Волховского фронта ссединились: прорвана блокада Ленинграда, длившаяся с сентября 1941 года.

Так начинался этот год. Таким он обещал быть. Таким он и был.

В марте наши войска освободили Колыч, еще через неделю отряд Дьяченко соединился с регулярными

частями Красной Армии; а вскоре Карпа Андреевича и командира отрядной разведки Виктора Дубровского вызвали в Москву.

На рассвете того апрельского дня, когда ученики ремесленного училища должны были выйти на предпраздничный субботник, в Москву въехал трофейный немецкий «супер-мерседес». Это была роскошная генеральская машина, изуродованная камуфляжем и заляпанная грязью.

На последнем КПП¹ у самого въезда в город старшина, проверявший документы, посоветовал:

— Вы бы помыли ее, товарищ водитель, в столицу въезжаете.

— При первой возможности, — заверил старшину водитель. Он плавно тронулся с места и, обернувшись назад, спросил: — В гостиницу «Москва», Карп Андреевич?

— Да. До тринадцати ты свободен, Витя. В четырнадцать мне в штаб.

Это был ничтожно малый срок, чтобы найти мальчика, от которого почти полтора года не было никаких вестей. Да и почему он в Москве? Его могли отправить в глубокий тыл, в теплые края, в Ташкент, например, где много фруктов и овощей, необходимых детскому организму.

В то утро камуфлированный серыми и зелеными пятнами трофейный лимузин видели в разных концах Москвы и Подмосковья. Виктор побывал на аэродроме, где базировались самолеты, обслуживающие партизанские отряды, в двух детских больницах, на нескольких частных квартирах и, наконец, оказался возле заводской проходной.

Вахтер наотрез отказался пропустить его на территорию завода и не разрешил позвонить по внутреннему телефону. Однако Виктор не обиделся на него. Ему понравилось, что в тылу такая бдительность и что Семенов работает на таком серьезном заводе. Виктор попросил кого-то из шедших на работу вызвать ученика ремесленного училища Семенова к своему «супер-мерседесу». Только теперь у него выдалось несколько минут, чтобы вымыть машину. Он достал из багажника ведро

¹ К П П — контрольно-пропускной пункт.

и тряпки, выпросил у вахтера воды и принялся за работу.

У него не было четкого представления о том, как он начнет свою беседу с Семеновым. Во всяком случае, это следует делать куда спокойнее, сдержаннее и разумнее, чем в тот раз в землянке партизанского доктора. Надо исподволь, постепенно, начиная со многих, но второстепенных деталей, помогать воспоминаниям мальчика. И еще одно: как можно чаще он будет называть мальчика его настоящим именем, Толей. Это поможет им сблизиться, вернуться к довоенной обстановке. О событиях недавнего времени Дубровский решил говорить как можно меньше. Вполне вероятно, что именно подсознательное желание мальчика во чтобы то ни стало избавиться от этих воспоминаний и привело его к амнезии.

Виктор многое повидал за два года войны, но о том, что увидел и узнал в своем родном городе, сам старался не вспоминать. Ему это, правда, никак не удавалось. Казалось, что все виденное только сейчас стало проникать в сердце. Будто раньше он только видел и не понимал того, что видел, а теперь вдруг понял.

...Сначала он зашел к матери Эльвиры. В холодной комнате, укрытая тряпьем, лежала изможденная и совершенно седая женщина. Отвечать на ее вопросы было трудно. Она, видимо, не надеялась, что сын жив. Не верила в то, что рассказывал Дубровский про партизанский отряд и про эвакуацию на Большую землю, да еще самолетом.

О пытках, о болезни, о потере памяти Виктор ничего ей не сказал.

Трудно было отвечать на вопросы матери, но еще труднее было ее спрашивать. Она медленно шевелила бескровными губами и глядела на Виктора по-детски беззащитно. Она не верила, что кто-то сможет ей помочь.

Виктор не выдержал ее взгляда и отвернулся. Неожиданно он встретился с точно таким же взглядом. Со стены на него смотрели такие же глаза. Он невольно встал и подошел ближе. В рамочке из морских ракушек была фотография Эльвиры. Восьмой класс, комсомольский значок на белой блузке. Это была та самая фотография, где Эля так походила на свою мать, та

самая, которая напомнила Александру Павловичу Козлову, что Эля комсомолка и ее следует занести в полицейские списки.

— У вас нет еще одной такой карточки? — спросил Виктор. — Я хотел бы... на память.

— Есть, — сказала мать. — Таких у нас несколько. Только я сейчас не найду. Возьми, Витя, эту. А рамочку на комод положи. Я с силами соберусь, найду и вставлю.

— Я лучше в другой раз, — решительно отказался молодой человек, представив себе ракушечную рамочку без фотографии.

— Бери, Витя. Мне спокойнее так. Вроде у нее жених был, любовь... Вроде она успела в жизни. Бери, Витя...

Потом он долго стоял на стадионе. Футбольное поле хлюпало под сапогами, а на единственной трибуне под скамейками серел снег или обрывки мокрых газет. Вдоль трибуны, подпертая в шести местах, стояла виселица, выкрашенная, как и трибуна, бледной голубой краской. За стадионом рябила белизной редкая рощица... «Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших и, вдруг испугавшись чего-то, смолкает...»

Виктор мыл машину, а в нескольких шагах от него уже стоял худенький мальчик в телогрейке и фуражке с лакированным козырьком. Семенов узнал Дубровского не сразу. Вначале просто понял, что видел его в такое время, о котором очень не хочется думать. Потом Семенов точно вспомнил землянку с окном, напоминающим парниковую раму, и этого молодого военного, пристающего с мучительными и бесполезными вопросами о прошлом.

— Это вы меня вызывали? — спросил мальчик. — Если можно, пожалуйста, побыстрей. Я отпросился на десять минут.

Дубровский тоже узнал Семенова и сразу же почувствовал, что тот сознательно не хочет говорить с ним.

Виктор продолжал мыть машину. Нарочитая вкрадчивость, с какой он заранее готовился провести свой первый разговор с мальчиком, оказалась совершенно неуместной.

— Ты не ошибся. Это я тебя вызывал,— сказал Дубровский, выплеснув грязную воду из ведра.— И не предупреждай меня, что торопишься. Это невежливо по отношению к старшим.

Виктор понял, что тон взят правильно. Надо говорить сурово: не о болезни, а о делах. Он распахнул дверцу:

— Садись. У меня печка работает, тепло. Потолкуем... Ты куришь?

— Нет, спасибо.

— Значит, я один покурю, а ты расскажешь, как работаешь, как живешь.

Дубровский, не торопясь, свернул сигарку, закурил. Он слушал довольно связный, хотя и краткий рассказ мальчика, а сам думал о том, что нет никакой возможности привезти этого ребенка к матери, которая и так еле жива. Конечно, может быть, в родном городе, в своем доме, в своей семье мальчик быстро вспомнит все. Хорошо, если вспомнит. А если нет? Встреча такого сына с такой матерью может погубить одного из них, а то и обоих. В голове вертелись слова, услышанные от врачей, рассказывавших ему о болезненной потере памяти, об амнезии. У мальчика случай частичной, или частной, ретроградной, амнезии. Такую амнезию называют еще и аффектогенной... От этих непонятных терминов легче не становилось.

Виктор решил: еще одну попытку вернуть мальчику память он предпримет сам. Правда, врач в детской больнице именно сегодня утром предупреждал, что такие больные интуитивно отталкивают от себя все, что связано с неприятными, отрицательными воспоминаниями. Насильственное возвращение к прошлому может привести к еще большей амнезии, ухудшить дело. И все же Виктор решился. Мальчик достаточно окреп физически и весьма толково рассказывает обо всем, что было после его освобождения от немцев.

Дубровский начал так:

— Я ехал к тебе за сотни километров, и у меня очень мало времени. Я хочу, чтобы ты выздоровел, и у меня больше возможностей, чем у всех здешних врачей. Во-первых, я хочу сообщить тебе, что твоя фамилия действительно Семенов, а зовут тебя Анатолием. Ты родился в городе Колыче, маму твою зовут На-

тальяя Сергеевна, она жива и будет очень рада тебя видеть... Понятно?

Виктор ждал, что будет.

— Простите, пожалуйста,— сказал мальчик,— но мне неудобно так долго отсутствовать. Там ребята вкалывают, у нас субботник, а я с вами здесь болтаю. Я пойду...

— Постой,— ухватил его за тонкую руку Дубровский.— Ты понял, что я сказал?

— Понял,— сказал мальчик.— Только зовут меня Алексеем. Так по документам.

— Это я так тебя записал. Перед отлетом. А на самом деле тебя зовут Толей. Ты мне веришь?

— Верю,— согласился мальчик.— Но мне больше нельзя здесь сидеть. Перед товарищами стыдно. Я и так хуже других работаю.

— Ну хорошо. Ты сейчас пойдешь. Еще несколько вопросов. Неужели тебе не хочется увидеть маму, родной город, свой дом?

Мальчик с сожалением посмотрел на Дубровского.

— Как вы не понимаете: я очень хочу, но я ничего не помню. Как вы называли город?

— Колыч.

— Не помню. И маму не помню. И папу.

— У тебя еще сестра была.

— Не помню.

— Погибла она. Ее фашисты повесили.

Здесь Виктор перешел дозволенное. Врачи категорически запретили говорить о страшном прошлом, а он знал, что брат видел казнь сестры.

— Когда повесили? — спросил Семенов.

— Ты же сам там был осенью сорок первого,— сказал Виктор.— Ты же видел. Там говорили, что ты там был, когда Леонид Сергеевич Щербаков стрелял в коменданта. Ты помнишь Леонида Сергеевича? Он у нас в школе работал.

— Нет,— сказал мальчик.— Вы на меня не обижайтесь, но я врать не хочу. Ничего не помню.

— И Эльвиру не помнишь? — выкрикнул с упреком Виктор.

— А кто это? — спросил Семенов, потом догадался и добавил: — Это, наверно, моя сестра? Да?

Дубровский не ответил, он начал сворачивать но-

вую сигарку, но руки не слушались его, табак сыпался на колени. Он бросил сигарку себе под ноги и дрожащими руками достал из кармана гимнастерки фотографию Эльвиры.

— Вот, — протянул он Семенову карточку. — Вот твоя сестра. Понял?

Семенов взглянул на фотографию и отшатнулся. Какое-то время он молчал — и крикнул жалобно и пронзительно:

— Мама! Мамочка!

Он вспомнил все.

Сжавшись в комок, как голый на морозе, он подтянул ноги к подбородку.

Виктор боялся его потревожить; он украдкой глянул на часы. Было без двадцати два: вернуться в гостиницу к сроку он уже не успевал. А у Семенова все становилось на место. Он понял, что перед ним была фотография сестры, а не матери, вспомнил все про Эльвиру, про стадион «Буревестник», про Щербакова, стрелявшего в фашистов, про полицаев, слушавших патефон, про Александра Павловича...

Он вспомнил все.

Карп Андреевич Дьяченко вернулся в гостиницу на рассвете. Всю ночь в штабе обсуждали вопрос о создании крупных партизанских соединений в западных областях страны, о заброске новых организаторских отрядов, состоящих из людей, имеющих серьезный опыт партизанской борьбы. Командиром одного из таких новых отрядов был назначен Дьяченко. Завтра ему вылетать вместе с Дубровским к месту, где формировался отряд, но завтра это уже было вовсе не завтра, а самое что ни на есть сегодня: день начинался, в апреле светает рано.

Поднимаясь в лифте на шестой этаж, Карп Андреевич внезапно для себя заснул и успел увидеть кусочек сна про довоенную жизнь. Он увидел, как приехал с шефами на открытие пионерского лагеря; погода была пасмурная, зябкая, собирался дождь, и музыка почему-то не играла. Карп Андреевич готовился произнести речь перед пионерской линейкой, ему должны были повязать красный галстук, а галстука не нашли.

Тогда из строя одетых в белое пионеров вышел изможденный, темнолицый мальчик. На нем почему-то было зимнее пальто из бобрика, на ногах рваные валенки. В руках мальчик держал алый пионерский галстук и значок с пламенеющим костром. Карп Андреевич наклонил голову, мальчик потянулся, чтобы надеть на него галстук, но не достал. Карп Андреевич еще ниже наклонил голову и проснулся...

— Шестой этаж,— сонно улыбаясь, сказала ему лифтерша. Она видела, что он заснул.

В полусне Карп Андреевич подошел к дежурной, в полусне услышал от нее, что ключ в номере, в полусне шел по длинному коридору. Он берег в себе остатки сна, потому что хотел досмотреть все про пионерлагерь. Иногда ему удавалось досматривать сны, и он знал, что главное — не просыпаться до конца.

Он вошел в номер и увидел, что на единственной кровати, укрывшись с головой, спит какой-то очень маленький человечек, а на коврик перед кроватью посапывает Дубровский. Карп Андреевич постелил себе рядом, подлез под полушубок Виктора и, засыпая попросил:

— Подвинься немного...

Уснул он быстро, про пионерлагерь ему больше не снилось.

На подмосковной товарной станции формировался состав, который должен был уйти на запад.

Пегий «мерседес» остановился возле переезда, и Виктор Дубровский, доложив о себе начальнику эшелона, представил ему худенького мальчика в промасленной телогрейке с большим солдатским вещмешком за спиной.

— Вот на него документы.

— Хорошо, — начальник не стал дальше слушать Дубровского. Он сказал, обращаясь к Семенову:

— У нас только одна теплушка для людей, отсюда двенадцатая. Видишь?

— Вижу, — сказал Семенов.

— Давай быстрее, — поторопил начальник. — Нас сейчас на другой путь потянут.

— Давай, — подтолкнул Семенова Дубровский. — Скоро увидимся.

Это было вместо прощания.

Семенов зашагал по черным шпалам. Он сгибался под тяжестью огромного вещмешка, куда Дубровский запихал недельный паек Карпа Андреевича и свой собственный. Виктор знал, что сейчас нужнее всего для мальчика и для его матери. Он знал, каково теперь в Колыче.

Семенов шагал вдоль длинных железнодорожных платформ, на которых под чехлами по очертаниям угадывались пожарные автомобили с выдвижными лестницами над кузовом. «Зачем на фронте пожарные машины?» — подумал Семенов. Он не знал, что это и есть «катюши», для которых он сам делал снаряды в нашем РУ.

Семенов шагал не оглядываясь, мешок был очень тяжел, банки с американскими консервами и пачки пшеничного концентрата резали спину.

...Над Колычем светило солнце, и улицы просыхали. Семенов свернул на Луговую и сразу же увидел деда Серафима с сумкой почтальона на боку. Как всегда, он был занят делом, которое не имело к нему никакого отношения: помогал какой-то незнакомой женщине сдвинуть с места воз длинных жердей. Воз везла тощая большеглазая корова. Она смотрела по сторонам, не веря, что люди, которые кричат на нее сейчас и машут руками, в самом деле могут ее ударить. Жерди были только срублены в ближнем лесу, стволы нежно серели и просвечивали изнутри густой и сочной зеленью. Вдоль каждого ствола эта зелень высыпала клювиками зеленых почек.

Дед суетился, замахивался на корову фуражкой, ругался и был очень активен; однако сразу бросалось в глаза, как он похудел, сморщился и обвис. Наконец корова сдвинулась с места и потащила воз жердей на улицу Салтыкова-Щедрина.

— Здорово, Семенов, — сказал дед, вроде бы и не удивившись встрече. — Видал, я теперь на почте служу вместо Дарьи. Из той ямы она не вышла.

— Вижу, дедушка.

— А ты-то как? — не мог он оторвать голодных глаз от ребристого вещмешка. — Ты справный стал.

— Зайди после работы, дед. Посидим, пообедаем,

поговорим. — Семенов не мог сдержаться и добавил: — Тушенка есть, омлет и сгущенное молоко.

Свернув во двор райтопа, Семенов сразу увидел мать.

Она стояла на крыльце, будто ждала его. На ней было темное платье в мелкий цветочек, на голове белая стираная марлечка.

Случилось так, что мне еще раз пришлось встретиться с Семеновым. Это было в самом конце войны. Тогда я и узнал его историю. Звали его действительно Анатолием, отчества я точно сейчас не помню, но фамилия его была точно Семенов, и сам он был точно такой.

СОДЕРЖАНИЕ

Махмуд-канатоходец	3
Скворечник, в котором не жили скворцы . .	113
Семенов	209

КАМИЛ ИКРАМОВ
МАХМУД-КАНАТОХОДЕЦ

Повесть «Махмуд-канатоходец» печатается с издания издательства «Детская литература» 1973 г., две другие повести — с издания того же издательства 1966 г.

Редактор Л. Пылаева

Художник В. Плетухин

Худ. редактор К. Алиев

Техн. редактор Л. Буркина

Корректор З. Наджатова

ИБ № 467

Сдано в набор 17/VII-1978 г. Подписано в печать 12/XII-1978 г. 84×108^{1/32}. Печ. л. 10,75. Усл. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 17,33. Бумага № 3. Тираж 75 000. Заказ № 3259. Цена 65к. Договор № 68-78.

Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», Ташкент, 700129, ул. Навои, 30.

Полиграфкомбинат Ташкентского полиграфического производственного объединения «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, гор. Ташкент, ул. Навои, 30.

И $\frac{70803-271}{356(06)-79}$ 80-79